This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
210
V5

С. Весинъ.

БЫЛОЕ.

Изъ русской жизни и литературы 40—60-хъ годовъ.

Цѣна 1 руб.

ЖИТОМИРЪ.
Типографія и литографія М. Дененмана.
1899.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

891-709-«18-19»-18
Vesin, S.
3314/4

С. Весинъ.

5

БЫЛОЕ

ИЗЪ РУССКОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ

40—60-хъ годовъ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

1946 г.

ЖИТОМИРЪ.
Типографія и литографія М. Денемана.
1899.

ПК

(Проверено 1952 г.)

DK215
V5

Дозволено цензурою. Кіевъ, 9-го Февраля 1899 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

1) Диспуты Грановскаго, Соловьева и Буслаева . . . 1.
2) Публичныя лекціи Грановскаго и Шевырева . . . 5.
3) Открытіе памятника Карамзину . . . . . 10.
4) Опасности плаванія по Волгѣ въ 40-хъ годахъ . . 17.
5) Картина одной изъ среднихъ губерній въ концѣ 40-хъ годовъ . . . . . 20.
6) Бытъ и характеръ деревенскихъ помѣщиковъ . . 29.
7) Холера въ 1848 году . . . . . 31.
8) Московскій университетъ въ эпоху 40-хъ годовъ . 33.
9) Одинъ изъ героевъ Кавказской войны . . . . . 44.
10) Историческая кофейня. . . . . 52.
11) Помѣщики-оригиналы . . . . . 54.
12) Первыя повѣсти изъ народнаго быта Григоровича . 58.
13) Пушкинъ и Лермонтовъ по характеристикѣ журнала „Маякъ“ . . . . . 62.
14) Славянофилы и западники . . . . . 66.
15) Московскіе меломаны . . . . . 94.
16) Манія столоверченія . . . . . 94.
17) Послѣдніе годы жизни Гоголя . . . . . 97.
18) Характеръ русской литературы въ первой половинѣ 50-хъ годовъ . . . . . 107.
19) Изъ исторіи обороны Севастополя . . . . . 127.
20) Въ ожиданіи освобожденія крестьянъ. . . . . 138.
21) Иллюстраціи къ характеристикѣ дѣтской литературы 50-хъ годовъ . . . . . 141.
22) Изъ эпохи освобожденія крестьянъ. . . . . 145.
23) Изъ области искусства . . . . . 155.

[illegible] подъ начальствомъ Н. А. Вышне-
[illegible] . . . . . 161.
[illegible] школа графа Л. Н. Толстого . . . 167.
[illegible] Аракчина рынка . . . . . 174.
[illegible]ма въ области орѳографіи . . . . . 179.
[illegible]ители Ташкента . . . . . 187.
[illegible]крытіе новаго суда въ Петербургѣ и Москвѣ . . 197.
[illegible]евры русской беллетристики 60-хъ годовъ . . 206.

Диспуты Грановскаго, Соловьева и Буслаева.

Въ безконечномъ ряду диспутовъ, которые видѣлъ въ своихъ стѣнахъ Московскій университетъ, выдающееся мѣсто занимали диспуты Грановскаго, Соловьева и Буслаева. Они были замѣчательны какъ по выдающимся достоинствамъ защищаемыхъ диссертацій, такъ и по блестящимъ результатамъ защиты. Магистерская диссертація Грановскаго, носившая названіе: „Воллинъ, Іомсбургъ и Винета", не безъ препятствія была допущена къ защитѣ, не найдя благопріятнаго пріема у профессоровъ Давыдова, Шевырева и Бодянскаго, сторонниковъ славянофильскаго направленія, къ которому Грановскій не принадлежалъ. Диспутъ состоялся 21 февраля 1845 г. Сохранились отзывы о немъ, идущіе изъ двухъ противоположныхъ лагерей. По однимъ онъ былъ торжественнымъ пораженіемъ славянофиловъ, по другимъ—ихъ блестящимъ тріумфомъ. Неоспоримо то, что Грановскій держалъ себя съ достоинствомъ, говорилъ спокойно и не дозволялъ себѣ рѣзкихъ выраженій, на которыя не скупились его противники, особенно Бодянскій, слова котораго не разъ вызывали шиканье. Въ извращенномъ видѣ рисуетъ картину диспута славянофилъ Языковъ, съ явнымъ нерасположеніемъ относящійся къ Грановскому. „Сегодня диспутъ Грановскаго, писалъ онъ. Онъ почислилъ за диссертацію свою статейку о Винетѣ, ту, что уже напечатана въ Валуевскомъ Сборникѣ! Мнѣ кажется, что онъ уже слишкомъ важничаетъ, и что успѣхъ его прошлогоднихъ лекцій, успѣхъ, созданный дамами, далъ ему слишкомъ много уваженія къ самому себѣ". (*) „Диспутъ Грановскаго былъ шуменъ, писалъ онъ въ другомъ мѣстѣ, и доказалъ между прочимъ, что его диссертація никуда не годится и что крайне, крайне легко заслужить любовь студентовъ. Шевыреву и Бодянскому шиканьемъ сту-

(*) Вѣстникъ Европы 1897 г., декабрь. „Николай Михайловичъ Языковъ", В. И. Шенрока, стр. 649.

денты не давали говорить и осыпали рукоплесканіями такой вздоръ, отъ котораго уши вянутъ". „Предметъ диссертаціи Грановскаго не по его части. Это народы, которыхъ Грановскій не знаетъ и знать не хочетъ. Бодянскій просто прочелъ Грановскому цѣлую лекцію; говорилъ полтора часа сряду и грубо, и дико, но дѣльно и разительно. Шевыреву и Бодянскому сильно мѣшало шиканье студентовъ, которые не любятъ ихъ обоихъ и обожаютъ Грановскаго за то, что онъ имъ всегда ставитъ хорошіе баллы и мирволитъ и льститъ всѣми способами. Новая профессорская партія сильна тѣмъ въ университетѣ, что за нее горой стоятъ студенты, съ которыми они за панибрата: „вы наши друзья и товарищи, а не ученики", говорятъ они имъ, а Шевыревъ и Бодянскій этого не говорятъ".

По окончаніи диспута, попечитель графъ Строгановъ поздравилъ Грановскаго. Раздались крики: vivat, vivat! Рукоплесканія раздавались и на лѣстницѣ. Передъ университетомъ собралась большая толпа студентовъ, чтобы еще разъ выразить знакъ своего сочувствія, но ее уговорили разойтись. Свое сочувствіе студенты хотѣли выразить и на первой лекціи Грановскаго и встрѣтить его аплодисментами, но онъ отклонилъ это, обратившись къ нимъ съ слѣдующими словами: „Мм. Гг.! благодарю васъ за тотъ пріемъ, которымъ вы почтили меня 21 февраля. Онъ меня еще болѣе привязалъ къ университету и къ вамъ, Мм. Гг. Въ этотъ день я получилъ самую благородную и самую драгоцѣнную награду, какую только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношенія наши уяснились; поэтому я думаю, Мм. Гг. что впередъ внѣшнія изліянія вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ между двумя старинными, испытанными друзьями излишни новыя увѣренія въ дружбѣ. Теперь эти рукоплесканія могутъ только обратить на насъ вниманіе". Обращеніе свое Грановскій окончилъ слѣдующими словами: „Въ заключеніе скажу вамъ, Мм. Гг., что гдѣ бы то ни было и когда бы то ни было, если кто нибудь изъ васъ прійдетъ ко мнѣ во имя 21 февраля, тотъ найдетъ во мнѣ признательнаго и благороднаго брата". (*)

(*) „Жизнь и труды Погодина", Н. Барсукова, VIII, стр. 47.

Не безъ терній былъ побѣдный вѣнокъ, полученный на магистерскомъ диспутѣ и Соловьевымъ. Когда онъ подалъ свою диссертацію „Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ“ декану факультета, тотъ передалъ ее ех-профессору Погодину, такъ какъ въ университетѣ не было компетентнаго лица по русской исторіи. Погодинъ продержалъ у себя диссертацію около двухъ мѣсяцевъ и наконецъ возвратилъ ее автору, съ присовокупленіемъ слѣдующихъ словъ: „Я долго думалъ, какъ объявить вамъ мое мнѣніе о вашей диссертаціи, ибо я чувствую, какъ тяжело должно быть для васъ на первый разъ, при первомъ опытѣ, выслушать отзывъ не лестный: диссертація ваша, какъ магистерская диссертація, очень хороша, но какъ профессорская—вполнѣ неудовлетворительна; приступъ блестящій, правда, есть кое-что новое, чѣмъ я и самъ воспользуюсь, но въ изложеніи нѣтъ перспективы; повторяю, трудъ прекрасный, какъ магистерская диссертація, но какъ профессорская не годится“. Соловьева такое замѣчаніе изумило, и онъ возразилъ, что въ данномъ случаѣ рѣчь можетъ идти только о магистерской диссертаціи, послѣ чего Погодинъ, помявшись немного, рѣшился наконецъ подписать: „читалъ и одобряю“. Нерѣшительность Погодина мотивировалась тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не желалъ, чтобы Соловьевъ, занялъ въ Московскомъ университетѣ каѳедру русской исторіи, надѣясь, что его самого пригласятъ занять ее. Онъ предлагалъ Соловьеву быть его помощникомъ, но послѣдній не согласился на это. Изъ рукъ Погодина диссертація перешла къ Кавелину, читавшему исторію русскаго законодательства. Отзывъ получился совершенно противоположный тому, который былъ данъ Погодинымъ. По мнѣнію Кавелина, „Соловьевъ не удовольствовался общими мѣстами и пустыми разсужденіями, а раскрылъ лѣтописи, тщательно свѣрилъ ихъ, вникъ очень подробно въ отношенія князей и княжескихъ линій Рюрикова дома, какъ между собой, такъ и къ Новгороду, и изложилъ эти отношенія исторически“. Рецензентъ говорилъ, что авторъ диссертаціи высказалъ совершенно новый, оригинальный взглядъ на удѣльный періодъ, что его трудъ представляетъ первую серьезную попытку понять и объяснить постепенное развитіе древней русской жизни. Рецензія была

заключена слѣдующими словами: „Мы не усомнимся сказать, что трудъ г. Соловьева самъ по себѣ составляетъ эпоху въ области изслѣдованій о русскихъ древностяхъ и подаетъ радостныя надежды въ будущемъ. Намъ остается поблагодарить автора и пожелать ему для него и для насъ, чтобы продолженіе его историко-литературнаго и ученаго поприща было такъ же блистательно, такъ же обильно результатами, какъ начало". (*) Результатомъ этого отзыва было то, что попечитель графъ Строгановъ предложилъ Соловьеву готовиться къ занятію каѳедры по русской исторіи, т. е. быть преемникомъ Погодина. Соловьевъ сообщилъ объ этомъ Погодину и совѣтовалъ ему принять какія нибудь мѣры. На сторонѣ Погодина былъ его другъ Шевыревъ, заявившій, что было бы рискованно поручать важную каѳедру неизвѣстному молодому человѣку, и что Погодинъ, знаменитый ученый, самъ желалъ бы занять прежнее мѣсто. Но большинство голосовъ рѣшило вопросъ въ пользу „неизвѣстнаго молодого человѣка", Погодину же было предложено читать лекціи для желающихъ, въ качествѣ приватъ-доцента, и притомъ безъ вознагражденія, отъ чего онъ, конечно, отказался. Соловьевъ былъ допущенъ къ чтенію лекцій, по поводу которыхъ были сдѣланы два весьма лестныхъ для него отзыва, одинъ—Грановскимъ, замѣтившимъ, что Соловьевъ вступилъ на каѳедру мастеромъ своей науки, а другой—графомъ Строгановымъ, пожелавшимъ, чтобы Погодинъ кончилъ такъ, какъ Соловьевъ началъ.

Диспутъ Соловьева состоялся въ октябрѣ 1845 г. На диспутѣ присутствовалъ и Погодинъ, заявившій, что онъ пріѣхалъ не для того, чтобы спорить, а единственно съ цѣлью высказать свое мнѣніе о диссертаціи, не желая слушать возраженій ея автора. Но ничто не могло ослабить силы блестящей защиты диссертаціи. Преемникъ Погодина прочно обосновался на своемъ мѣстѣ. О его трудѣ отовсюду слышались самые выгодные отзывы.

Въ иныхъ отношеніяхъ былъ Погодинъ къ Буслаеву, защищавшему диссертацію на степень магистра въ 1848 г., подъ названіемъ: „О вліяніи христіанства на славянскій языкъ.

(*) С. М. Соловьевъ. Біографическій очеркъ П. В. Безобразова, стр. 33.

По Остромирову евангелію“, о которой Погодинъ въ своемъ Дневникѣ отозвался какъ о прекрасномъ трудѣ. Самъ Буслаевъ о своемъ диспутѣ писалъ слѣдующее: „Наконецъ диссертація моя прошла сквозь огонь и воду, т. е., напечатана и защищена. Диспутъ былъ 3 іюня, въ четвергъ; спорили долго, отъ 12 почти до 4 часовъ. Возражали Шевыревъ, Бодянскій, Катковъ, Леонтьевъ, Хомяковъ. Шевыревъ хотѣлъ, чтобы я раздѣлилъ миѳологическій періодъ языка на четыре, а потомъ на пять отдѣловъ... Нападалъ на меня за то, будто я вижу въ нашей поэзіи вліяніе скандинавское, но я ему доказалъ, что это ему померещилось. Бодянскій прицѣплялся къ каждому словопроизводству, но только дополнялъ меня, а не опровергалъ... Катковъ напалъ на меня за соединеніе интересовъ лингвистическихъ съ историческими, такъ что не видно, кто въ моей диссертаціи—какъ онъ выразился—*хозяинъ*, лингвистъ или историкъ: хозяиномъ диссертаціи я назвалъ самого себя... Хомяковъ началъ свои возраженія общимъ замѣчаніемъ, что теперь на нѣкоторое время наука въ Европѣ остановилась въ своемъ развитіи, и намъ, русскимъ, только однимъ, предстоитъ обработывать ее, а потому моя диссертація пріятное для него явленіе. Затѣмъ нападалъ на меня за излишнюю осторожность въ сличиненіи языка славянскаго съ санскритскимъ и приводилъ примѣры: изъ его словъ я вывелъ, что онъ считаетъ санскритъ мѣстнымъ нарѣчіемъ языка русскаго“. (*)

Публичныя лекціи Грановскаго и Шевырева.

Публичныя чтенія Грановскаго и Шевырева въ Москвѣ въ 1844 и 1845 г. были явленіемъ, въ одинаковой степени заинтересовавшимъ какъ спеціалистовъ ученыхъ, такъ и все образованное московское общество тогдашняго времени. Особенно сильное впечатлѣніе производили лекціи Грановскаго. Глубокая ученость, свободная отъ всякихъ признаковъ педантизма, соединялась въ нихъ съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ. Аудиторія каждый разъ была переполнена слуша-

(*) Ѳ. И. Буслаевъ. Мои воспоминанія. Москва. 1897 г., стр. 309—310

телями, въ числѣ которыхъ было множество дамъ великосвѣтскаго общества. Лекціи молодого профессора сдѣлались предметомъ оживленныхъ разговоровъ среди студентовъ, въ кабинетахъ профессоровъ и въ аристократическихъ салонахъ. Свѣтскія дамы и дѣвицы, которыя до тѣхъ поръ интересовались исключительно театромъ, концертами и балами, вдругъ почувствовали въ себѣ вкусъ къ средневѣковой исторіи. На балахъ дамы съ кавалерами вели безъ стѣсненія разговоры на историческія темы. Говорить о лекціяхъ Грановскаго было своего рода шикомъ, модою. Ученые и литераторы раздѣлились на два лагеря: одни раздѣляли восторгъ публики, другіе старались найти въ чтеніяхъ тѣ или другіе недостатки. Несочувственно относился къ нимъ и глава московскихъ историковъ Погодинъ. Когда въ 1844 г. Грановскій закончилъ свои лекціи, публика высказала желаніе выразить ему свою благодарность при помощи какого нибудь цѣннаго подарка. Одни останавливались на приличной денежной суммѣ, другіе предлагали поднести книгу „Московскія Древности" въ великолѣпномъ футлярѣ, третьи—настольные часы, четвертые—дорогой прессъ. Въ домѣ К. Аксакова въ честь Грановскаго былъ устроенъ торжественный обѣдъ. „Обѣдъ Грановскаго былъ очень пышенъ и очень веселъ", говоритъ присутствовавшій на немъ поэтъ Языковъ. „Противныя партіи не только съѣхались, но и сошлись, обнимались и цѣловались, и послѣ обѣда дѣлаютъ одна другой визиты; это хорошо въ нѣкоторомъ смыслѣ, но мнѣ какъ-то не вѣрится, чтобы Западъ могъ искренно примириться съ Востокомъ. Увидимъ, что выйдетъ изъ видимаго жаркаго согласія, замѣнившаго собою недавнее жаркое разногласіе". (*)

Задѣтые за живое успѣхами Грановскаго, Погодинъ и Шевыревъ, наиболѣе видные профессора Московскаго университета, рѣшили сами дать рядъ публичныхъ лекцій. Погодинъ просилъ разрѣшенія у начальства прочесть пять лекцій о томъ же предметѣ, о которомъ читалъ Грановскій, но не получилъ его, такъ какъ ранѣе подалъ прошеніе объ отпускѣ. Что касается лекцій Шевырева, то онѣ состоялись и имѣли большой успѣхъ, хотя и не такой, какой выпалъ

(*) **Вѣстникъ Европы 1897 г., декабрь. „Николай Михайловичъ Языковъ", В. И. Шенрока, стр. 640.**

на долю Грановскаго. Шевыревъ читалъ о древней русской литературѣ. Лекціи начались въ концѣ 1844 г. Языковъ былъ отъ нихъ въ восторгѣ. „Шевыревъ успѣлъ начать блистательно“, писалъ онъ: „громъ рукоплесканій то и дѣло осыпалъ слова, глубоко проникавшія въ сердца многочисленныхъ слушателей. Дай Богъ, чтобы этотъ восторгъ не охладѣлъ, когда будетъ говорить о старинномъ языкѣ и рукописяхъ, о языкѣ, котораго никто не знаетъ, и о рукописяхъ, которыхъ и знать никто не хочетъ. Шевыревъ открылъ Америку; цѣлую духовную литературу древней Руси. Само собою разумѣется, что разглагольствованія объ этакихъ предметахъ не найдутъ сочувствія въ модной публикѣ“. Меньше всего сочувствующихъ нашлось между студентами и дамами, изъ которыхъ послѣднія не могли отдать должнаго патріотизму лектора, а первые вообще не долюбливали Шевырева. По объясненію Языкова, лекціи Шевырева не нравились западникамъ потому, что онъ доказалъ, что наша литература началась не съ Кантемира, а вмѣстѣ съ самой Россіей; славянофилы же видѣли въ нихъ важное событіе, живое слово, которое могло пробудить въ массѣ патріотизмъ и вѣрный взглядъ на преобразованія Петра Великаго, считавшіяся ими печальнымъ недоразумѣніемъ. Кончилъ свои лекціи Шевыревъ, по увѣренію Языкова, сильно и торжественно. „Послѣднія десять, говоритъ онъ, произвели большое вліяніе на публику и особенно новый взглядъ на Россію до Петра и на-Петровскую Россію... Константинъ Аксаковъ хлопалъ во всѣ руки и кричалъ „браво“ во все горло въ тѣ сладостнѣйшія минуты своей жизни, когда Шевыревъ читалъ изъ писемъ Карамзина противъ Питера“. (*)

Въ концѣ 1845 г. Грановскій возобновилъ свои лекціи, начавъ чтеніе сравнительной исторіей Франціи и Англіи. И опять былъ тотъ же успѣхъ. „Лучшее общество Москвы снова наполнило аудиторію, гдѣ снова наслаждалось сильною и задушевною рѣчью Грановскаго. Чтеніе продолжалось и заключилось съ прежнимъ успѣхомъ, съ прежнимъ восторгомъ слушателей“. Такой отзывъ даетъ біографъ Грановскаго. Но не всѣ увлекались новыми лекціями, какъ это было и

(*) Вѣстникъ Европы 1897 г., декабрь, статья Шенрока о Языковѣ, стр. 648.

прежде. Такъ, Хомяковъ писалъ Ю. Ѳ. Самарину: „Курсъ Грановскаго слабъ, и публика холодновата. Изложеніе мѣстами очень хорошо и доходитъ до высокаго художественнаго эффекта своей необычайной простотой; но изслѣдованій никакихъ, мыслей никакихъ, кромѣ взятыхъ на прокатъ, и отъ этого все вмѣстѣ какъ-то вяло и безжизненно". (*)

Окончаніе лекцій, какъ и прежде, было ознаменовано обѣдомъ, гдѣ опять славянофилы встрѣтились съ западниками. Что касается самого Грановскаго, то онъ сдѣлалъ такого рода признаніе по поводу своихъ лекцій. „Въ жизни не все розы, писалъ онъ съ грустью роднымъ. Подчасъ мнѣ трудно одолѣть мрачныя мысли, осаждающія меня. Пока я здоровъ, я могу бороться съ судьбою. Но я работаю слишкомъ много, и при этомъ мое здоровье не можетъ устоять долго. Къ тому же такая работа истощаетъ мои физическія и нравственныя силы, не сообщая мнѣ довольства самимъ собою. Теперь я работаю, потому что мнѣ нужны двѣнадцать тысячъ въ годъ, и потому что я самъ долженъ заработывать ихъ; отецъ мой не далъ мнѣ и тысячи рублей со времени моей женитьбы. Труды занимаютъ у меня отъ десяти до одиннадцати часовъ въ сутки. Такимъ образомъ можно сдѣлать много, но хорошаго мало. Мои публичныя лекціи доставили мнѣ въ нынѣшній годъ болѣе семи тысячъ рублей, но онѣ мнѣ стоили, можетъ быть, нѣсколько лѣтъ моей жизни. И затѣмъ лучшіе мои годы уходятъ. Мои планы литературныхъ трудовъ не исполняются за недостаткомъ времени. Если когда нибудь досугъ дастся мнѣ—я боюсь, что онъ найдетъ меня неспособнымъ пользоваться имъ, надломеннымъ лихорадочною и мелочною дѣятельностью. Мелкіе успѣхи не прельщаютъ меня болѣе. Они льстили мнѣ, когда я былъ моложе. Теперь я признаю за собою право стремиться къ чему-нибудь лучшему. Вы прочли здѣсь цѣлую исповѣдь". (**)

Въ томъ же году началъ продолженіе своихъ публичныхъ лекцій по древней русской словесности Шевыревъ. И на этотъ разъ чтеніе сопровождалось большимъ успѣхомъ. Тишина и вниманіе во время лекцій, по словамъ Шевырева,

(*) Жизнь и труды Погодина, Н. Барсукова, VIII, стр. 365.
(**) Жизнь и труды Погодина, VIII, стр. 366.

были примѣрныя. Посѣщалъ лекціи и Погодинъ, при чемъ иногда „хлопалъ отъ души“, разъ же, при воспоминаніи о Пушкинѣ, прослезился. Увлеченный предметомъ чтеній и ихъ успѣхомъ, Шевыревъ потомъ, къ удивленію своихъ знакомыхъ, облекся въ русскій костюмъ, шелковую рубаху, подпоясанную кушакомъ, и отпустилъ бороду, какъ дѣлали нѣкоторые славянофилы. По окончаніи лекцій, друзья Шевырева захотѣли почтить его обѣдомъ. Въ Дневникѣ Погодина сохранилась интересная запись, вызванная этимъ случаемъ. Подъ 21 апрѣля 1845 г. было отмѣчено: „Къ Аксаковымъ, гдѣ шибко закричалъ на Павлова, который зоветъ Грановскаго на обѣдъ къ Шевыреву“. Погодинъ на обѣдѣ не присутствовалъ. Подъ 5 мая въ его Дневникѣ была сдѣлана слѣдующая характерная отмѣтка: „Обѣдалъ у Аксаковыхъ, а вечеръ у Шевырева. Разговоръ объ обѣдѣ, гдѣ Шевыревъ пилъ за здоровье Грановскаго, а обо мнѣ и не вспомнилъ. Вотъ люди! А онъ любитъ меня! Кто его убѣдилъ идти по ученой части? Кто его ввелъ къ Уварову и въ университетъ? Кто познакомилъ съ древностью? Кто, наконецъ, доставлялъ рукописи для лекцій? Больно, хотя я и не показалъ огорченія“. Успѣхомъ лекцій Шевырева остались недовольны западники и Бѣлинскій. Послѣдній ѣдко замѣтилъ, что стоитъ публику пригласить въ парадно-освѣщенную залу, и она, въ благодарность, что ее впустили въ барскія хоромы, непремѣнно останется всѣмъ довольна. „Для нея“, писалъ онъ: „хорошъ и Грановскій, да недуренъ и Шевыревъ, интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто писалъ послѣдній“. (*)

Въ 1846 г. Шевыревъ читалъ публичныя лекціи по исторіи всеобщей литературы. По словамъ Погодина, успѣхъ этихъ лекцій былъ не великъ. Онъ совѣтовалъ Шевыреву читать въ одну лекцію не болѣе часу, чтобы не утомить слушателей, но самъ Шевыревъ на лицахъ своихъ слушателей не замѣчалъ ни усталости, ни скуки. Окончаніе лекцій и на этотъ разъ было ознаменовано торжественнымъ обѣдомъ. На обѣдѣ, между прочимъ, присутствовали: Погодинъ, Хомяковъ, Грановскій, К. С. Аксаковъ и В. П. Боткинъ. На

*) Жизнь и труды Погодина, VIII, стр. 86.

немъ Аксаковъ „сводилъ Грановскаго и Хомякова для примиренія, которое состоялось, какъ и всѣ внѣшнія примиренія, изъ приличія“.

Когда лекціи Шевырева по исторіи русской словесности были изданы, онѣ произвели благопріятное впечатлѣніе. Онѣ понравились митрополиту Филарету, Хомякову, Гоголю, Павлову. Гоголь назвалъ книгу Шевырева „первымъ степеннымъ дѣломъ въ нашей литературѣ“, но онъ думалъ, что читатель еще не подготовленъ для полнаго ея пониманія. Погодинъ, отнесшійся съ похвалой къ содержанію книги, былъ недоволенъ тѣмъ, что авторъ не упомянулъ о немъ, говоря о норманнахъ, тогда какъ не забылъ сказать о Соловьевѣ. „Ну, объясните мнѣ это явленіе“, писалъ онъ въ своемъ Дневникѣ. „Всякій какъ будто боится произнести мое имя! Богъ съ вами!“ Хомяковъ далъ такой отзывъ о лекціяхъ: „Онѣ выдерживаютъ чтеніе гораздо лучше, чѣмъ я ожидалъ. Книга будетъ хороша и занимательна, и полезна. Филаретъ благословилъ его за нее образомъ; представьте радость Шевырева“. Весьма доволенъ былъ Шевыревъ отзывомъ о книгѣ А. В. Веневитинова, снабдившаго свое письмо съ отзывомъ замѣчаніями научнаго характера. „Твое письмо“, писалъ онъ Веневитинову: „искренно скажу, одна изъ лучшихъ наградъ за мой трудъ, а твои замѣчанія о Русской Правдѣ и коганѣ-хоти-драгоцѣнны. Позволь мнѣ въ слѣдующемъ выпускѣ приложить ихъ въ дополненіяхъ! (*)

Открытіе памятника Карамзину.

Открытіе памятника знаменитому русскому исторіографу, въ Симбирскѣ, 23 августа 1845 года, было торжествомъ, достойнымъ его великой научной заслуги. Утромъ въ названный день въ соборѣ была совершена заупокойная литургія, а послѣ нея панихида, на которой присутствовали власти города, дворянство и купечество, а также воспитанники гимназіи и семинаріи. Историкъ Погодинъ, присутствовавшій въ соборѣ и описавшій потомъ всѣ подробности открытія

(*) Жизнь и труды Погодина, VIII, стр. 408.

памятника, говоритъ, что грустно торжественное служеніе произвело на него неизгладимое впечатлѣніе. „Благоговѣйная тишина, говоритъ онъ, царствовала въ храмѣ, и только славословіе священниковъ и пѣніе ликовъ раздавалось полнозвучно подъ высокими сводами... Казалось, вся Россія собралась сюда совершить благодарственное поминовеніе объ одномъ изъ лучшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ своихъ... Сыновья его плакали, но въ эти минуты мы всѣ были его сыновьями, мы всѣ плакали слезами, не горести, но какого-то грустнаго высокаго радованія. Молодые воспитанники Симбирской Гимназіи, длиннымъ строемъ среди насъ стоявшіе, были для меня представителями новыхъ поколѣній Россіи. Мысленно обращался я къ нимъ: „О, друзья мои! Вспоминайте часто о Карамзинѣ и о послѣдней панихидѣ по немъ, при которой вы имѣли счастіе присутствовать“. (*)

Открытіе памятника совершилось при огромномъ стеченіи народа. Погода вполнѣ благопріятствовала торжеству. Въ окнахъ, на балконахъ и даже на крышахъ домовъ виднѣлись многочисленные зрители. Въ своемъ описаніи памятника Погодинъ говоритъ: „Монументъ возвышается на прекрасной площади, между домами городскаго общества, гимназіи, губернатора и оградою Спасскаго монастыря. На высокомъ гранитномъ пьедесталѣ, въ пять сажень вышиною, стоитъ муза исторіи Кліо, опершись на скрижаль и держа въ рукѣ трубу. На одной сторонѣ пьедестала подъ бюстомъ Карамзина, поставленномъ въ углубленіи, изсѣчена надпись: „Н. И. Карамзину, историку Россійскаго Государства, повелѣніемъ Императора Николая I“. По бокамъ изсѣчены два мѣдные барельефа. Одинъ представляетъ чтеніе Карамзинымъ исторіи Императору Александру, а другой—врученіе умирающему благодарственнаго рескрипта Императора Николая“. Памятникъ былъ окропленъ преосвященнымъ святою водою, а затѣмъ было провозглашено многолѣтіе Императору и всему Царствующему Дому, вѣчная память Карамзину и наконецъ многая лѣта симбирскому дворянству и всѣмъ почитателямъ памяти знаменитаго писателя. Погодинъ передаетъ содержаніе слова, сказаннаго по случаю открытія па-

(*) Жизнь и труды Погодина, Н. Барсукова, VIII, стр. 187—189.

„Онъ не открывалъ новыхъ источниковъ дохода, но открылъ новые источники наслажденій въ сердцѣ, чистыхъ, прекрасныхъ, человѣческихъ, которыхъ нельзя замѣнить, нельзя купить никакими сокровищами древняго и новаго свѣта.

„Онъ не сочинялъ законовъ, но внушалъ къ нимъ уваженіе и училъ жить такъ, чтобы никакихъ законовъ людямъ не было нужно.

„Онъ... но я удержусь исчислять впередъ его дѣйствія и скажу только, что десять разъ линіи границъ политическихъ округлятся или выпрямятся; сто побѣдъ одержится новыхъ и тысяча прежнихъ обветшаетъ и предастся забвенію; многіе иные племена и народы войдутъ въ емкій составъ Русскаго Царства; самые законы измѣнятся въ своемъ духѣ, вмѣстѣ съ характеромъ подчиненныхъ имъ народовъ, но живыя сѣмена добра, любви и науки, разсыпанныя щедрою рукою даровитаго писателя по всему неизмѣримому пространству Россіи, отъ западныхъ предѣловъ Польши до Сѣверной Америки, и отъ полярныхъ снѣговъ Финляндіи до высотъ Ноева Арарата, эти сѣмена будутъ безпрерывно расти, будутъ безпредѣльно цвѣсти и приносить благіе плоды, кои въ свою очередь сдѣлаются сѣменами, не переставая питать тысячи и тысячи людей благородною пищею“. (*)

Сказавъ о состояніи науки русской исторіи до Карамзина, Погодинъ далѣе перечислялъ его заслуги въ отношеніи исторической критики, науки и искусства. Затѣмъ онъ далъ характеристику Карамзина какъ гражданина и человѣка. Свою рѣчь Погодинъ закончилъ слѣдующими словами: „Карамзинъ принадлежитъ всей Россіи, но вамъ, Мм. Гг., принадлежитъ онъ преимущественно. Здѣсь онъ родился, здѣсь получилъ начальное образованіе и обогатился впечатлѣніями дѣтства и юношества, столь важными и рѣшительными въ нашей жизни; между вами нашелъ онъ себѣ перваго друга-совѣтника въ литературныхъ трудахъ—И. И. Дмитріева; между вами нашелъ онъ себѣ перваго путеводителя—Ивана Петровича Тургенева, который указалъ ему Москву, ввелъ его въ ученое общество и далъ направленіе его ум-

(*) Жизнь и труды Погодина, VIII, стр. 192—193.

ственнымъ и нравственнымъ занятіямъ; вы, наконецъ, предупредили всѣхъ своихъ соотечественниковъ въ благомъ намѣреніи воздвигнуть общественный памятникъ знаменитому согражданину и приняли самое дѣятельное участіе въ исполненіи этой мысли. На васъ, разумѣется, должно было подѣйствовать самое простое и безыскусственное воспоминаніе о жизни и трудахъ Карамзина,—но я увѣренъ, что и всякій изъ нашихъ соотечественниковъ, въ которомъ бьется Русское сердце, которому мило Русское слово, которому дорога Русская слава, кто любитъ свою святую Русь, кто преданъ просвѣщенію,—вспомнивъ благодѣянія Карамзина, произнесетъ ему всегда внутренно свое Русское, сердечное спасибо, которое выше, лучше, сильнѣе, дороже не только моего скуднаго Слова, но и всѣхъ витійственныхъ панегириковъ Греціи и Рима, искренняя, свободная дань хвалы, чести, признательности и любви. Пусть памятникъ, теперь ему соизволеніемъ Императора Николая здѣсь поставленный, одушевляетъ вашихъ дѣтей, всѣ слѣдующія поколѣнія въ благородномъ стремленіи къ высокой цѣли Карамзина! Пусть духъ его носится въ Россіи! Пусть онъ останется навсегда идеаломъ Русскаго писателя, Русскаго гражданина, Русскаго человѣка,—по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой“.

Рѣчь Погодина произвела сильное впечатлѣніе и была прерываема громкими рукоплесканіями.

Четвертымъ актомъ торжества въ честь знаменитаго писателя былъ парадный обѣдъ, сопровождавшійся многими тостами. Что касается обстановки обѣда, то она вполнѣ соотвѣтствовала торжеству. Описывая обѣдъ, Погодинъ, между прочимъ, говоритъ о великолѣпной ухѣ, объ осетрѣ, который поражалъ своими размѣрами, и котораго онъ называетъ Державинскимъ Левіоѳаномъ. Шампанское, по его словамъ, ходило кругомъ, какъ будто Волга открыла какой нибудь изъ запечатанныхъ ключей своихъ съ виномъ вмѣсто воды. На другой день послѣ открытія памятника однимъ изъ сыновей Карамзина была раздана нищимъ щедрая милостыня. По этому случаю Погодинъ сдѣлалъ слѣдующее замѣчаніе: „Эта новая сцена опять тронула меня очень: я вспомнилъ добрую

душу ихъ отца, о которомъ дѣти совершаютъ поминки милостынею, по святому Русскому обычаю. Одна женщина просила у него (А. Н. Карамзина) на сапоги сыну, который вчера принятъ былъ въ гимназію, по которому не въ чемъ ходить."

Рѣчь Погодина, произнесенная на открытіи памятника, подверглась обсужденію со стороны разныхъ лицъ, считавшихъ себя компетентными въ данномъ случаѣ. Дворянство Симбирской губерніи изъявило Погодину признательность за труды, понесенные имъ при сочиненіи „Слова", при чемъ ассигновало 600 руб. на изданіе послѣдняго. Вслѣдствіе того, что Погодинъ не могъ получить со стороны московской цензуры разрѣшенія на печатаніе своей рѣчи, она была напечатана въ Петербургѣ, гдѣ цензура оказалась болѣе снисходительной.

Когда рѣчь была напечатана, Погодинъ послалъ нѣсколько экземпляровъ министру Народнаго просвѣщенія графу Уварову, съ просьбой представить „Похвальное слово" Государю Императору, Государю Цесаревичу, Великимъ Князьямъ и Великимъ Княгинямъ, предназначивъ одинъ экземпляръ для библіотеки графа Уварова. Желаніе Погодина было исполнено. Еще до выхода въ свѣтъ „Слова", Погодинъ просилъ у графа Уварова разрѣшенія прочесть свое произведеніе въ торжественномъ собраніи Академіи Наукъ 29 декабря 1845 года, но согласія на это не получилъ.

Гоголь, Жуковскій, князь Ваземскій, графъ Блудовъ, Шевыревъ отнеслись къ произведенію Погодина съ большою похвалою. „Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ „Похвальное Слово Карамзину", написанное Погодинымъ, писалъ Гоголь Языкову. Это лучшее изъ сочиненій Погодина въ отношеніи къ благопристойности, какъ внутренней, такъ и внѣшней; въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все, здѣсь, напротивъ, стройно, обдуманно и расположено въ большомъ порядкѣ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ бы очертывается самимъ собою и, своими словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой предъ глазами читателя". По словамъ Жуковскаго въ письмѣ къ Погодину, онъ про-

читалъ „Слово“ съ жадностью и съ живымъ чувствомъ. Читая его, онъ „вдругъ очутился посреди живыхъ воспоминаній всей своей прошлой жизни, въ которой самое свѣтлое мѣсто занималъ Карамзинъ, душа чистаго ангела въ бренномъ человѣческомъ тѣлѣ“. Графъ Блудовъ сдѣлалъ о „Словѣ“ такой отзывъ: „Дозвольте мнѣ, писалъ онъ Погодину,—какъ русскому и какъ другу незабвеннаго нашего Исторіографа, благодарить васъ и за сіе новое торжественное изъявленіе вашего уваженія къ мужу, вполнѣ достойному хвалы и, можно сказать, признательности своихъ соотечественниковъ. Вы прекрасно умѣли оцѣнить не только заслуги Карамзина на поприщѣ нашей Словесности и Исторіи, не только талантъ и слогъ его, доселѣ у насъ едва-ли не единственный и ужъ безъ всякаго сомнѣнія совершеннѣйшій, но и высокія качества души его, въ коей замѣчательнымъ образомъ соединились твердость съ нѣжностью и пламенная живость съ чистотою почти младенческою. Слушая ваше новое сочиненіе въ кругу семейства и нѣкоторыхъ, увы! уже весьма немногихъ друзей Карамзина, и нынѣ перечитывая его, я какъ будто переносился въ прежнее время, какъ будто слышалъ опять его голосъ или, по крайней мѣрѣ, его слова, коихъ общимъ дѣйствіемъ, во мнѣ и, вѣроятно, во всѣхъ, умѣвшихъ знать и уважать его, было всегда сильнѣйшее чувство любви къ добру и къ изящному“. (*)

Опасности плаванія по Волгѣ въ 40-хъ годахъ.

Еще въ сороковыхъ годахъ настоящаго столѣтія плаваніе по Волгѣ представляло большія опасности со стороны разбойничьихъ шаекъ, нападавшихъ на суда и грабившихъ ихъ. Самымъ опаснымъ мѣстомъ для судовъ была та ея часть, которая находится близъ Жигулевскихъ горъ. Эти горы были покрыты лѣсомъ, и въ нихъ, со стороны рѣки, находилось много пещеръ естественнаго или искусственнаго происхожденія, которыя съ давнихъ поръ служили притономъ для грабителей и разбойниковъ. Еще во времена Іоанна Грознаго шайки бездомовныхъ людей, грабившихъ на Волгѣ,

(*) Жизнь и труды Погодина, VIII, стр. 214—215.

ЦИПКРРНО
БИБЛИОТЕКА

находили здѣсь пріютъ. Нападенія на проходившія по рѣкѣ суда, а также и на проѣзжавшихъ сухимъ путемъ близъ Жигулевскихъ горъ, происходили и въ настоящемъ столѣтіи и прекратились только въ 1848 г. Изъ оффиціальнаго отчета 1847 г. извѣстно, что въ этомъ году было ограблено семь расшивъ и двѣ тихвинки. Нападеніе во всѣхъ этихъ случаяхъ было произведено вооруженными людьми, грабившими только деньги и разныя мелкія вещи, оставляя не тронутою кладь. Еще ранѣе 1848 г. была учреждена особая флотилія, съ цѣлью прекращенія разбоевъ на Волгѣ, въ названномъ же году была принята новая, еще болѣе рѣшительная мѣра, прекратившая окончательно грабежи. Въ всеподданнѣйшемъ отчетѣ министра внутреннихъ дѣлъ за 1848 г. было сказано: „Съ цѣлію прекращенія производившагося съ незапамятныхъ временъ грабежа судовъ на Волгѣ, преимущественно около такъ называемыхъ Жигулевскихъ горъ, въ Симбирской губерніи, приняты были Министерствомъ особыя мѣры; убѣжища скрывавшихся въ сихъ горахъ бродягъ истреблены, а самые бродяги пойманы; вслѣдствіе того, во все продолженіе навигаціи 1848 года не только не произошло ни одного случая грабежа, но даже не оказывалось и покушеній къ нападенію на суда, чему дотолѣ не было примѣра“. Эта мѣра въ сильной степени способствовала развитію пароходства на Волгѣ.

Прекращенію грабежей на Волгѣ могли бы содѣйствовать сами судохозяева, если бы всякій разъ заявляли о нападеніяхъ на ихъ суда и вооружали рабочихъ на послѣднихъ, на случай нападенія на нихъ грабителей. „Судохозяева, принявъ грузы на свои посудины, довѣряли ихъ лоцманамъ и водоливамъ, которые, разумѣется, радѣли больше о собственномъ спокойствіи, чѣмъ объ общественной пользѣ. Вооруживъ судно какой-нибудь чугунной пушчонкой, они частенько не имѣли при себѣ ни золотника пороха для острастки грабителей; а если подчасъ и запасались имъ, то развѣ для салютовъ при проходѣ мимо городовъ, а не съ цѣлью пугнуть негодяевъ, для которыхъ нужны были нехолостые заряды.

„Бурлаковъ на суда нанимали безъ разбора: было бы лишь дешево. Поэтому бурлаковъ, сравнительно съ грузомъ

судна, было мало, тянуть лямку имъ было тяжело, а потому и естественно, что, день-деньской изнуряясь въ тяжкой работѣ, бурлаки къ вечеру выбивались изъ силъ и уставали до послѣдней степени изнеможенія.

„Послѣ этого можно себѣ представить, какого отпора могли надѣяться грабители, нападавшіе обыкновенно на тѣ суда, которыя бичевою шли снизу, въ Нижній или въ Рыбинскъ. И дѣйствительно, еще издали замѣтивъ судно, разбойники выходили изъ своихъ „норъ“ на берегъ, прятались въ кустахъ и, поравнявшись съ толпою бурлаковъ, тащившихъ по берегу лямку, выбѣгали изъ засады и приказывали имъ остановиться. Бурлаки и сами рады были случаю отдохнуть маленько. Но если, при другихъ обстоятельствахъ, они и желали бы отпотчивать незванныхъ гостей по своему, то истомленіе однихъ, недружность и разномысліе другихъ и страхъ у третьихъ къ оружію, которымъ грозили нападавшіе, лишали ихъ возможности сразу одолѣть свѣжаго и бодраго, хотя и немногочисленнаго непріятеля“. (*)

Остановивъ барку, грабители вызывали для объясненія судохозяина, лоцмана или приказчика и требовали „добромъ“ выдать имъ деньги или подѣлиться товаромъ: мукой, крупой, солью. Сопротивленіе случалось рѣдко. Въ случаѣ же отказа, употреблялись немедленно рѣшительныя мѣры. Подъѣхавъ на лодкѣ къ судну, разбойники взбирались на палубу, овладѣвали судномъ, связывали лоцмана, водолива и приказчика, подвергали ихъ истязаніямъ, требуя выдачи денегъ, брали съ собой вино и съѣстные припасы и нагружали ими свою лодку. Случалось иногда, что бродяги, испытавъ неудачу при нападеніи въ одномъ мѣстѣ, повторяли его въ другомъ, стараясь напасть всегда врасплохъ. Бывали и такіе случаи, что грабители находили помощь среди самихъ бурлаковъ и при ихъ содѣйствіи овладѣвали судномъ. Но иногда нападеніе, какъ сказано было выше, оканчивалось дружелюбнымъ образомъ. Между нападавшими, которые стояли на берегу, и приказчикомъ или хозяиномъ судна, подошедшимъ для объясненія къ борту судна, завязывался такой разговоръ:

— „Вы, гости-купцы, люди богатые, кричалъ атаманъ

(*) Отечественныя Записки 1853 г., май. „Разсказы проѣзжаго“, П. Небольсина, стр. 21.

шайки:—везете товары на ярмарки: подѣлитесь-ка съ нашимъ братомъ хлѣбомъ-солью!... Слышишь, что-ль?

— Слышимъ-ста, кормилецъ, слышимъ! Чего-жъ твоя милость прикажетъ?

— Да вышли намъ хоть куль-другой мучки, да четверичекъ-другой крупки, да соли маленько: за твое здоровье скушаемъ—тебя добрымъ словомъ вспомянемъ.

— Изволь, кормилецъ, не постоимъ на этомъ твоей милости; только самъ, что-ль, на посуду пожалуешь, али на берегъ велишь свезти?

— Хочешь добромъ раздѣлаться, вези лучше самъ сюда... А что, хозяинъ: деньжишки у тебя въ казёнкѣ водятся? скажи-ка правду: богатъ, аль нѣтъ?

— Богатъ не богатъ, а твоей милости поклониться найдемъ чѣмъ.

— А что, цѣлковичковъ пяточекъ удружишь?

— Передъ тобой, кормилецъ, на томъ не постоимъ!

— Ну такъ вези же!

— А твоей милости не супротивно будетъ, коли штофикъ винца пойдетъ на придачу?

— Вези, вези! Мы винца ужъ давно не пивали"! (*)

Пройдя воровскую заставу, судно спокойно продолжало свой путь.

Картина одной изъ среднихъ губерній въ концѣ 40-хъ годовъ.

Въ № 4 „Библіотеки для чтенія" за 1849 годъ была помѣщена интересная статья, подъ названіемъ „Записки о Россіи". Въ ней авторъ далъ интересное описаніе Тверской губерніи какъ въ географическомъ, такъ и въ этнографическомъ отношеніи. Прежде всего онъ останавливается на путяхъ сообщенія и указываетъ на ихъ значеніе въ отношеніи къ промышленности. Описаніе сухопутныхъ сообщеній онъ начинаетъ съ указанія направленія желѣзной дороги, послѣ чего переходитъ къ описанію петербургско-московскаго шоссе, пролегающаго по Тверской губерніи. Это шоссе онъ

(*) Отечественныя Записки 1853 г., май. „Разсказы проѣзжаго", П. Небольсина, стр. 22.

называетъ образцомъ изящнаго устройства. Черезъ рѣки и каналы вездѣ устроены красивые мосты, на станціяхъ устроены роскошныя гостиницы, гдѣ можно найти прекрасный столъ и помѣщеніе. Переѣздъ по этому шоссе изъ Петербурга въ Москву, въ почтовыхъ каретахъ, авторъ называетъ дешевымъ, скорымъ и пріятнымъ. Проходя черезъ Тверь, названное шоссе отдѣляетъ отъ себя два губернскихъ тракта, изъ которыхъ одинъ пролегаетъ черезъ Старицу и Зубцовъ и соединяется потомъ съ смоленскимъ трактомъ, а другой идетъ черезъ Корчеву и Колязинъ на Угличъ и Ярославль. Кромѣ этихъ главныхъ почтовыхъ трактовъ, есть нѣсколько другихъ. Изъ торговыхъ дорогъ особенно важны дорога изъ Осташкова въ Ржевъ, изъ Углича въ Вышній-Волочекъ, изъ Старицы въ Старую Русу и изъ Торжка въ Осташковъ. Многія изъ названныхъ дорогъ въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ представляли большія неудобства. Этимъ преимущественно отличался трактъ отъ Вышняго-Волочка до Осташкова. „Природа собрала по этой дорогѣ на протяженіи 126 верстъ, говоритъ авторъ, всѣ преграды, какія можетъ только встрѣтить путешественникъ въ медленномъ и утомительномъ пути: лѣса, камни, овраги, горы, болота, пески, фашинныя гати и деревянныя мостовыя неимовѣрно затрудняютъ проѣздъ по этому тракту во всякое время года; весною же, при разлитіи рѣкъ, проѣздъ въ иныхъ мѣстахъ вовсе пресѣкается; такъ, на 26 верстѣ отъ Вышняго-Волочка, около деревни Покрова, версты на три совершенно нигдѣ не бываетъ проѣзда, а по фашинному возвышенію, идущему городскою землею отъ самаго города, ѣзда бываетъ чрезвычайно трудна... Въ зимнее время проѣзжіе слѣдуютъ къ Осташкову черезъ озеро Селигеръ, по льду, но отъ глубокихъ снѣговъ не бываетъ другой ѣзды, какъ гусемъ, такъ что при встрѣчѣ двухъ экипажей одинъ долженъ непремѣнно сворачивать въ снѣгъ и ожидать проѣзда другого“. Изъ торговыхъ путей однимъ изъ важнѣйшихъ былъ путь изъ Вышняго-Волочка въ Угличъ. По немъ въ зимнее и лѣтнее время проходили въ Петербургъ обозы съ разлиными произведеніями Ярославской губерніи, особенно огородными, а также съ краснымъ товаромъ, полотномъ, пряжью. Зимою по этой дорогѣ тянулись обозы съ колотой птицей, ветчиной, солониной, масломъ и

дичью. Шли также многіе товары съ нижегородской ярмарки. Но торговой важности этой дороги не соотвѣтствовало ея состояніе, такъ какъ на ней часто встрѣчались деревянныя мостовыя, требовавшія постоянныхъ починокъ, которыя производились неисправно и небрежно.

Обозрѣвъ пути сообщенія, авторъ дѣлаетъ слѣдующій выводъ: „Бо́льшая часть трактовъ проходитъ лѣсами, которые перемежаются множествомъ селеній и усадьбъ. Кромѣ лѣсовъ, по дорогамъ вездѣ въ большомъ изобиліи встрѣчается мелкій кустарникъ, исключая уѣзды осташковскій, корчевской, весьегонскій и часть кашинскаго, богатые большими лѣсами. По главному московскому тракту, отъ яма Мѣднаго къ городу Торжку, есть также мѣстами красивыя березовыя рощи и кустарники. Лѣса, въ зимнее время, не только удобны, но даже и полезны для дорогъ, потому что, при сильныхъ снѣгахъ и мятеляхъ, защищаютъ ихъ отъ сугробовъ и такимъ образомъ облегчаютъ проѣздъ. Нерѣдко приходится дорогамъ пролегать и чрезъ мѣста болотистыя, особенно въ уѣздахъ весьегонскомъ, корчевскомъ, бѣжецкомъ, вышневолоцкомъ и осташковскомъ. Здѣшнія болота весною и осенью, при постоянныхъ дождяхъ, не мало препятствуютъ слѣдованію не только частныхъ экипажей, но и самыхъ почтъ“. (*)

Почву Тверской губерніи авторъ называетъ, за исключеніемъ не многихъ мѣстъ, безплодною, вслѣдствіе чего различныя произведенія природы добываются съ большимъ трудомъ. Не останавливаясь на геологическихъ свойствахъ мѣстности, можно замѣтить, что около села Андреяполя, не далеко отъ истока рѣки Западной Двины, находили горный хрусталь, халцедонъ, сердолики и болотное желѣзо. Около названнаго села было открыто въ землѣ присутствіе золота, но въ очень незначительномъ количествѣ. Въ новоторжскомъ уѣздѣ, на берегахъ рѣки Щегриной, были найдены зерна и пластинки серебра. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтны слѣды каменнаго угля. Изъ минеральныхъ водъ были изслѣдованы только Андреяпольскія и Высоковскія. Первыя, не смотря на ихъ несомнѣнную цѣлебную силу, въ концѣ сороковыхъ годовъ не были посѣщаемы больными, за неимѣніемъ врача, вторыя же совершенно оставлены и заведеніе водъ уничтожено.

(*) Библіотека для чтенія 1849 г., апрѣль. „Записки о Россіи“, стр. 156—157.

Климатъ губерніи, вообще, суровый, но холодъ зимою и жара лѣтомъ смягчаются множествомъ озеръ, рѣкъ и болотъ, дѣлающихъ воздухъ влажнымъ. Зима устанавливается въ серединѣ ноября. Господствующіе вѣтры—сѣверо-восточный и сѣверо-западный. Осенью идутъ продолжительные дожди.

Жителей въ Тверской губерніи считалось въ 1845 г. 1,339,584, изъ нихъ крестьянъ было 1,191,088 душъ. Между крестьянами помѣщичьихъ насчитывалось 345,078 мужского и 354,672 женскаго пола. Дворовыхъ людей числилось 40,865 душъ. Въ наружности крестьянъ замѣтно вліяніе финскаго типа. „Они средняго роста, чаще переходящаго въ низкій, чѣмъ въ высокій, имѣютъ рыжеватый цвѣтъ волосъ, у дѣтей совершенно бѣлый, глаза небольшіе, сѣрые; носъ весьма рѣдко правильный. Эти характеристическія черты финскаго племени еще рѣзче и ярче выказываются у женщинъ. Различіе между тверскимъ крестьяниномъ и чисто русскимъ обитателемъ, напримѣръ, ярославской губерніи, нельзя объяснить однимъ только вліяніемъ климата и мѣстныхъ причинъ. Вѣроятно, древнія финскія племена Весь и Меря, обрусѣвъ и утративъ свой коренной языкъ,—чему примѣры видимъ и въ другихъ частяхъ имперіи,—образовали большую часть народонаселенія тверской губерніи“.

По характеристикѣ автора, крестьяне Тверской губерніи въ нравственномъ отношеніи являются весьма симпатичными. Въ умственномъ отношеніи авторъ ставитъ ихъ выше крестьянъ многихъ другихъ губерній, приписывая это превосходство близости столицъ, обилію торговыхъ путей и большому стеченію прохожаго и проѣзжаго люда изъ другихъ губерній. Господство предразсудковъ между ними слабѣе, они менѣе чуждаются новизны и въ сношеніяхъ съ другими не прибѣгаютъ къ обману. Они знакомы съ учтивостью, и гостепріимство сохраняется между ними въ полной силѣ. Авторъ хвалитъ ихъ за любознательность, которая проявляется даже въ мелочахъ. „Вы пріѣзжаете на станцію, говоритъ онъ, къ вамъ всегда сбѣгается толпа народа, осматриваютъ со всѣхъ сторонъ вашъ экипажъ, идутъ пересуды, толки, усердныя прислужничества въ перепряжкѣ лошадей. Не думайте, что толпа, которая васъ окружила, праздный, лѣнивый народъ, что у этой толпы много досужихъ часовъ.

Нѣтъ, здѣсь проглядываетъ любознательность русскаго человѣка, замѣчательная черта его характера о всемъ посудить, подивиться чужому и непремѣнно найти въ немъ недостатокъ. Въ окружившей толпѣ рѣдко увидишь женщинъ: все мужики и мальчишки. Въ уѣздахъ, отдаленныхъ отъ большихъ трактовъ, гдѣ экипажъ и проѣзжій рѣдкость, иногда сбѣгаются и женщины; но чаще онѣ, завидѣвъ экипажъ, высыпаютъ на высокія крыльца своихъ избъ, и тѣсно прижавшись другъ къ дружкѣ, смотрятъ на проѣзжаго какъ на невидаль; стоитъ подойти къ нимъ, толпа тотчасъ прячется въ избу". Но авторъ не скрываетъ и недостатковъ крестьянъ. Такъ, нравственность сельскихъ дѣвицъ онъ ставитъ очень не высоко; крестьяне полагаютъ, что должно стыдиться не разгульной жизни, а только ея послѣдствій. Не смотря на смышленость и достаточную развитость, они не чужды суевѣрій. Въ болѣзняхъ и разныхъ затруднительныхъ случаяхъ обычно обращеніе къ колдунамъ. Демонологія весьма развита. Между духами различаются враждебные и дружественные человѣку. Лѣшіе, по представленію крестьянъ, похожи на людей, только не имѣютъ креста на груди и при встрѣчѣ отворачиваются въ сторону. Сильно распространена вѣра въ существованіе кладовъ, главными хранителями которыхъ считаются многочисленные курганы, разсѣянные въ разныхъ мѣстахъ губерніи.

Въ характеристику населенія Тверской губерніи авторъ включаетъ и корелъ, нарѣчіе которыхъ сильно измѣнилось, такъ что они почти не понимаютъ языка своихъ соплеменниковъ, живущихъ въ Финляндіи и въ Заонежскомъ краѣ. Характеристическая черта корелъ упрямство. „Заставить корела признаться въ чемъ-нибудь, когда онъ рѣшился молчать, совершенно невозможно ни ласками, ни угрозами. Вообще, они весьма недовѣрчивы и скрытны,—главная причина множества между ними раскольниковъ. Мстительность также составляетъ общее свойство; они рѣдко увлекаются запальчивостью, а выжидаютъ удобнаго случая, чтобы отомстить безъ всякой для себя опасности". Но при этихъ недостаткахъ, корелы имѣютъ и привлекательныя черты въ своемъ характерѣ: они честны, вѣрны данному слову и питаютъ глубокое уваженіе къ семейнымъ узамъ.

Жилища крестьянъ представляли обыкновенный типъ деревенскихъ избъ великорусскихъ губерній, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переходя къ характеру финскихъ построекъ. Волоковыя окна начинали выходить изъ употребленія. Опрятность, чистота не были характеристическими признаками жилищъ. Множество таракановъ и клоповъ составляли неотъемлемую ихъ принадлежность.

Характеристику городскихъ жителей авторъ начинаетъ съ купцовъ и мѣщанъ. Многіе изъ купцовъ владѣли огромными капиталами, простиравшимися до 10,000,000 рублей и болѣе. Борода и національная одежда, какъ традиціонные признаки, пользовались полнымъ уваженіемъ среди купечества. Въ образѣ жизни господствовала простота, не исключавшая любви къ блестящимъ, но безвкуснымъ украшеніямъ въ обстановкѣ комнатъ. Жены и дочери жили затворницами. Браки заключались исключительно въ своей средѣ. Нѣкоторые изъ купцовъ начинали сознавать необходимость образованія и отдавали сыновей въ коммерческое училище, дочерей же обыкновенно ничему не учили. Традиціонной косности менѣе всего замѣчалось между вышневолоцкимъ купечествомъ. Между ржевскими и новоторжскими купцами было много старообрядцевъ, питавшихъ полное отвращеніе къ разнымъ нововведеніямъ. Купцовъ первой гильдіи было болѣе всего въ Вышнемъ-Волочкѣ и Торжкѣ, въ Твери же ихъ совсѣмъ не было. Всего купцовъ въ губерніи считалось 4,617 человѣкъ, между которыми 31 принадлежали къ первой гильдіи.

Переходя къ мѣщанамъ, авторъ называетъ ихъ самымъ испорченнымъ классомъ народонаселенія губерніи. Утративъ патріархальность нравовъ, этотъ классъ не замѣнилъ ея образованіемъ. Обманъ мѣщанинъ считалъ главнымъ устоемъ въ торговлѣ, пьянство—синонимомъ наслажденія, разгульную жизнь—любви. На большихъ трактахъ мѣщане содержали трактиры и постоялые дворы, держась въ своемъ промыслѣ принципа неразборчивой наживы.—Въ одеждѣ горожанокъ въ разныхъ мѣстахъ замѣчалось большое разнообразіе. Въ нарядахъ женъ мѣщанъ и купцовъ замѣчалась большая пестрота. Бѣлила и румяна были въ общемъ употребленіи.

По многочисленности третьимъ классомъ въ губерніи являлось духовенство. Монашествующихъ считалось 519 человѣкъ обоего пола, лицъ бѣлаго духовенства 3,360, всего же въ духовномъ сословіи считалось 17,044 человѣка обоего пола. Монаховъ изъ дворянъ почти совсѣмъ не было. Въ губерніи насчитывалось 17 мужскихъ и 4 женскихъ монастыря.

Потомственныхъ дворянъ считалось 3,500 мужескаго и 3,425 женскаго пола. Большая часть изъ нихъ жила въ своихъ имѣніяхъ, пріѣзжая въ тотъ или въ другой городъ только по необходимости: на выборы, по дѣламъ въ присутственныхъ мѣстахъ, для закупокъ и для продажи своихъ сельскихъ произведеній. Погруженные въ свои сельскохозяйственныя занятія, они не могли, конечно, стоять на уровнѣ современнаго образованія. Къ военной службѣ дворяне обнаруживали больше влеченія, чѣмъ къ гражданской, и дѣти ихъ бо́льшею частью воспитывались въ военно-учебныхъ заведеніяхъ. Степень благосостоянія землевладѣльцевъ должна была быть не высока, если принять въ соображеніе тотъ фактъ, что почти всѣ имѣнія въ губерніи принадлежали къ числу заложенныхъ. Въ 1845 году изъ числа 5,227 помѣщичьихъ имѣній 1,712 подлежали опекѣ. Въ числѣ дворянъ существовали мелкопомѣстные, которымъ авторъ даетъ названіе *баре*. Къ благородному, дворянскому сословію они принадлежали только по своимъ правамъ, а не по образу жизни. Существовали цѣлыя деревни, населенныя исключительно барами; къ такимъ деревнямъ принадлежали, напримѣръ, Хвошня и Стригово, въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ. Описывая жизнь названныхъ *баръ*, авторъ говоритъ: „Всѣ эти баре принадлежатъ къ древнему дворянству, и фамиліи ихъ записаны въ шестую родословную книгу; но отъ размноженія и постепеннаго раздробленія имѣній они впали въ такую бѣдность, что большая часть ихъ не имѣютъ уже вовсе крестьянъ; другія семейства владѣютъ одною душою, часто какимъ-нибудь несовершеннолѣтнимъ мальчикомъ или дѣвкою. Баре нигдѣ не служатъ, и ужъ много поколѣній состоятъ изъ недорослей; они почти всѣ безграмотны и живутъ наиболѣе въ обществѣ сосѣднихъ крестьянъ. Еще недавно баре вели совершенно перехожую жизнь, прогащивая по цѣлымъ недѣлямъ у богатыхъ помѣщиковъ и забавляя ихъ пѣснями,

плясками, шутовствомъ и тому подобнымъ. Теперь, когда число охотниковъ до этихъ удовольствій уменьшилось, баре обратились къ промысламъ и занимаются часто земледѣліемъ, частію же нанимаются на баркахъ въ сходочные. Зимою баре и барыни отправляются объѣздомъ къ окрестнымъ помѣщикамъ, выпрашивая у нихъ вспоможеніе, всего чаще состоящее изъ стараго платья, мѣрки гороху, картофеля, и прочее". (*)

Говоря о состояніи просвѣщенія въ губерніи, авторъ рисуетъ не совсѣмъ отрадную картину. Въ казенныхъ имѣніяхъ существовало 45 сельскихъ училищъ, въ помѣщичьихъ же число ихъ было сравнительно еще болѣе ничтожно. Въ городскихъ школахъ число учащихся простиралось до 2,000 мужескаго и до 120 женскаго пола. На всю губернію существовала одна гимназія и три женскихъ пансіона. Общее число учащихся было 7,050, въ томъ числѣ только 240 дѣвочекъ. Такимъ образомъ, на женское образованіе не обращалось почти никакого вниманія не только въ деревняхъ, но и въ городахъ. Число мужскихъ школъ также было весьма недостаточно. Между тѣмъ, по словамъ автора, среди населенія чувствовался запросъ на образованіе. Въ Тверской губерніи развитіе грамотности было настоятельною потребностью, такъ какъ ея населеніе отличалась торговымъ, промышленнымъ духомъ.

Санитарное состояніе городовъ въ губерніи тоже было весьма неудовлетворительно. Съ 1836 по 1846 г. въ городахъ родившихся было 3,832 человѣка, тогда какъ умершихъ 3,916. Въ деревняхъ процентъ смертности былъ значительно менѣе процента рождаемости, такъ какъ родившихся было 55,328 человѣкъ, а умершихъ 42,115. Наибольшая смертность была распространена между дѣтьми. Сообщая эти данныя, авторъ говоритъ: „Большое изобиліе водъ, текучихъ и стоячихъ, развивая сырость воздуха, отчасти располагаетъ къ особеннымъ климатическимъ болѣзнямъ, какъ-то, къ простуднымъ лихорадкамъ и ревматизмамъ. По увѣренію врачей, лихорадки бываютъ особенно жестоки и трудноизлѣчимы у живущихъ вокругъ Вышняго-Волочка, въ большей части Осташковскаго уѣзда, въ долинѣ рѣки Шоши и въ Васье-

(*) Библіотека для чтенія 1849 г., апрѣль, „Записки о Россіи", стр. 171.

гонскомъ уѣздѣ. Въ Вышнемъ-Волочкѣ замѣчено вредное вліяніе воды на здоровье жителей. При запорѣ заводскаго резервуара, Цна мелѣетъ до того, что вода въ ней дѣлается желтаго цвѣта и столь мутною, что почти не можетъ быть употребляема для питья. При спускѣ воды изъ резервуара рѣка наполняется; но спущенная вода, стоявшая долго во время лѣтнихъ жаровъ въ резервуарѣ, также не можетъ не измѣниться въ своихъ свойствахъ, и оказываетъ болѣе или менѣе вредное вліяніе, преимущественно обнаруживающееся въ болѣзненныхъ явленіяхъ, происходящихъ отъ зарожденія глистовъ. Особенно примѣтна глиста ленточная, которою бываютъ одержимы даже дѣти. Это вредное вліяніе могло бы быть устранено вырытіемъ въ городѣ колодцевъ. Въ настоящее время нѣкоторые изъ жителей добываютъ себѣ воду изъ ключей, лежащихъ въ трехъ верстахъ отъ города; другіе очищаютъ ее посредствомъ угольевъ, и только низшій классъ народа употребляетъ воду въ томъ видѣ, въ какомъ она находится въ рѣкѣ".

Во время сырой, дождливой осени населеніе губерніи повсемѣстно страдало отъ горячекъ и кровавыхъ поносовъ. Послѣдніе приписывались дѣйствію грибовъ, употребляемыхъ крестьянами въ большомъ количествѣ, и капустныхъ кочерыжекъ, входившихъ въ пищу бѣдняковъ. Иногда въ нѣкоторыхъ уѣздахъ появлялась особаго рода болѣзнь, носившая названіе *злая корча*, признаками которой были: головная боль, слабость, судорожное сведеніе рукъ и ногъ и желудочная боль; безъ помощи врача болѣзнь оканчивалась смертью. Болѣзнь эту врачи объясняли вреднымъ дѣйствіемъ хлѣба, приготовленнаго изъ недоброкачественной ржаной муки, съ примѣсью такъ называемыхъ *рожковъ*.

По наружному виду, лучшими городами считались: Тверь, Торжокъ, Вышній-Волочекъ и Осташковъ. Въ первомъ изъ нихъ было въ 1849 г. 665 каменныхъ домовъ, во второмъ 400, въ двухъ остальныхъ болѣе 200. По образованію первое мѣсто принадлежало Осташкову. Если сообщеніе автора справедливо, то въ немъ почти не было совсѣмъ неграмотныхъ женщинъ. Жители обнаруживали наклонность къ изящному. Многіе занимались живописью и музыкой. Церковные пѣвчіе

были лучшими во всей губерніи. Въ Осташковѣ была публичная библіотека, чѣмъ не могла похвалиться и Тверь. Такое процвѣтаніе образованія въ городѣ было вызвано усиліями нѣкоторыхъ богатыхъ и просвѣщенныхъ купцовъ.

Бытъ и характеръ деревенскихъ помѣщиковъ.

Въ „Москвитянинѣ“ за 1848 г. была напечатана замѣчательная статья М. Н. Дмитріева, подъ названіемъ „О натуральной школѣ и народности“. Въ ней авторъ старался указать слабыя стороны писателей натуральной школы. Главнымъ недостаткомъ этихъ писателей, по его мнѣнію, было стремленіе къ широкимъ обобщеніямъ, смѣшеніе различныхъ типовъ между собою. Такъ, рисуя бытъ и нравы чиновниковъ, названные писатели, по словамъ Дмитріева, изображали только петербургскихъ чиновниковъ, не обращая вниманія на московскихъ и провинціальныхъ. То же самое замѣчалось и въ изображеніи быта помѣщиковъ, именно—отсутствіе знакомства съ образомъ жизни и характеромъ помѣщиковъ деревенскихъ. Указывая на этотъ недостатокъ въ произведеніяхъ писателей натуральной школы, Дмитріевъ старается самъ охарактеризовать названныхъ помѣщиковъ, при чемъ обнаруживается короткое знакомство съ ихъ бытомъ. Главное занятіе деревенскаго помѣщика—хозяйство, въ связи съ попечительностью о домѣ, о семействѣ. Его заботливая, трудовая жизнь сообщаетъ его физіономіи нѣсколько суровый видъ; на его лицѣ рѣже, чѣмъ у столичнаго жителя, появляется улыбка, но зато у него можетъ вырваться болѣе громкій, беззаботный хохотъ. Лица деревенскихъ помѣщиковъ характернѣе, выраженіе природныхъ свойствъ хотя грубѣе, но зато яснѣе и чище. Сужденія ихъ отличаются полною опредѣленностью, такъ какъ касаются предметовъ, хорошо имъ извѣстныхъ, отличаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и большею индивидуальностью. Въ ихъ разговорѣ лучше выражаются характеристическія особенности русскаго языка. Деревенскій помѣщикъ лучше знаетъ бытъ народа и судитъ о немъ вѣрнѣе.

Отличаясь гостепріимствомъ, деревенскій помѣщикъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и разсчетливъ, такъ какъ знаетъ, что его благосостояніе зависитъ отъ урожая и хорошихъ цѣнъ на хлѣбъ. Комфорта онъ не знаетъ, живя по пословицѣ: „не красна изба углами, а красна пирогами". Иногда онъ развертывается во всю ширь, и это бываетъ, именно, на охотѣ, любимомъ его развлеченіи. Тутъ все забывается, кромѣ тяжбы съ сосѣдомъ. Свою характеристику Дмитріевъ заканчиваетъ слѣдующими словами: „Занимаясь безпрерывно хозяйствомъ, ведя жизнь заботливую, помѣщики любятъ однако и покой, и когда предаются ему въ промежуткахъ между дѣлъ, то уже предаются совершенно: это нѣкоторымъ образомъ азіатскій кейфъ! Это переходъ отъ крайности къ крайности, отъ хлопотливости къ бездѣйствію, на которое остается таки довольно времени, по которому они предаются по большей части во второй половинѣ своей жизни, когда имѣніе уже устроено и хлопотъ становится меньше.—Это лѣнивое бездѣйствіе (конечно, и тутъ не безъ исключенія) производитъ то, что послѣ зрѣлаго мужества они, по наружности своей, быстро приближаются къ старости.—Въ столицѣ нѣкогда состарѣться! Тамъ служба и свѣтская жизнь, обязанность быть всякій день или въ мундирѣ, или во фракѣ, однимъ словомъ, или вытяжка, или приличіе, поддерживаютъ и въ старости наружную бодрость, живость; въ деревнѣ помѣщикъ вдругъ опускается, начинаетъ одѣваться широко, покойно и пятидесяти лѣтъ смотритъ уже старикомъ. Такимъ образомъ, вопреки мнѣнію знаменитаго Циммермана, въ деревняхъ старость приходитъ ранѣе, по крайней мѣрѣ по наружности, по крайней мѣрѣ къ помѣщикамъ.—Надобно замѣтить, что въ деревнѣ никто и не обидится, если ему скажутъ, что онъ состарѣлся; напротивъ, крестьянинъ, приходя къ помѣщику, который былъ нѣсколько лѣтъ въ отсутствіи, говоритъ ему, какъ привѣтствіе участія: „вотъ и ты, батюшка, ужъ состарѣлся!" (*)

(*) Жизнь и труды М. П. Погодина, Н. Барсукова, IX, стр. 402.

Холера въ 1848 году.

1848 г. извѣстенъ, между прочимъ, по страшнымъ опустошеніямъ, произведеннымъ холерою въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи. Сохранились многочисленныя свидѣтельства очевидцевъ, рисующихъ ужасы этой печальной поры. Сюда, между прочимъ, относится то, что писали о холерѣ Погодинъ, Хомяковъ, М. А. Дмитріевъ, Шевыревъ, А. В. Головнинъ. Въ продолженіе всего страшнаго лѣта, когда холера опустошала Москву, Погодинъ не выѣзжалъ изъ города и не терялъ мужества. По его словамъ, онъ цѣловалъ холерныхъ живыхъ и мертвыхъ. Бодрое настроеніе поддерживалось въ немъ усидчивымъ занятіемъ русскою исторіею. Онъ не боялся посѣщать больныхъ. Такъ, онъ былъ при соборованіи умиравшей отъ холеры жены лавочника, жившаго въ его домѣ. Но одно случайное обстоятельство поколебало и его мужество. Гуляя однажды въ своемъ саду, онъ увидѣлъ на небѣ упавшую почти надъ самымъ домомъ звѣзду. Это его сильно смутило, и онъ записалъ въ своемъ „Дневникѣ“: „Не знакъ ли это моей смерти? Жаль не написать Исторіи и не сказать послѣдняго своего слова. Буди воля Божія! Написалъ распоряженія на случай моей смерти, легъ не безъ смущенія“. Въ своемъ завѣщаніи онъ просилъ отпѣваніе совершить въ университетской церкви и похоронить просто. Свой обширный музей предназначалъ для продажи въ казну, за 100,000 рублей. Имущество распредѣлялось между родными. Завѣщаніе оканчивалось словами: „Пригласить знакомыхъ обѣдать“. И не одинъ Погодинъ, вѣроятно, приготовлялся такимъ образомъ къ смерти. Особенно сильная паника была распространена въ деревняхъ. „Въ народѣ страхъ и отчаяніе“, писалъ Шевыревъ Погодину. „Въ селеніяхъ, гдѣ живутъ помѣщики, лучше, потому что берутся мѣры предосторожности и подаются пособія“. Хомяковъ, И. Кирѣевскій, Дмитріевъ вели въ своихъ имѣніяхъ: Богучаровѣ, Долбинѣ, Богородскомъ, упорную борьбу съ холерой, стараясь помогать крестьянамъ. Хомяковъ говорилъ, что онъ во время этой борьбы испыталъ все волненіе битвы. Кирѣевскій лѣчилъ весьма удачно. „Богъ благословилъ его труды, почти всѣ выздоравливаютъ“, писала Погодину жена Кирѣевскаго. Въ Богородскомъ холера

дѣйствовала сильно и быстро. М. А. Дмитріевъ лѣчилъ каплями, баней и натираньемъ тѣла виномъ съ краснымъ перцемъ. Было совершено молебствіе. Для поддержанія бодраго, веселаго настроенія, устраивались хороводы, что дѣйствовало несомнѣнно благотворнымъ образомъ. „Но однажды, писалъ Дмитріевъ Погодину,—когда всѣ были по-праздничному на улицѣ и собирались уже хороводы, вдругъ изъ воротъ вынесли два гроба: въ одну минуту никого не осталось на улицѣ, всѣ спрятались по домамъ. Но спустя нѣсколько времени опять начали показываться и пошло по-прежнему".

Страшныя опустошенія производила холера въ Рязанской губерніи. Одинъ очевидецъ, проѣзжавшій по разнымъ уѣздамъ названной губерніи, говоритъ, что его поѣздка походила на прогулку по кладбищамъ. Всюду онъ встрѣчалъ или похороны, или могильщиковъ съ лопатами, или крестные ходы, или общее причащеніе Св. Таинъ въ ожиданіи скорой смерти. „Видѣлъ цѣлыя фабрики гробовъ", говоритъ онъ: „ряды избъ, въ которыхъ остались въ живыхъ одни ребятишки, поля съ хлѣбомъ, котораго некому убирать, потому что тѣ, которые посѣяли его, сами разсѣяны по нивѣ Божіей. Народъ въ большомъ уныніи и мѣстами толковали объ отравленіяхъ... Холера дѣйствовала чрезвычайно странно. Въ иномъ селѣ нѣсколько недѣль сряду умирали однѣ женщины, а потомъ нѣсколько времени одни мущины. Щадила болѣзнь дѣтей, стариковъ, людей издавна больныхъ и увѣчныхъ. Вездѣ она вырывала цѣлыми семьями и, опустошивъ нѣсколько домовъ, никого не касалась въ другихъ". Въ народѣ всюду ходили самые нелѣпые слухи, смущавшіе суевѣрныхъ. Такъ, въ Богородскомъ, о которомъ было упомянуто выше, толковали о томъ, что изъ лѣсу выбѣгаетъ собака и если кого понюхаетъ, то у того вся семья заболѣетъ. Говорили о нищемъ солдатѣ, который будто бы „напускалъ" холеру. Солдатъ этотъ былъ представленъ въ качествѣ распространителя холеры въ Сызрань. (*)

Опустошительно было дѣйствіе холеры, между прочимъ, въ Казани. Жители, пораженные страхомъ, бѣжали въ разныя стороны. „Пустые дома забивались наглухо ставнями;

(*) Жизнь и труды М. П. Погодина, Н. Барсукова, IX, стр. 324—325.

гробы, наваленные въ безпорядкѣ одинъ на другой, безпрестанно встрѣчались на улицахъ. Умершихъ не успѣвали отпѣвать; ихъ прямо отправляли на кладбище и складывали въ общія могилы". (*) Ужасъ, производимый этимъ опустошеніемъ, усиливался дѣйствіемъ страшныхъ пожаровъ. „Черные клубы пожарнаго дыма густою пеленой окутывали кругомъ Казань; въ воздухѣ страшно пахло гарью. Пожары продолжались днемъ и ночью. Главнымъ препятствіемъ къ ихъ тушенію оказались деревянныя мостовыя, украшавшія улицы: Воскресенскую и Покровскую. Это были улицы неширокія. Отъ нестерпимаго огня загорались мостовыя и выгорали до-тла. Пожарнымъ командамъ не оказалось возможности подъѣзжать къ охваченнымъ пламенемъ зданіямъ".

Шевыревъ, жившій въ 1848 г. въ Москвѣ, охарактеризовалъ названное печальное время въ слѣдующемъ выразительномъ четверостишіи:

Время стоновъ, время муки,
Время страха Божьихъ грозъ,
Время скорби и разлуки
И сиротскихъ горькихъ слезъ!

Московскій университетъ въ эпоху сороковыхъ годовъ.

Любя добро и мудрость страстно,
Мы живы въ самомъ гробѣ будемъ.
Жуковскій.

Въ жизни каждаго университета существовали годы, когда умственная жизнь проявлялась въ немъ съ особенною силою, когда появлялось значительное число талантливыхъ профессоровъ, умѣвшихъ съ глубокою эрудиціею соединять живое изложеніе и возбуждать въ сильной степени интересъ къ наукѣ въ своихъ слушателяхъ. Такой порой въ жизни Московскаго университета были сороковые годы. Въ это время Московскій университетъ, по выраженію Бестужева-Рюмина, „былъ верховнымъ ареопагомъ въ дѣлѣ науки; онъ блисталъ плеядою талантовъ въ разныхъ родахъ и разныхъ направленіяхъ: Соловьевъ и Шевыревъ, Катковъ и Рѣдкинъ, Гра-

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., май. „Записки о прошломъ" Суворова, стр. 79.

новскій и Крыловъ, Кавелинъ и Морошкинъ, Кудрявцевъ и Чивилевъ—что можетъ быть противоположнѣе по таланту и направленію, по складу ума и характера?“ У московскихъ профессоровъ названнаго времени, при всемъ разнообразіи характера ихъ лекцій, замѣчалась одна общая черта, которую профессоръ Шмурло опредѣляетъ такимъ образомъ: „Пятьдесятъ лѣтъ назадъ наука еще не успѣла такъ спеціализоваться, какъ нынѣ, знаніе еще не было разсортировано по такимъ мелкимъ клѣточкамъ, какъ теперь,—и студентъ гораздо больше выносилъ руководящихъ идей, болѣе понималъ, на что можетъ пригодиться его знаніе, болѣе интересовался имъ. Анализъ не останавливался на полдорогѣ, а всегда приводилъ къ синтезу. Современное поколѣніе ученыхъ, можетъ быть, и основательнѣе знаетъ предметъ своей спеціальности, зато прежніе профессора обладали бо́льшею разносторонностью и силою обобщенія. Благодаря этому, и ихъ ученики, если и меньше *знали*, чѣмъ нынѣшніе, то во всякомъ случаѣ больше ихъ *думали*“. (*)

Соловьевъ, занявшій каѳедру Погодина, сразу обратилъ на себя общее вниманіе. Читая русскую исторію, онъ обращалъ главное вниманіе на исторію политическую. Онъ выяснялъ понятіе исторіи, разсматривалъ разные виды лѣтописей и историческія пособія и затѣмъ, послѣ географическаго очерка страны, переходилъ къ изложенію историческихъ событій. Лекціи Соловьева отличались силою убѣжденія, строгою логичностью, послѣдовательностью и ясностью изложенія. Шевыревъ въ широкой и связной картинѣ рисовалъ явленія, входившія въ область старинной русской литературы, давая своимъ лекціямъ доступную и занимательную форму. Знакомя своихъ слушателей съ теоріею словесности, онъ не довольствовался указаніемъ теоретическихъ положеній, но приводилъ теорію въ тѣсную связь съ исторіею литературы и тѣмъ положилъ основаніе правильному ея изученію. Катковъ, читавшій исторію философіи, поражалъ своихъ слушателей умѣньемъ выражать самыя отвлеченныя понятія въ сжатой и доступной формѣ. По словамъ Бестужева-Рюмина, Катковъ стройно и изящно излагалъ Шеллин-

(*) Сѣверный Вѣстникъ 1897 г., апрѣль. „К. Н. Бестужевъ-Рюминъ“, проф. Шмурло, стр. 160.

гову систему миѳологіи и умѣлъ передать студентамъ пониманіе историческаго значенія религіознаго процесса въ развитіи человѣчества, его великой исторической роли. Занявши названную каѳедру, Каткову пришлось бороться со многими трудностями, преодолѣвать многія преграды. По его словамъ, ему приходилось считаться и съ внутренними требованіями науки, ея отвлеченнымъ характеромъ, и съ неподготовленностью слушателей къ философскому мышленію, вслѣдствіе чего приходилось многое разжевывать и многое урѣзывать, и съ чрезвычайнымъ разногласіемъ въ мнѣніяхъ различныхъ философовъ. Онъ не ожидалъ отъ своихъ трудовъ скорыхъ плодовъ и не заботился о минутномъ успѣхѣ, но успѣхъ пришелъ въ силу внутреннихъ достоинствъ его чтеній. Къ Каткову на лекціи сходились слушатели съ разныхъ факультетовъ и курсовъ. Тѣмъ не менѣе, его лекціи, въ силу отвлеченнаго характера предмета, не для всѣхъ студентовъ были доступны и, по его выраженію, „перевирались въ ихъ запискахъ такъ безбожно, что онъ приходилъ въ отчаяніе“.

Говоря о Катковѣ, естественно вспомнить и о Леонтьевѣ, который также занималъ каѳедру въ Московскомъ университетѣ. Онъ читалъ римскую словесность и былъ преемникомъ своего любимаго профессора Крюкова. Между прочимъ, была замѣчательна его вступительная лекція „О классицизмѣ, европеизмѣ и народности“. Говоря о полезности изученія классической древности въ педагогическомъ отношеніи, Леонтьевъ замѣтилъ слѣдующее: „Древніе были не только даровиты; они писали не спѣша, а потому имѣли время художнически отдѣлывать каждую фразу; они писали только по собственному побужденію, а не по заказу. Поэтому ихъ произведенія отличались вмѣстѣ и изящностью, и дѣльностью. Къ этому присоединяется, что во многихъ изъ нихъ мысль и знаніе представляются намъ въ юношеской свѣжести ихъ перваго явленія, а это ихъ дѣлаетъ въ педагогическомъ отношеніи просто безцѣнными. Въ школѣ ничто такъ не вредно, какъ кажущаяся многосторонность“. Профессора стараго поколѣнія остались недовольны вступительною лекціею Леонтьева, и Погодинъ писалъ Шевыреву: „Прочелъ рѣчь Леонтьева: можетъ ли ослѣпленіе быть больше? Гдѣ читана эта лекція? Въ Алжирѣ, Тибетѣ? Только не въ Европѣ, не

въ христіанскомъ государствѣ. Христіанства здѣсь не видать даже какъ историческаго явленія!“ Но иначе отнеслись къ лекціи студенты. Воспоминаніе объ этомъ слышится въ слѣдующихъ словахъ А. И. Георгіевскаго: „Какъ теперь помню первое его (Леонтьева) появленіе предъ огромною массою студентовъ, собравшихся на первую вступительную лекцію его въ большой словесной аудиторіи. Предметъ его лекціи и теперь еще, чрезъ двадцать восемь лѣтъ, не утратилъ своего великаго современнаго значенія для Россіи. Она была посвящена раскрытію предъ нами, его слушателями, важности всесторонняго изученія классической древности. Она была какъ бы программою, осуществленію которой была посвящена затѣмъ вся дальнѣйшая жизнь его, какъ профессора, какъ публициста“. (*)

Большой энтузіазмъ въ своихъ слушателяхъ умѣлъ возбуждать Рѣдкинъ. Онъ „электризовалъ ихъ силою своего одушевленія, глубокою вѣрою въ то, что излагалъ“. Его лекціи „вводили въ міръ мысли и будили нравственное чувство—двѣ заслуги, которыя рѣдко соединяются вмѣстѣ“. Рѣдкинъ знакомилъ студентовъ съ философіею Гегеля и сдѣлалъ его очень популярнымъ между студентами, о чемъ, между прочимъ, сообщаетъ о своихъ воспоминаніяхъ ученикъ Рѣдкина поэтъ Фетъ.

Каѳедру всеобщей исторіи въ Московскомъ университетѣ въ названное время занималъ Грановскій. Справедливо кто-то сказалъ, что Грановскій былъ профессоръ по природѣ. Называли его не просто ученымъ, но поэтомъ, художникомъ, артистомъ. Во время лекціи онъ былъ вполнѣ въ своей сферѣ. „Лица и поколѣнія, давно оставившія земное поприще, не были мертвы для Грановскаго, ибо онъ вѣрилъ въ безсмертіе духовнаго дѣла, ими совершеннаго, чувствовалъ присутствіе мысли, внесенной ими въ исторію. Къ мертвымъ онъ обращался еще съ бо́льшимъ уваженіемъ, чѣмъ къ живымъ, потому что, съ одной стороны, понималъ высокое призваніе историка, обязаннаго вскрыть чистую истину, а съ другой—чувствовалъ всю безотвѣтность лица, отодвинутаго отъ насъ на цѣлыя тысячелѣтія. Онъ поднималъ ихъ не для того, какъ самъ выражался, чтобы тревожить могильный сонъ

(*) Жизнь и труды Погодина, Н. Барсукова, IX, стр. 219.

подсудимаго, а для того, чтобы его же дѣлами, его же мыслью разсказать подвигъ, совершенный имъ для человѣчества. Оттого чтенія Грановскаго были исполнены особеннаго величія; послѣ первыхъ же лекцій слушатель проникался благоговѣйнымъ уваженіемъ и къ исторіи, и къ историку". (*) Въ его лекціяхъ живо чувствовалась любовь къ человѣчеству. Въ своей рѣчи „О современномъ значеніи исторіи" Грановскій говоритъ, что тотъ не историкъ, кто не можетъ перенести въ прошлое чувства любви къ ближнему, кто не въ состояніи въ изучаемыхъ лѣтописяхъ и другихъ памятникахъ прочесть сокрытыя въ нихъ истины и прійти къ тому заключенію, что „въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человѣчества есть искупительныя, видимыя намъ на разстояніи столѣтій, стороны, и на днѣ самаго грѣшнаго, предъ судомъ современниковъ, сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство".

Въ характеристикахъ Грановскаго историческіе дѣятели являлись вполнѣ живыми лицами, каждый въ своей національной окраскѣ, отражая въ своихъ помыслахъ и дѣйствіяхъ колоритъ своей эпохи. Онъ умѣлъ придавать живой интересъ даже не занимательнымъ событіямъ, находя въ нихъ глубокій смыслъ и значеніе. По взгляду Грановскаго, исторія есть школа, воспитывающая гражданина. Одинъ изъ лучшихъ учениковъ Грановскаго Бестужевъ-Рюминъ, между прочимъ, цѣнилъ въ немъ „стараніе воспитать въ своихъ слушателяхъ сознаніе вѣчныхъ законовъ историческаго развитія, уваженія къ прошлому, стремленіе къ улучшенію и развитію въ будущемъ; стараніе пробудить сознаніе того, что успѣхи гражданственности добываются труднымъ и медленнымъ процессомъ, что великіе люди суть дѣти своего общества и представители, что имъ нужна почва для дѣйствія. Не съ насмѣшкою сожалѣнія относился онъ къ прошлому, но съ стремленіемъ понять его въ немъ самомъ и въ его отношеніяхъ къ настоящему".

„Спокойно, величаво, скрестивъ руки надъ поверхностью каѳедры, говорилъ профессоръ о судьбахъ историческаго

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., февраль. „Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и общественныхъ дѣятелей", Дмитріева, стр. 729.

міра. Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, отличавшихся какимъ-либо особымъ величіемъ, голосъ профессора чуть замѣтно измѣнялся, какъ будто мужалъ; прекрасные, задумчивые глаза покрывались чуть замѣтною влагою, и душевное движеніе для внимательнаго наблюдателя ясно обозначалось на лицѣ. Глубокая тишина царствовала въ аудиторіи. Кругомъ на скамьяхъ, стульяхъ, столахъ, на самыхъ приступкахъ каѳедры тѣснились слушатели и скрипѣли перья. Но перья вдругъ умолкали подъ вліяніемъ какой-нибудь возвышенной мысли или изящнаго образа; самое дыханіе какъ будто мѣшало слуху; вся аудиторія превращалась въ беззвучный, напряженный слухъ,—и еще торжественнѣе выступалъ тихій, симпатическій голосъ профессора". (*)

Взглядъ Грановскаго на значеніе изученія исторіи ясно высказался въ слѣдующихъ замѣчательныхъ словахъ, которыми онъ окончилъ одну изъ своихъ лекцій, обратившись къ студентамъ: „Не для однихъ разговоровъ въ гостиныхъ, можетъ быть, умныхъ, но безполезныхъ, предназначаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и дѣятельными членами общества. Возбужденіе къ практической дѣятельности—вотъ назначеніе исторіи. Она избавитъ васъ отъ пристрастія къ прошедшему, отъ надеждъ на будущее. Позвольте мнѣ пожелать, чтобы вы избрали на всю жизнь девизомъ слова Ульриха-фонъ-Гутена: „наука пробуждается, умъ свободенъ, весело жить!" весело не во имя тѣхъ удовольствій, которыя доставляетъ жизнь, а во имя науки и труда".

Прекраснымъ дополненіемъ лекцій Грановскаго служили чтенія Кудрявцева. Первый отличался искусствомъ дѣлать рельефныя характеристики историческихъ эпохъ, второй—искусствомъ вникать въ душевный міръ изображаемыхъ историческихъ лицъ, раскрывать нравственныя побужденія ихъ дѣйствій. Но при этомъ различіи оба сходились въ стремленіи придать исторіи воспитательное значеніе, старались воздѣйствовать на нравственное чувство.

Лекція профессора Крылова, читавшаго римское право, отличались сочетаніемъ глубины мысли съ пластичностью,

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., февраль. „Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и общественныхъ дѣятелей", Дмитріева, стр. 730.

образностью изложенія. Подобно Грановскому, онъ умѣлъ возбуждать напряженное вниманіе въ своихъ слушателяхъ. Тонкій психологическій анализъ, юморъ и искусныя сближенія и контрасты были выдающимися достоинствами его лекцій. При этомъ Крыловъ обладалъ широкимъ взглядомъ и умѣлъ своему спеціальному курсу придать общеобразовательное значеніе. „Большая наблюдательность и близкое, непосредственное знакомство съ природою человѣка, съ его увлеченіями и страстями, съ сильными и слабыми сторонами человѣческой души открывали богатый источникъ для характеристики историческихъ явленій. Въ историческомъ разсказѣ, посвященномъ изложенію послѣдовательнаго роста римскаго права, слушатель Крылова присутствовалъ при цѣломъ процессѣ постепеннаго развитія и творчества римскаго гражданина, во всѣхъ его историческихъ положеніяхъ, преобразованіяхъ и столкновеніяхъ“.

О профессорѣ римской словесности и древностей Крюковѣ, преемникомъ котораго былъ Леонтьевъ, также сохранились свидѣтельства какъ о выдающемся, блестящемъ лекторѣ. „Всѣ питомцы Московскаго университета, 1837 г. и далѣе, говоритъ о своемъ наставникѣ Леонтьевъ, помнятъ, какое впечатлѣніе произвели на нихъ блистательныя лекціи Крюкова о древней исторіи. Казалось, новая наука, доселѣ неизвѣстная, открывала передъ нимъ всю полноту и все богатство новой жизни. Блистательный и вмѣстѣ строго достойный характеръ его чтеній, его рѣдкое умѣніе заинтересовать слушателя величіемъ предмета, изящество изложенія, никогда не спускавшагося съ извѣстной высоты, наконецъ, искусство пользоваться богатствомъ языка, избѣгая многорѣчія и изысканныхъ фразъ,—все это соединялось, чтобы обаять слушателей и представить имъ преподавателя въ свѣтѣ, казавшимся недосягаемымъ. Д. Л. Крюковъ владѣлъ вполнѣ способностью возбудить въ ученикахъ удивленіе къ себѣ и чрезъ то желаніе слѣдовать за собою. Онъ держалъ себя съ слушателями крайне вѣжливо, но въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нихъ; являлся передъ ними не иначе, какъ окруживъ себя нѣкоторымъ блескомъ; давая совѣты, никогда не открывалъ предмета со всѣхъ сторонъ. Онъ читалъ только тогда, когда былъ совершенно приготовленъ; студентовъ при-

нималъ въ опредѣленные дни и часы. Такимъ образомъ и личность его и совѣты заманивали молодыхъ людей и, возбуждая уваженіе къ наставнику, вызывали во многихъ желаніе показаться ему съ выгодной стороны, а въ нѣкоторыхъ—стремленіе къ труду и самостоятельности. Онъ постоянно слѣдилъ за своими учениками, старался сдѣлать для нихъ всякое добро и былъ чуждъ всякихъ расчетовъ мелочнаго самолюбія, заграждающаго для другихъ проходъ на свое поприще... Довѣріе, которымъ онъ пользовался у графа С. Г. Строганова, онъ употреблялъ преимущественно на то, чтобы замѣщать учительскія мѣста въ гимназіяхъ знающими и способными людьми". (*)

Въ другой характеристикѣ Крюкова, принадлежащей также одному изъ его слушателей, мы читаемъ слѣдующее: „Юристовъ и словесниковъ, на первыхъ же курсахъ, неожиданно поражала блестящая личность Крюкова. Смерть безжалостно вырвала его въ самую лучшую пору его жизни. Незабвенный для своихъ слушателей, онъ едва извѣстенъ публикѣ: два, три его печатныя сочиненія не могутъ дать полнаго понятія о Крюковѣ, хотя и свидѣтельствуютъ о его высокихъ дарованіяхъ. Самая наружность Крюкова была необыкновенна и прекрасна: огромное, высокое чело, почти все обнаженное, свидѣтельствовало о необыкновенной силѣ его способностей, а молодое, почти юношеское лицо, эти тонкія, женственно нѣжныя уста и очаровательная улыбка съ перваго же раза симпатически дѣйствовали на слушателя. Вся фигура его носила на себѣ печать какого-то особеннаго изящества. Когда онъ всходилъ на каѳеду, глаза всѣхъ невольно останавливались на его прекрасной физіономіи". (**)

По словамъ Бестужева-Рюмина, особенными симпатіями студентовъ пользовался, вмѣстѣ съ Грановскимъ, Кавелинъ, читавшій исторію русскаго законодательства. Въ природѣ обоихъ названныхъ профессоровъ замѣчалось гармоническое равновѣсіе душевныхъ силъ, служившее основаніемъ ихъ оптимистическаго міровоззрѣнія и стремленія находить при-

(*) Жизнь и труды М. П. Погодина, Н. Барсукова, VIII, стр. 225.

(**) Русское Обозрѣніе 1893 года, февраль. „Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и общественныхъ дѣятелей," Д. Н. Дмитріева, стр. 728.

мирение для крайнихъ взглядовъ. Подобно Грановскому, Кавелинъ умѣлъ придавать изящную форму своимъ чтеніямъ. „Трудно представить себѣ, говоритъ Бестужевъ-Рюминъ,—то обаяніе, которое производилъ Кавелинъ своимъ изящнымъ изложеніемъ, своимъ необыкновенно скромнымъ, но чрезвычайно пріятнымъ видомъ. Подъ вліяніемъ его чтеній, у многихъ молодыхъ людей сложилось убѣжденіе, что исторія права есть самая важная часть исторіи, что смѣна институтовъ и понятій юридическихъ вполнѣ выражаетъ собою все историческое движеніе. Впрочемъ, мнѣніе это тогда высказывалось и за университетскими стѣнами. Подъ вліяніемъ подобнаго мнѣнія, зашелъ я разъ (въ 1847 г.) къ М. П. Погодину и началъ развивать ему эту мысль. Выслушавъ меня, М. П. отвѣтилъ мнѣ одной фразой, вѣрность и глубину которой я понялъ только гораздо позднѣе: „А св. Сергія куда вы дѣнете съ вашимъ юридическимъ характеромъ?“ Въ самомъ дѣлѣ, куда дѣть св. Сергія, т. е. всю нравственную сторону обыкновеннаго сознанія? Но тогда мы не поняли этого слова и увлекались одностороннимъ, но стройнымъ развитіемъ, которое представлялось намъ въ лекціяхъ Кавелина. До сихъ поръ еще свѣжо для меня то впечатлѣніе, которое я выносилъ изъ этихъ лекцій, полныхъ юношескаго пыла, свѣжихъ и яркихъ. Профессоръ былъ тогда почти такъ же молодъ, какъ и студенты, и оттого его воодушевленіе электрическою искрой сообщалось студентамъ. Общій смыслъ всей русской исторической жизни, еще до сихъ поръ запечатанный семью печатями, казался намъ уже постигнутымъ: мы вѣрили тому, что этотъ смыслъ, выраженный завѣтною смѣною трехъ началъ, родового, вотчиннаго и государственнаго, вполнѣ передавался намъ изящною рѣчью одного изъ самыхъ изящныхъ профессоровъ, котораго мнѣ случалось слышать“. (*)

Говоря о наиболѣе замѣчательныхъ профессорахъ, занимавшихъ каѳедры въ Московскомъ университетѣ въ 40-хъ годахъ, нельзя не помянуть добрымъ словомъ и историка Погодина, хотя во второй половинѣ названныхъ годовъ, къ которой преимущественно относится нашъ очеркъ, онъ уже

(*) Сѣверный Вѣстникъ 1897 г., апрѣль. „К. Н. Бестужевъ-Рюминъ“, проф. Е. Шмурло, стр. 155.

оставилъ преподаваніе въ университетѣ. Онъ не принадлежалъ къ числу, такъ называемыхъ, „блестящихъ“ профессоровъ, плѣняющихъ слушателей искуснымъ изложеніемъ, но онъ горячо любилъ свой предметъ, русскую исторію, сосредоточивая свои силы на разработкѣ отдѣльныхъ историческихъ вопросовъ, результатомъ которой были его „Замѣчанія, Изслѣдованія и Лекціи о Русской Исторіи“. Особенно много силъ онъ положилъ на разработку варяжскаго періода русской исторіи. Къ замѣчательнымъ его трудамъ принадлежитъ также „Похвальное слово Карамзину“, которое въ свое время вызвало въ ученомъ кругу много толковъ. Съ дѣятельностью профессора онъ совмѣщалъ дѣятельность журналиста, беллетриста и драматурга, и это, конечно, вредило успѣху его научныхъ занятій. Онъ стремился къ широкому распространенію своихъ взглядовъ, но результаты не всегда соотвѣтствовали его добрымъ намѣреніямъ. Указывая на это обстоятельство, Гоголь писалъ о Погодинѣ слѣдующее: „Онъ торопился всю свою жизнь, спѣша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головѣ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всѣмъ,—словомъ, высказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествѣ. И что-жъ? Замѣтили ли читатели тѣ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? Приняли ли отъ него то, чѣмъ онъ хотѣлъ съ ними подѣлиться? Нѣтъ; они замѣтили въ немъ одно только неряшество и ничего отъ него не приняли. Тридцать лѣтъ работалъ и хлопоталъ какъ муравей этотъ человѣкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорѣе въ руки всѣмъ все, что ни находилъ въ пользу просвѣщенія и образованія русскаго. И ни одинъ человѣкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрѣтилъ, который бы сказалъ, что онъ обязанъ ему какимъ-нибудь новымъ свѣтомъ или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намѣреній и за искренность словъ его передъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнѣ было трудно даже убѣдить кого-либо, потому что онъ сумѣлъ такъ замаскировать

себя передъ всѣми, что рѣшительно нѣтъ возможности показать его въ томъ видѣ, каковъ онъ дѣйствительно есть".

Когда до Гоголя дошелъ слухъ, что Погодинъ задумалъ писать русскую исторію, онъ обратился къ нему съ слѣдующими словами: „Отъ Хомякова я узналъ очень пріятную для меня новость: именно, что ты пишешъ серьезно Русскую исторію. Богъ да благословитъ тебя въ этомъ трудѣ; это твой настоящій трудъ. Здѣсь ты соберешься весь въ себя и будешь собой. Донынѣ ты былъ весь разбросанъ, а потому и не въ силахъ былъ быть собой. Оттого легко было и нападать на тебя, и поражать тебя. Тутъ же въ этомъ дѣлѣ соберутся твои силы въ плотную твердыню, и на тебѣ трудно будетъ напасть кому-бы то ни было. Трудъ твой доставитъ тебѣ много сладкихъ минутъ и забвенье всего того, что способно смущать насъ и повергать въ малодушіе... Думай безпрерывно о томъ главномъ дѣлѣ, для котораго далъ тебѣ Богъ способности и силы, молись Ему—и все будетъ хорошо." (*)

Нѣкоторые ученые, напримѣръ, Кавелинъ, упрекали Погодина въ пристрастіи къ частностямъ. Отражая это обвиненіе, Погодинъ писалъ: „Корпя надъ буквами, разбирая кавычки и запятыя, сличая свидѣтельства, подводя мѣста, роясь въ подземельѣ, въ пыли, въ хламу, убивая въ нѣкоторомъ смыслѣ свое время, а дѣлаю насиліе своей душѣ, приношу жертву Русской Исторіи или, лучше, необходимости. Не обработавъ источниковъ, нѣкоторыхъ хотя вчернѣ, нельзя разсуждать, нельзя строить системъ: вотъ въ чемъ я рано убѣдился, и почему взялся за трудъ тяжелый, скучный, утомительный. Двѣсти лѣтъ отъ Рюрика до удѣловъ разобралъ я и анализировалъ *по слову*, во всѣхъ источникахъ, и напечаталъ свои Изслѣдованія. Вторыя двѣсти лѣтъ, до Монголовъ, поступаютъ въ печать въ нынѣшнемъ году. Третьи двѣсти лѣтъ, до Ивана III, приготовляются къ печати въ слѣдующемъ. Но продолжать своего труда въ одинаковомъ объемѣ болѣе мнѣ нельзя, вслѣдствіе ужаснаго размноженія источниковъ съ XV столѣтія. Вотъ почему приглашалъ я, *и приглашаю*, молодыхъ друзей Исторіи къ обработанію источниковъ". (**)

(*) Жизнь и труды М. П. Погодина, Н. Барсукова, VIII, стр. 556—557.
(**) Тамъ же, IX, стр. 107.

Одинъ изъ героевъ кавказской войны.

Одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ среди героевъ кавказской войны занималъ генералъ-лейтенантъ донского войска Яковъ Петровичъ Баклановъ. По отзыву кавказскаго ветерана генерала Караваева, Баклановъ былъ человѣкъ, богато одаренный мыслью, чувствомъ и нравственною энергіею. Не получивъ серьезнаго образованія, онъ возмѣщалъ этотъ недостатокъ большою начитанностью. Онъ отличался большою добротою и рѣдкимъ безкорыстіемъ. Но особенно выдающеюся въ немъ чертою была беззавѣтная храбрость. Болѣе жизни дорожа честью и славою воина, онъ того же самаго требовалъ и отъ подчиненныхъ. Желѣзное здоровье дѣлало его чрезвычайно выносливымъ. Не спать нѣсколько ночей, почти не сходя съ коня, для него не было обременительно. Донскимъ казакамъ онъ далъ закалъ, который дѣлалъ ихъ въ бою непобѣдимыми. По замѣчанію одного кавказскаго героя, это были богатыри, какіе встрѣчались только въ лучшія, героическія времена нашего казачества. Характеристическою чертою въ Баклановѣ было умѣнье открывать непріятеля по самымъ ничтожнымъ признакамъ. „Опредѣлить его число, разгадать его намѣренія, проникнуть въ его военныя хитрости, и, въ концѣ концовъ, перехитрить его, говоритъ біографъ Бакланова Потто,—было для Якова Петровича дѣломъ до такой степени легкимъ и простымъ, что иногда можно было подумать, не самъ ли непріятель даетъ знать о своемъ присутствіи и намѣреніяхъ. Зоркость же его глаза и способность запоминать мѣста приводили, по истинѣ, въ изумленіе самыхъ опытныхъ проводниковъ и невольно передавались послѣднимъ, которые до того изучили окрестную мѣстность, что впослѣдствіи никакія темныя ночи, никакіе густые туманы не останавливали нашихъ развѣдочныхъ партій: онѣ проникали въ самую глубь кавказскихъ трущобъ и не только выслѣживали всѣ мышиныя норки, откуда выползалъ непріятель, но открывали даже такія, какія и самому непріятелю не были извѣстны“. (*) Это дѣлаетъ понятнымъ, почему имя Бакланова наводило суевѣрный страхъ на горцевъ и перешло въ ихъ сказанія и пѣсни.

(*) Яковъ Петровичъ Баклановъ. Біографическій очеркъ В. Потто. С.-П.-Б. 1885 г., стр. 44.

Наружность Бакланова была не менѣе замѣчательна. Прежде всего поражала колоссальность роста. Съ нею гармонировали большой носъ и густыя нависшія брови, изъ-подъ которыхъ сверкали глаза, метавшіе молніи. Длинные усы и бакенбарды, ниспадавшіе на грудь, также были весьма внушительны и поддерживали общее впечатлѣніе, производимое мощною фигурою. Высокая грудь, широкія плечи и покрытыя толстыми жилами руки свидѣтельствовали о необыкновенной физической силѣ. Таковъ былъ знаменитый „Боклю", гроза чеченцевъ, которые его именемъ пугали своихъ дѣтей.

Для характеристики боевой дѣятельности Бакланова достаточно указать на нѣсколько эпизодовъ изъ длиннаго ряда сраженій, въ которыхъ онъ принималъ непосредственное участіе.

Въ 1848 году, на совѣщаніи, бывшемъ у генерала Нестерова, было рѣшено сдѣлать набѣгъ на многолюдный и сильно укрѣпленный аулъ Ахметъ-Тала, расположенный въ лѣсистыхъ ущельяхъ Аксая. Отряду пришлось итти по едва проходиомй дорогѣ. Баклановъ, во главѣ 50 отборныхъ пластуновъ-охотниковъ, ѣхалъ впереди. „Они должны были вести отрядъ и въ случаѣ встрѣчи съ непріятельскимъ пикетомъ, схватить его безъ выстрѣла или истребить холоднымъ оружіемъ. За охотниками, держась въ нѣкоторомъ отъ нихъ разстояніи, двигались драгуны, потомъ казачій полкъ и, наконецъ, пѣхота съ своею артиллеріею. Дорога во многихъ мѣстахъ оказывалась непроходимою. То попались навстрѣчу глубокія кручи, на днѣ которыхъ съ ревомъ и шумомъ катились горные ручьи, холодные и быстрые, ворочавшіе въ своемъ теченіи камни и уносившіе цѣлыя деревья; то попадались отвѣсные подъемы, такіе, на которые взбираться можно было только съ помощью другъ друга, или лѣсныя чащи, гдѣ пни и корни деревъ, поваленныхъ бурею, перевились между собою колючимъ кустарникомъ и образовали такіе сплошные завалы, черезъ которые можно было прокладывать дорогу только съ помощью топора или кинжаловъ. Во всѣхъ подобныхъ мѣстахъ драгуны и казаки спѣшивались, и каждый самъ по себѣ изыскивалъ средства для своей переправы. Лошадей подъ орудіями выпрягли на первой же верстѣ и

пушки тянули на лямкахъ". (*) Употребляя всевозможныя предосторожности, отрядъ подошелъ къ аулу незамѣченнымъ. Въ глубокомъ молчаніи батальоны стали обходить его справа и слѣва. Драгуны и казаки ожидали своей очереди для наступленія. Когда черезъ полчаса данъ былъ условный сигналъ, вся кавалерія съ неистовымъ крикомъ и ружейною пальбою устремились къ аулу. „Въ одну минуту толстыя, тяжелыя ворота, сорванныя съ петель, грохнулись наземь, и казаки разсыпались по саклямъ. Горцы, захваченные врасплохъ, думали спасаться бѣгствомъ; но убѣдившись, что всѣ пути къ отступленію отняты, вернулись назадъ, засѣли въ дома и оборонялись съ отчаяннымъ мужествомъ. Тѣ сакли, которыя не были заняты сразу, приходилось брать уже приступомъ. Чтобы выиграть время и уменьшить потерю, рѣшились прибѣгнуть къ помощи огня и, дѣйствительно, пожаръ, быстро охвативъ деревянныя зданія, скоро заставилъ чеченцевъ покинуть ихъ неприступныя жилища. Тогда борьба охватила собою всѣ пункты аула. Трескъ разрушающихся зданій, вопль неуспѣвшихъ выскочить изъ пламени, отчаянные крики женщинъ и дѣтей, сновавшихъ въ безумномъ ужасѣ среди этихъ мрачныхъ, обрызганныхъ грязью и кровью тѣней,—все это составляло такую картину, о которой Яковъ Петровичъ никогда не могъ вспоминать безъ содроганія. Обѣ стороны работали холоднымъ оружіемъ, такъ какъ выстрѣлы въ этой толпѣ поражали бы безъ разбора и своихъ и чужихъ. Отчаяніе придавало горцамъ неестественную силу. Слабѣйшіе числомъ, они не разъ отбрасывали нашихъ солдатъ и ставили ихъ въ весьма опасныя положенія. Но къ намъ подходили подкрѣпленія и, подъ напоромъ свѣжихъ штыковъ, ложились въ лоскъ отважные ахметъ-талинцы". Баклановъ воодушевлялъ солдатъ, но старался прекращать кровопролитіе тамъ, гдѣ оно было безполезно. Такимъ образомъ не мало женщинъ и дѣтей было спасено имъ отъ смерти. Послѣ уничтоженія аула, плѣнники и плѣнницы, окруженные баталіономъ тенгинскаго полка, были отправлены на лѣвый берегъ Аксая. За распорядительность и храбрость, обнаруженныя Баклановымъ въ названномъ дѣлѣ, онъ былъ награжденъ чиномъ подполковника.

(*) Яковъ Петровичъ Баклановъ, стр. 63—64.

Однажды горцы напали на батальонъ тенгинскаго полка, отряженный для рубки дровъ и заготовленія хвороста. Баклановъ поспѣшилъ на выручку—и горцы разсѣялись. Началась погоня, въ пылу которой Баклановъ былъ раненъ въ плечо. Онъ пошатнулся на сѣдлѣ, но сейчасъ же оправился, громко крикнулъ: „впередъ!“ и продолжалъ преслѣдованіе, не замѣчая того, что кровь била ключомъ изъ раны. Когда преслѣдованіе кончилось, Баклановъ, сойдя съ коня, опустился на разостланную бурку. Оказалось, что пуля, раздробивъ ключицу, засѣла въ грудь. Рана была перевязана носовымъ платкомъ и Баклановъ, сѣвъ на коня, возвратился въ Куринское укрѣпленіе, откуда отрядъ выступилъ противъ горцевъ. Пуля была удачно извлечена изъ раны, и на четвертый день Баклановъ отправился въ разъѣздъ съ казаками.

Изъ множества удачныхъ дѣлъ, совершенныхъ Баклановымъ, по своей оригинальной обстановкѣ, замѣчательно, между прочимъ, слѣдующее. „Однажды, разсказываетъ онъ,— въ самый праздникъ Успенія Богородицы, пообѣдавъ около полудня, я по обыкновенію легъ отдохнуть въ маленькой, темной коморкѣ, изъ которой двери выходили прямо на крытое крылечко, гдѣ помѣщались ординарцы и висѣло мое оружіе; тутъ-же, возлѣ этого крыльца всегда стояла на случай тревоги осѣдланная лошадь. День былъ нестерпимо знойный и душный. Раскинувшись на горскомъ коврѣ, я совершенно раздѣлся, снялъ даже рубашку и, оставшись въ однихъ сафьянныхъ чевякахъ, заснулъ какъ убитый. Не знаю, долго ли я спалъ, но меня разбудилъ громъ орудійнаго выстрѣла, отъ котораго, дрогнувъ, зазвенѣли стекла въ моей квартирѣ, и въ ту же минуту ординарецъ, распахнувшій двери, крикнулъ: „чеченцы въ форштатѣ!“ Выстрѣлы участились, шумъ, крикъ, скачка и суматоха на улицахъ показывали, что дѣло вышло нешуточное. Съ просонья я прямо бросился къ двери, вырвалъ изъ рукъ ординарца шашку, вскочилъ на коня и, только очутившись на площади, увидѣлъ свой легкій костюмъ или, вѣрнѣе сказать, не увидѣлъ на себѣ никакого костюма, кромѣ чевяковъ и шапки“. Накинувъ на плечи бурку, Баклановъ явился передъ казаками. Крикнувъ: „впередъ!“ онъ бросился въ рукопашную схватку. Оригинальный костюмъ, совсѣмъ неприкрывавшій

ногъ Бакланова, не мѣшалъ ему, вооруженному пикой, которую онъ выхватилъ у одного изъ казаковъ,—валить вокругъ себя толпы чеченцевъ. Горцы не устояли и обратились въ бѣгство, обозначая свой путь высоко поднявшуюся густою пылью. Послѣ этого пораженія, среди чеченцевъ ходили разсказы о Баклановѣ, какъ о какомъ-то сверхъестественномъ существѣ. Чеченцы говорили, что отъ „дуновенія" страшнаго голаго всадника многіе изъ нихъ свалились съ лошадей, какъ бы опаленные молніею.

Изумляя всѣхъ своею отвагою, Баклановъ также удивлялъ своею поразительно мѣткою стрѣльбою. „Однажды, по возвращеніи въ Куринское, разсказываетъ Потто,—у полковника Бакланова собралось большое общество офицеровъ: пили чай, играли въ карты и толковали о разныхъ разностяхъ. Былъ одиннадцатый часъ ночи, когда вошедшій ординарецъ доложилъ, что явился лазутчикъ.

— Который? спросилъ Баклановъ.

Казакъ назвалъ Али-Бея, и Яковъ Петровичъ немедленно приказалъ ввести его въ комнату. Офицеры, заинтересованные появленіемъ лазутчика, начали просить Якова Петровича говорить съ нимъ по-русски. Уступая ихъ просьбамъ, Баклановъ приказалъ позвать переводчика, и тотъ во всеуслышаніе передалъ разсказъ Али-Бея слѣдующимъ образомъ:

Когда Шамиль получилъ извѣстіе, что просѣка на Мичикѣ почти окончена и что чеченцы не могутъ остановить Бакланова, онъ вызвалъ изъ горъ стрѣлка, который на Алкоранѣ поклялся во что бы то ни стало убить Бакланова.

Горецъ этотъ прибылъ уже въ нашъ лагерь, сказалъ между прочимъ Али, и надо сознаться, произвелъ на всѣхъ впечатлѣніе пустого человѣка. Пріѣхавъ поутру, онъ къ вечеру успѣлъ нахвастать съ три короба, такъ что наши сочли за лучшее остановить молодца.

— Ты говоришь, сказали ему старики, что въ разстояніи пятидесяти шаговъ разбиваешь изъ винтовки яйцо, подброшенное кверху; быть можетъ, это и правда, но мы твоего искусства не видѣли, а того человѣка, въ котораго ты будешь стрѣлять, мы видѣли и знаемъ. Онъ въ разстояніи полутораста шаговъ при насъ разбивалъ изъ ружья

сидящую муху... Смотри же, Джанемъ, если ты промахнешься, то Боклю положитъ тебя на мѣстѣ.

— Ну что же горецъ? спросили офицеры.

— Ничего, отвѣтилъ Али засмѣявшись: немножко поблѣднѣлъ, однако скоро оправился. Я, говоритъ, во всю свою жизнь далъ одинъ только промахъ, да и тотъ, когда былъ семилѣтнимъ ребенкомъ.

— Ты знаешь, продолжалъ Али, обращаясь къ Бакланову, что за Мичикомъ, какъ разъ напротивъ того кургана, гдѣ ты обыкновенно становишься, есть батарейка, брошенная нами. Завтра поутру въ нее засядетъ тавлинецъ и будетъ ожидать твоего появленія. Я пришелъ сказать тебѣ, чтобы ты былъ остороженъ и завтра не выѣзжалъ на курганъ.

Щедро наградивъ Али-Бея, Баклановъ отпустилъ его домой и попросилъ офицеровъ, чтобы все слышанное ими оставалось въ секретѣ.

На слѣдующій день, какъ только разсвѣло, войска по обыкновенію вышли изъ Куринскаго. „Зная, что меня ожидаетъ, разсказывалъ самъ Яковъ Петровичъ,—я остановилъ колонну нѣсколько далѣе обыкновеннаго и въ сопровожденіи одного ординарца поѣхалъ къ кургану. Скоро посреди орѣшника показались черныя прогалины, мѣсто нашей недавней рубки. Я подъѣхалъ къ Мичику и увидѣлъ батарейку, изъ-за которой долженъ былъ послѣдовать выстрѣлъ. Признаюсь, съ минуту я колебался—ѣхать ли дальше? но вспомнилъ, что на меня смотрятъ тысячи глазъ, и, взявъ у ординарца штуцеръ, поднялся на пригорокъ. Въ эту минуту страшная тишина воцарилась у насъ и въ непріятельскихъ завалахъ. Я не скажу, чтобы былъ совершенно спокоенъ: кровь то бросалась мнѣ въ голову, то приливала къ сердцу. Однако, опустивъ поводья, я стоялъ неподвижно и пристально смотрѣлъ на батарею, до которой черезъ Мичикъ было не болѣе полутораста или двухъ-сотъ шаговъ. Вотъ наконецъ за гребнемъ ея мелькнула черная шапка и черезъ минуту, не болѣе, я увидѣлъ блестящій стволъ, направленный на меня. Провидѣніе спасло мнѣ жизнь: пуля пролетѣла мимо, едва зацѣпивъ только край моего полушубка. Когда тавлинецъ поднялся до пояса, чтобъ посмотрѣть на выстрѣлъ, онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что я сижу на конѣ, и, пригнувшись за

брустверъ, принялся вторично заряжать винтовку. По той торопливости, съ котораго онъ это дѣлалъ, я вывелъ заключеніе, что нравственная сила этого человѣка подорвана и пришелъ къ убѣжденію, что новый выстрѣлъ не можетъ быть вѣренъ. Тогда, повѣривъ самого себя и убѣдившись, что нервы мои совершенно успокоились, я вынулъ ногу изъ стремени, положилъ ее на гриву лошади, оперся на нее рукою и приготовилъ штуцеръ. Какъ только раздался выстрѣлъ, я быстро вскинулъ ружье... Курокъ брякнулъ, и мой татаринъ, взмахнувъ руками, опрокинулся навзничь: пуля попала ему между бровей и прошла черезъ голову".

Когда Баклановъ, повернувъ лошадь, началъ спускаться съ кургана, обѣ стороны, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдившія за тѣмъ, чѣмъ кончится поединокъ, привѣтствовали его восторженными криками. Въ войскахъ загремѣло „ура!" Чеченцы, махая папахами, вскочили на завалы и оглашали воздухъ неистовымъ: „якши, Боклю!"

Среди подчиненныхъ Баклановъ пользовался безграничнымъ довѣріемъ и любовью, начальство же вполнѣ цѣнило его заслуги. Среди солдатъ слагались пѣсни, прославлявшія храбрость Бакланова. Казаки о своемъ храбромъ командирѣ пѣли:

Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго,
Изъ провалья ли было глубокаго,
Что не стая птицъ въ перелетъ летитъ,
То казацкій полкъ во походъ спѣшитъ.
Впереди полка снѣжокъ перепархиваетъ,
Младъ ясенъ соколъ на крутыхъ горахъ перелетываетъ.
Самъ полковникъ нашъ впереди полка
На раздушечкѣ, на добромъ на конѣ, игреневомъ;
Подъ нимъ добрый конъ игралъ ровно лютый змѣй,
Но полковникъ нашъ и змѣи лютѣй;
Онъ сидитъ на сѣдлѣ какъ не трухнется,
Его шапочка-кабардиночка не шелохнется.

Сообщая о погромѣ аула Гурдали военному министру, князь Воронцовъ писалъ, между прочимъ, слѣдующее:

„Успѣхъ, сопровождавшій всѣ дѣйствія нашихъ войскъ, былъ совершенный и достигнутъ въ колоннахъ князя Барятинскаго и сына (князя Воронцова) съ ничтожною потерею

въ сравненіи съ пріобрѣтенными результатами; но я боюсь, чтобы Государь не нашелъ, что дѣйствія полковника Бакланова стоили намъ черезъ-чуръ дорого и не поставилъ бы сего въ вину этому отличному штабъ-офицеру. Въ этомъ случаѣ, по важности военныхъ операцій на Мичикѣ, я долженъ брать отвѣтственность на одного себя, ибо если потеря Бакланова въ отличномъ военномъ дѣлѣ и была значительна, то надобно сознаться, что онъ болѣе всѣхъ принесъ намъ и пользы. Деревня Гурдали, лежащая въ долинѣ Мичика, имѣла въ Чечнѣ громадное значеніе какъ по воинственности своего населенія, такъ и по своей крѣпкой, почти неприступной позиціи на мѣстности, одной изъ труднѣйшихъ въ цѣломъ Кавказѣ". Опасенія князя Воронцова были напрасны, и Баклановъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ оставленіемъ командиромъ донского казачьяго № 17 полка.

Умеръ Баклановъ въ 1873 году и былъ похороненъ въ Петербургѣ, на счетъ донского казачьяго войска. Могила его находится на кладбищѣ Воскресенскаго дѣвичьяго монастыря. Ее легко отличить по памятнику, изображающему дикую кавказскую скалу, на вершинѣ которой лежитъ косматая бурка. Изъ-подъ бурки виднѣются шашка и значекъ, сопровождавшіе Бакланова въ сраженіяхъ. На значкѣ надпись: „Чаю воскресенія мертвыхъ!" Памятникъ увѣнчивается казацкой папахой. На главной его сторонѣ находятся бронзовый медальонъ съ георгіевскимъ крестомъ въ лавровомъ вѣнкѣ и надпись: „Войска Донскаго Генералъ-Лейтенантъ Яковъ Петровичъ Баклановъ". На памятникѣ обозначены мѣста, отмѣченныя подвигами Бакланова: Кулевчи, Мессавріи, Зондакъ, Шалинская поляна, Шаухалъ-Берды, Качкалыкъ, Мичикъ, Махмутъ-Юртъ, Гурдали, Карсъ и многія другія. Скала изъ краснаго гранита, а ея украшенія изъ темнозеленой бронзы.

Сослуживцы Бакланова находили, что былобы цѣлесообразнѣе поставить ему памятникъ не въ Петербургѣ на отдаленномъ кладбищѣ, а въ Новочеркаскѣ, рядомъ с[illegible] мятникомъ Платова, такъ какъ это служило бы наз[illegible] нымъ примѣромъ для будущаго поколѣнія Дона, на [illegible] котораго съ чувствомъ глубокаго уваженія вспоминал[illegible] знаменитаго кавказскаго героя.

Историческая кофейня.

Въ 40-хъ годахъ въ Москвѣ существовала кофейня Печкина, часто посѣщавшаяся многими писателями и артистами. Она находилась на Воскресенской площади и помѣщалась въ бель-этажѣ. Къ числу самыхъ усердныхъ ея посѣтителей принадлежали артисты Щеппинъ, Садовскій и Ленскій и профессоръ Перевощиковъ. Бывали въ ней также Грановскій, Галаховъ, Полонскій, Фетъ и нѣкоторые другіе ученые и писатели. Профессора Перевощикова, извѣстнаго математика, часто можно было видѣть играющимъ въ шахматы съ однимъ персіаниномъ или армяниномъ, носившимъ названіе Кирюши. Будучи постояннымъ партнеромъ Перевощикова, этотъ Кирюша, вѣроятно, былъ сильнымъ шахматнымъ игрокомъ. Онъ былъ уже человѣкъ пожилой, ходилъ въ суконномъ черномъ архалукѣ съ разрѣзными рукавами. Въ разговорѣ о предметахъ, болѣе или менѣе серьезныхъ, онъ имѣлъ привычку употреблять, съ значительной миной, выраженіе: „тутъ нужно матэматыкъ". Артисты Щепкинъ и Ленскій принадлежали къ числу самыхъ веселыхъ и говорливыхъ посѣтителей кофейни. Первый изъ нихъ былъ большимъ любителемъ хорошей рыбы, и однажды, когда поэтъ Фетъ, возившійся съ рыбными косточками, которыя постоянно попадались въ поданномъ блюдѣ, сказалъ, что въ рыбѣ нѣтъ ничего хорошаго, съ жаромъ воскликнулъ: „Какъ! въ рыбѣ!" Слово „рыба" онъ произносилъ такимъ, по выраженію Фета, жирнымъ голосомъ, какъ будто глоталъ янтарные куски осетрины или стерляди. „Только со временемъ узналъ я, говоритъ Фетъ, какъ два наклонные къ тучности пріятеля, Перевощиковъ и Щепкинъ, ходили къ рыбьему садку облюбовывать цѣннаго осетра, но такъ какъ цѣна за него казалась имъ все-таки не по средствамъ, то они давали мальчику при садкѣ полтинникъ, обѣщая еще другой, если онъ прибѣжитъ съ извѣстіемъ, что осетры сію минуту заснулъ. Но сердце не камень, и Щепкинъ по временамъ отправлялся навѣстить своего избранника, и когда послѣдній весело пошевелится, Мих. Сем., потрясая кулакомъ, воскликнетъ: „у-у подлецъ!" и уѣдетъ домой". (*)

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., апрѣль. „Ранніе годы моей жизни", Фета, стр. 537.

Къ числу усердныхъ посѣтителей кофейни Печкина принадлежалъ и Галаховъ. Явившись однажды въ кофейню въ мундирномъ фракѣ, онъ объяснилъ это обстоятельство слѣдующимъ образомъ. Графъ Строгановъ вызвалъ его, чтобы сдѣлать ему замѣчаніе за помѣщеніе въ христоматіи стихотворенія Фета, который въ то время былъ еще студентомъ. „Ваше сіятельство, отвѣтилъ Галаховъ,—я выбиралъ стихотворенія, заслуживающія по моему мнѣнію быть помѣщенными въ христоматіи и, виноватъ, не обращалъ вниманія на положеніе автора“.

Всѣмъ писателямъ и артистамъ, посѣщавшимъ кофейню, былъ хорошо извѣстенъ одинъ старикъ, носившій названіе Калмыка и постоянно занимавшій мѣсто за однимъ изъ столиковъ кофейни. Разсказывали, что онъ, дѣйствительно, былъ калмыкъ и принадлежалъ сперва какой-то старухѣ-барынѣ. Когда она умерла, Калмыкъ нашелъ пріютъ въ кофейнѣ. Онъ большею частію лежалъ на краю стола лбомъ, подпертымъ кулакъ на кулакъ. „Посѣтители знали, говоритъ Фетъ,—что онъ очень старъ и не забывали его своимъ вниманіемъ. Самъ же Калмыкъ, страдая, вѣроятно, отъ болѣзненныхъ припадковъ, давалъ о себѣ знать, приподымая голову съ кулаковъ и испуская громкое: „охъ-охъ-охъ!“ Сколько разъ, сидя въ одной изъ сосѣднихъ комнатъ, я слыхалъ, какъ тотъ или другой посѣтитель, позвонивъ слугу, говорилъ: „Дай Калмыку солянки!“ или: „Дай Калмыку стаканъ чаю!“ Вкусивъ присланное, Калмыкъ, простонавъ: „охъ-охъ-охъ!“ безмолвно снова опускался на кулаки“.

Знаменитая кофейня Печкина, служившая мѣстомъ развлеченія многихъ замѣчательныхъ лицъ, была изображена въ одномъ современномъ стихотвореніи, представлявшемъ пародію на „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго. Вотъ нѣсколько строчекъ изъ этого стихотворенія:

„И прошло много лѣтъ,
И кофейни ужъ нѣтъ...
Но въ двѣнадцать часовъ
Гремятъ на бильярдѣ шары
И на лѣстницу лѣзетъ Калмыкъ.
Ленскій пьянъ и румянъ,
Ленскій держитъ стаканъ,
Ухмыляется Ленскаго ликъ“.

Помѣщики-оригиналы.

Помѣщичья среда, до освобожденія крестьянъ, была весьма богата самыми разнообразными типами. Изъ нея выходили многочисленные представители какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго характера. Къ ней принадлежали многіе первоклассные наши писатели, но съ ея же представителей нарисовалъ свои безсмертные типы Гоголь. Въ своемъ автобіографическомъ произведеніи „Ранніе годы моей жизни“ поэтъ Фетъ изображаетъ одного помѣщика-оригинала, котораго онъ относитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ типовъ. Это былъ его дядя Иванъ Неофитовичъ Шеншинъ. По отношенію къ провинившимся крѣпостнымъ людямъ онъ не прибѣгалъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ и грубой брани, ограничиваясь своеобразными замѣчаніями.

— Ты что это выдумалъ? говорилъ онъ виноватому:— ты знаешь ли, я тебя сквозь стѣнку прогоню—и ты выйдешь свинья. Или: да я тебя ногами съ галкой свяжу и черезъ заборъ перекину—и ты будешь висѣть.

Иванъ Неофитовичъ былъ скуповатъ. Когда къ нему пріѣзжалъ женатый братъ, то онъ и для него не измѣнялъ своей обычной скупости. При видѣ тщательно приготовленныхъ, по названному случаю, котлетъ, онъ, накидываясь на повара, говорилъ:

— Что это ты какія котлеты подаешь? ты меня разорить хочешь?

Скупость была причиною и того, что Иванъ Неофитовичъ угощалъ гостей остатками различныхъ винъ, слитыми въ одну бутылку, вслѣдствіе чего получалась смѣсь, которую могъ пить только одинъ хозяинъ. Вотъ почему его братъ, зная эту хитрость, всегда пріѣзжалъ съ своей бутылкой.

Рыбную пищу, Иванъ Неофитовичъ предпочиталъ мясной. „Однажды, говоритъ Фетъ, я засталъ его въ кабинетѣ надъ ухой, изъ которой онъ пальцами доставалъ карасей и, избавляясь отъ рыбныхъ костей, обтиралъ пальцы объ остатки волосъ, которые оказывались покрытыми иглами“. Любимымъ его блюдомъ была, такъ называемая, тюря. Кроша хлѣбъ въ квасъ, онъ съ наслажденіемъ приговаривалъ: „это—прекрасное народное кушанье!“

„Въ жилеткѣ Ивана Неофитовича всегда были мѣдныя копѣечки, и когда въ гостяхъ на зовъ: „малый, квасу!“ человѣкъ подавалъ ему на подносѣ стаканъ, онъ, выпивши его, клалъ на подносъ копѣечку со словами: „это тебѣ на орѣхи“. Разъѣзжая въ троечныхъ дрожкахъ, онъ не дозволялъ кучеру озираться, ибо, зная, что тотчасъ же заснетъ, говорилъ: „какъ увидитъ онъ, что я сплю, онъ будетъ меня шагомъ везти“.

„Проводя лѣто въ своемъ родовомъ имѣніи „Доброй Водѣ“, онъ нерѣдко посылалъ за 25 верстъ въ Орелъ за письмами, журналами и покупками, но постоянно верхомъ; при этомъ не забывалъ посылать двумъ крестницамъ-старушкамъ Аннѣ Ивановнѣ и Марьѣ Ивановнѣ гостинцевъ, въ родѣ свекольника для щей, хотя бы и въ такую пору, когда застарѣвшій онъ не соблазняетъ даже и коровъ. „Тамъ у нихъ и лошади дашь овса, а чтобы самому поѣсть, возьми съ собою крупы, хлѣба; да вѣдь въ городѣ дрова дороги, такъ возьми и полѣно дровъ“.

„Сосѣди, увидавъ верхового съ полѣномъ подъ мышкой, говаривали: „опять Шеншинскій съ дрекольемъ поѣхалъ!“ (*)

Другого оригинальнаго помѣщика изображаетъ въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Григоровичъ. Это былъ графъ N, добрый и простой человѣкъ, но мало понимавшій въ хозяйствѣ. Когда онъ съ своей семьей пріѣзжалъ на лѣто въ деревню, то каждый ея членъ прежде всего отгораживалъ въ своей комнатѣ извѣстное пространство, которое затягивалось кисеей, для защиты отъ пауковъ, комаровъ, пчелъ, мухъ и другихъ насѣкомыхъ. Затѣмъ приступали къ *хозяйству:* обивали бесѣдки парусиной, дѣлали изящные букеты, устраивали изъ вьющихся растеній красивыя арки и т. д. Глава семьи преслѣдовалъ болѣе серьезныя цѣли: онъ старался узнать, хороши ли будутъ дыни, наливаются ли персики, каковъ будетъ урожай спаржи.

„Разъ пріѣзжаю я къ N. въ воскресный день, говоритъ Григоровичъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“. Весь народъ въ праздничныхъ одеждахъ и наполняетъ садъ; по аллеямъ разставлены новыя складныя лѣстницы; по ихъ ступенькамъ

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., апрѣль. „Ранніе годы моей жизни“, Фета, стр. 545—546.

подымаются и спускаются бабы и дѣвчонки; на сосѣднихъ лужайкахъ разостланы простыни съ ворохами липоваго цвѣта; по аллеямъ, съ озабоченнымъ видомъ, прогуливаются дамы въ широкихъ соломенныхъ шляпахъ и ихъ дѣти; наконецъ, тяжело расхаживаетъ самъ графъ.

— Что это? спрашиваю я, обводя глазами все пространство аллеи.

— Хорошъ сельскій житель, воскликнулъ графъ, указывая на меня дамамъ,—хорошъ: спрашиваетъ, что это? Развѣ вы не знаете, продолжалъ онъ, обращаясь уже ко мнѣ,—что липовый цвѣтъ—важная хозяйственная статья дохода? Липовый цвѣтъ, когда просохнетъ, лучшее потогонное средство, и въ немъ нуждаются всѣ аптеки... Хорошъ, хорошъ сельскій житель, нечего сказать!..

Я узналъ потомъ отъ управляющаго, что изъ собраннаго липоваго цвѣта съ трудомъ проданъ былъ фунтъ за полтинникъ въ зарайскую аптеку; остальное свалено въ сарай, гдѣ и сгнило". (*)

Въ „Воспоминаніяхъ" Григоровича характеризуется въ качествѣ помѣщика-оригинала писатель Дружининъ, бывшій владѣльцемъ деревни Марьинской, въ Гдовскомъ уѣздѣ. Говоря о своей деревнѣ, Дружининъ „описывалъ ее такъ краснорѣчиво, что можно было подумать, что она находится не въ сѣверной полосѣ Россіи, а на южномъ берегу Крыма или по сосѣдству съ Ниццей". „Жаль, говорилъ онъ Григоровичу,—что мы не поспѣли къ іюню: въ это время нашъ садъ и все пространство вокругъ дома покрыто розами!" Но дорога, по которой пришлось имъ ѣхать, не могла назваться преддверіемъ земного рая или чего-нибудь близкаго къ нему. По сторонамъ видны были унылые перелески, въ воздухѣ пахло сыростью, поля казались покрытыми золою, изъ сѣрой, неприглядной почвы торчали камни; „видно было, что всю эту мѣстность когда-то покрывала вода и по ней плавали льдины, приносившія съ сѣвера обломки скалъ и гранита".

„Домъ въ Марьинскомъ, говоритъ Григоровичъ, описывая свою поѣздку къ Дружинину,—былъ старинный, деревянный; насъ помѣстили подлѣ, въ небольшомъ флигелѣ.

(*) Полное собраніе сочиненій Григоровича, изд. Маркса, т. XII, стр. 309.

За домомъ спускался къ пруду большой яблонный садъ. Мы пріѣхали вечеромъ и тотчасъ же отправились къ хозяйкѣ дома, матери Дружинина, представлявшей исчезающій теперь типъ привѣтливыхъ, милыхъ старушекъ, сохранившихъ въ преклонные годы необыкновенную живость и веселость. Къ ея пріѣзду на окно, подлѣ ея стула, ставилась всегда стеклянная банка съ водою и плавающимъ въ ней вьюномъ; старушка утверждала, что всѣ барометры врутъ безпощадно, пустая выдумка и только на вьюна можно вполнѣ положиться, такъ какъ одинъ онъ безошибочно указываетъ перемѣну погоды. Добрая старушка, предполагая, что дорога насъ утомила (вьюнъ не сообщалъ этого, но это было вѣрно), потребовала, чтобы мы раньше легли спать. Мнѣ было постлано на диванѣ. Не успѣлъ я заснуть, какъ меня облѣпила цѣлая туча комаровъ. Утромъ, взглянувъ на себя въ зеркало, я ужаснулся: лицо мое и руки въ волдыряхъ, точно ихъ обварили. Вошелъ Дружининъ, осторожно, на цыпочкахъ, убѣжденный, что я сплю какъ богатырь; увидавъ меня, онъ разсердился.

— Можно ли такъ дѣлать? воскликнулъ онъ, указывая на ситцевую оконную занавѣску, которую я забылъ наканунѣ задернуть.—Теперь, какъ нарочно, тотъ періодъ, когда появляются комары; въ другое время ни комаровъ, ни мухъ, никакой этой гадости никогда не бываетъ въ нашихъ мѣстахъ.

Мы пошли пить чай къ старушкѣ.

— Постой, постой мой батюшка... дай посмотрѣть на тебя! остановила она меня, какъ только я переступилъ порогъ.—Ну, такъ, такъ и есть, что́ я говорила: всего одну ночь переночевалъ у насъ, и цвѣтъ лица сталъ ужъ лучше, гораздо свѣжѣе, чѣмъ былъ прежде...

Передъ завтракомъ мы пошли купаться; съ перваго шага въ воду нога моя стала вязнуть, и я скорѣе вышелъ на берегъ.

— Что съ вами? безпокойно спросилъ Дружининъ.

— Въ пруду вязко.

— Въ какомъ пруду? Гдѣ вы видите прудъ? Это озеро... И вовсе не вязко, на днѣ чистый песокъ.

Въ теченіе дня я по ошибкѣ произнесъ нѣсколько разъ слово „прудъ“, и всякій разъ Дружининъ спѣшилъ меня

исправить, вскрикивая съ оттѣнкомъ неудовольствія: „озеро, озеро, озеро!..“

Владѣльцы Марьинскаго были не только влюблены въ свою деревню, но пристрастны ко всему Гдовскому уѣзду. Пристрастіе выразилось, между прочимъ, въ томъ, что Дружининъ написалъ для журнала садоводства, издаваемаго въ Москвѣ Никулинымъ, двѣ большія статьи, озаглавленныя: „Флора и Помона Гдовскаго уѣзда“.

Я зналъ помѣщика, добраго и кроткаго человѣка, но до того щекотливаго ко всему, что касалось его помѣстья, что надо было безусловно всѣмъ восхищаться, рискуя въ противномъ случаѣ нажить себѣ врага; онъ на-смерть поссорился съ сосѣдомъ изъ-за того, что тотъ сказалъ ему, что встрѣтилъ у околицы его мужика въ нетрезвомъ видѣ.

Помѣщикъ этотъ невольно пришелъ мнѣ на память въ Марьинскомъ. Стóило ни въ чемъ не противорѣчить, находить все безукоризненнымъ, чтобы поддерживать благодушное состояніе духа хозяевъ дома“. (*)

Первыя повѣсти изъ народнаго быта Григоровича.

Начало литературной дѣятельности Григоровича не предвѣщало тѣхъ успѣховъ, той славы, которые выпали на его долю впослѣдствіи. Даже первая его повѣсть изъ народнаго быта „Деревня“ была встрѣчена Бѣлинскимъ безъ особенныхъ похвалъ. Онъ замѣтилъ въ авторѣ дарованіе для физіологическихъ очерковъ, но отказалъ ему въ способности къ повѣстямъ. Враги реальнаго направленія осыпали повѣсть насмѣшками. Въ „Ералашѣ“ Григоровичъ былъ изображенъ франтомъ, роющимся въ навозной кучѣ и окачиваемымъ изъ окна помоями. Внизу была подпись: „Неудачное отыскиваніе Акулинъ въ деревнѣ“. Но Григоровичъ не унывалъ, и въ скоромъ времени явилась вторая его повѣсть изъ народнаго быта „Антонъ Горемыка“. Эта повѣсть имѣла огромный успѣхъ, благодаря тому, что касалась, въ живой формѣ, печальныхъ сторонъ крѣпостного права. Кромѣ того, въ ней

(*) Полное собраніе сочиненій Григоровича, изданіе Маркса, XII т., стр. 322—323.

авторъ обнаружилъ бо́льшее знакомство съ народнымъ бытомъ и языкомъ. Встрѣченная въ рукописи съ большими похвалами Некрасовымъ и Панаевымъ, она была помѣщена въ „Современникѣ“, преодолѣвъ при этомъ значительное препятствіе, явившееся со стороны цензуры. Затрудненія были устранены только благодаря содѣйствію Никитенко, пользовавшагося значительнымъ авторитетомъ въ цензурномъ комитетѣ.

Повѣсти „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ относятся къ тому времени, когда Григоровичъ, оставивъ искусственную обстановку петербургской жизни, поселился въ деревнѣ и всецѣло отдался ея впечатлѣніямъ. Задумавъ написать повѣсть изъ народнаго быта, онъ по цѣлымъ днямъ бродилъ по полямъ и лѣсамъ, любуясь красотами природы. Усилія найти тему для повѣсти долго оставались безплодными. Наконецъ одно случайное обстоятельство помогло автору въ его поискахъ. „Къ матушкѣ, говоритъ Григоровичъ,—привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка разсказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ за грубаго молодого парня, котораго также приневолили взять ее въ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему не мало способствовали его сестры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ почти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлѣтней дѣвочки; „онъ и ее заколотитъ на смерть“, говорила она. Разсказъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. Я тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствовательную форму“. (*)

Тема была найдена, но пришлось бороться съ затрудненіями другого рода: знакомство автора съ простонароднымъ языкомъ оказалось недостаточнымъ и ему пришлось изучать его практически: отправляться на мельницу, бесѣдовать съ помольцами, разговаривать съ крестьянами и записывать живописныя и характерныя выраженія. Особенно много труда было положено на первыя главы повѣсти „Деревня“. „Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилѣтняго

(*) Полное собраніе сочиненій Григоровича, XII, стр. 279.

Пушкинъ и Лермонтовъ по характеристикѣ журнала „Маякъ".

Журналъ „Маякъ", издававшійся Корсаковымъ и Бурачкомъ, получилъ свое существованіе въ 1840 г. Это былъ органъ отсталаго направленія, проникнутый мистицизмомъ, унаслѣдованнымъ отъ „Сіонскаго Вѣстника", и враждовавшій съ западноевропейскимъ просвѣщеніемъ, особенно же съ философіею, которая, яко бы, всегда вела людей къ безбожію. Въ этомъ-то журналѣ, между прочимъ, была дана характеристика Пушкина и Лермонтова. Зная общее направленіе журнала, нельзя было ожидать отъ него похвалъ для названныхъ писателей, особенно послѣ того, какъ Жуковскому былъ сдѣланъ упрекъ въ деизмѣ. Приступая къ характеристикѣ Пушкина, критикъ „Маяка" прежде всего замѣчаетъ, что тотъ писатель, который былъ призванъ возсоздать русскую поэзію, *уронилъ* ее, по крайней мѣрѣ, десятилѣтія на четыре. Удовольствовавшихъ славой *твелира*, онъ оставилъ нѣсколько томовъ чудныхъ поэтическихъ *игрушекъ* и почти ничего безсмертнаго. Критикъ не отрицаетъ достоинствъ въ стихѣ Пушкина, возбудившемъ общій восторгъ. За стихи, говоритъ онъ, литературные старики носили Пушкина на рукахъ, а молодежь гурьбой бѣжала за нимъ, осыпая его знаками удивленія. Пушкинъ былъ живая фабрика чудныхъ стиховъ. Но содержаніе въ его произведеніяхъ не соотвѣтствовало формѣ. Увлекшись въ молодости легкомысліемъ, свободой, разгуломъ пріятелей, онъ встрѣтилъ на пути преграды, „вспѣнился, думалъ было волной перекатиться черезъ нихъ и разлился—*олицетворенной эпиграммой*".

Не замѣчая въ произведеніяхъ Пушкина никакихъ признаковъ философскаго мышленія, критикъ вмѣстѣ съ тѣмъ утверждаетъ, что онъ не всегда является и вѣрнымъ слугой истины, что у него встрѣчается много софизмовъ и парадоксовъ. Религіозный элементъ, по мнѣнію оригинальнаго критика, у Пушкина отсутствуетъ и только въ послѣднихъ произведеніяхъ мелькаетъ что-то похожее на религіозность. Жестокій критикъ отказываетъ Пушкину даже въ народности. По его мнѣнію, Пушкинъ былъ бы народнымъ поэтомъ, если бы, по *недостатку матеріала, умственнаго капитала для творчества*, не увлекся, по примѣру Жуковскаго, подражаніемъ иностран-

ному. Пушкинъ былъ *сухъ*, *колючъ*, блестящъ, могучъ, но въ немъ не было животворной любви. Итакъ, Пушкинъ обманулъ возлагавшіяся на него надежды. Надо ожидать появленія другого Пушкина, такъ сказать, настоящаго, и этому второму Пушкину можно было бы дать такой совѣтъ: „Кто бы ты ни былъ, сознающій въ себѣ его крылья, его могущество, остановись! Не читай своихъ стиховъ пріятелямъ, не показывай ихъ журналистамъ. Не пиши много, не исписывайся прежде времени; ты пока еще теперь маленкій резервуаръ и скоро опорожнишься! Родникомъ, кто только призванъ быть имъ, дѣлаются въ половинѣ жизни. Сохрани дѣвственность и свѣжесть поэтическихъ силъ твоихъ, изучай словомъ и дѣломъ философію, религію, народность. Подчини свою волю строгой ферулѣ повиновенія. Спасай свое сердце отъ всего порочнаго. Разумъ свой просвѣщай истиной, чувство внушеніемъ красотъ природы, откровенія и искусства; но въ послѣднихъ будь остороженъ, не увлекайся ложными образцами: изучай, сравнивай всѣхъ, но никому не подражай“. (*)

Развѣнчавъ Пушкина, низведши его съ пьедестала, на который его поставили современники, критикъ продѣлываетъ ту же операцію и съ Лермонтовымъ, съ тою только разницею, что здѣсь онъ становится еще развязнѣе. Съ особенною силою онъ обрушивается на романъ Лермонтова „Герой нашего времени“. Разборъ начинается разговоромъ въ гостиной между нѣсколькими дамами, кавалерами и авторомъ разбора.

„Вы читали, сударыня „Героя“,—какъ вамъ кажется?

„Ахъ, безподобная вещь! по-русски ничего еще не было подобнаго... такъ это все живо, мило, ново... слогъ такой легкій, интересъ—такъ и заманиваетъ.

„А вамъ, сударыня?

„Я не видала какъ прочла; и такъ жаль было, что скоро кончилось—зачѣмъ только двѣ, а не двадцать частей.

„А вамъ, сударыня?

„Читается... ну прелесть! изъ рукъ не хочется выпустить. Вотъ если бы всѣ такъ писали по-русски, мы не стали бы читать ни одного романа французскаго.

(*) Маякъ 1840 г., ч. IV.

„Ну, а вы, Ив. Ив. что скажете?

„А мнѣ кажется, что появленіе „Героя нашего времени“ и такой пріемъ ему всего разительнѣе доказываетъ упадокъ нашей литературы и вкуса читателей.

„*Всѣ.* Ахъ! да какъ это можно? Ахъ, кто этакъ варварски судитъ! Ахъ, это просто зависть! Ахъ, вотъ какъ убиваютъ таланты! Ахъ, помилуйте, Иванъ Ивановичъ!

„*Я.* **Mesdames, messieurs**, чѣмъ такъ спорить да шумѣть, не лучше ли теперь же развинтить всю книгу, пересмотрѣть всѣ ея пружины, подставки, винтики, части, обсудить и тогда...

Онѣ. Пересмотрѣть, обсудить... *настоящій мужчина!* Кто разсуждаетъ, когда надо наслаждаться? „Герой“ истинное наслажденіе! Душечка, какъ милъ! ужасть, какъ милъ!

„*Я.* Какъ вамъ угодно, **mesdames**, я хоть для себя это сдѣлаю, пока вы наслаждаетесь“... (*)

Процессъ *развинчиванія* „Героя“ привелъ неумолимаго критика къ слѣдующимъ результатамъ. Въ романѣ Лермонтова, написанномъ правда, хорошимъ слогомъ, содержаніе ложное въ своемъ основаніи, гармоніи между причинами, слѣдствіями и цѣлью нѣтъ ни малѣйшей, идея ложная, направленіе кривое. Весь романъ не что иное, какъ эпиграмма, составленная изъ безпрерывныхъ софизмовъ; философіи, религіозности, русской народности и слѣдовъ нѣтъ. На вопросъ Печорина: „глупецъ я или злодѣй?“ критикъ отвѣчаетъ: „ты то и другое: и глупъ какъ дерево, при всей остротѣ твоей, и золъ, какъ голодный волкъ!“ Подводя итогъ разбору отношеній Печорина къ Бэлѣ, критикъ замѣчаетъ: „Итого: воровство, грабежъ, пьянство, похищеніе и обольщеніе дѣвушки, два убійства, презрѣніе ко всему святому, одеревенѣлость, парадоксы, софизмы, звѣрство духовное и тѣлесное. Все это элементы перваго акта похожденій героя! Въ самомъ дѣлѣ, должно ужасть какъ читаться! Такъ легко, утѣшительно! и все такъ мило, совершенно во вкусѣ образованнаго общества, особливо нѣжнаго пола! и такъ натурально—живая натура!“

Въ разборѣ „Героя нашего времени“ замѣчательна ироническая передача содержанія главы, носящей названіе „Тамань“. „Второе похожденіе героя, говоритъ критикъ,—слу-

(*) Маякъ 1840 г., IV, стр. 210.

чилось въ Тамани. Городишка мерзкій, никто не пускалъ героя на квартиру. Варвары, невѣжи! не пускать къ себѣ героя нашихъ временъ! То ли дѣло образованный и просвѣщенный классъ! Всѣ будуары ему настежь: живи и спи сколько хочешь! Едва нашлась въ Тамани честная семья, на краю города, на берегу моря: глухая старуха, слѣпой сынъ и хорошенькая дочка; то были контрабандисты, герои, достойные героя нашихъ временъ. Въ первую же ночь герой подмѣтилъ, что старушка не глуха, слѣпой не слѣпъ и дочка лихая дѣвка. Онъ какъ-то сталъ присматриваться на красотку, намекнулъ ей, что онъ замѣтилъ ихъ промыселъ. Дѣвушка-героиня и въ лицѣ не измѣнилась, прикинулась влюбленною, обняла, поцѣловала героя, назначила ночью свиданіе на берегу,—герой заткнулъ пистолетъ за поясъ и пошелъ. Дѣвушка ждала его, посадила въ лодку, оттолкнулась, лодка поплыла; героиня обняла героя нѣжно, сладко: пистолетъ—бухъ въ воду. Герой смекнулъ дѣло. Дѣвка—на героя, такъ и тащитъ его въ воду. Герой борется, лодка накренилась. Дѣвка—его, онъ—дѣвку; кончилось тѣмъ, что, какъ слѣдуетъ, герой побѣдилъ героиню: сбросилъ ее въ воду, та скрылась въ волнахъ".

Въ другой статьѣ о Лермонтовѣ, помѣщенной въ „Маякѣ", были разобраны, между прочимъ, стихотворенія „Дума", „Бородино", „Пѣсня про царя Ивана Васильевича", „Дары Терека", „Три пальмы", „Мцыри". Критикъ, указывая недостатки поэмы „Пѣсня про царя Ивана Васильевича", замѣчалъ, что такое мѣсто, какъ описаніе казни купца Калашникова, недостойно даже исторіи, не только поэзіи; онъ порицаетъ „Три пальмы" за то, что караванъ срубилъ и сжегъ благодѣтельныя пальмы; въ поэмѣ „Мцыри" ему не нравится выраженіе „могучій духъ". По поводу этого выраженія онъ замѣчаетъ: „Могучій духъ въ медвѣдѣ, барсѣ, василискѣ, Ванькѣ Каинѣ, Картушѣ, Робеспьерѣ, Пугачевѣ, въ дикомъ горцѣ, въ Александрѣ Македонскомъ, въ Цесарѣ, въ Наполеонѣ—одинъ и тотъ же родъ: дикая, не обузданная воля, естественная въ звѣрѣ, преступная въ человѣкѣ, тѣмъ болѣе преступная, чѣмъ онъ просвѣщеннѣе".

Если издателямъ и сотрудникамъ „Маяка" не нравились произведенія Пушкина и Лермонтова, если, по ихъ

мнѣнію, эти писатели вели русскую литературу къ упадку и развращали общество, то кто же удостоивался похвалъ разборчивыхъ, строгихъ критиковъ? Къ писателямъ, снискавшимъ громкія похвалы „Маяка“, принадлежали: Булгаринъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, Гречъ, Глинка, Степановъ, Башуцкій. Между тѣмъ задача журнала была обширная: его цѣлью было „свѣтить“, развивать, поддерживать просвѣщеніе, образованность, „обнимать все, что только можетъ интересовать человѣка“. Онъ провозглашалъ, что „какъ безъ солнечнаго свѣта все томится, сидитъ во тьмѣ, спотыкается, падаетъ, леденѣетъ, мретъ, такъ, и въ милліонъ разъ болѣе такъ, душа безъ просвѣщенія!“ Несмотря на явную вражду „Маяка“ съ просвѣщеніемъ, у него были свои поклонники. Къ нимъ, между прочимъ, принадлежалъ Загоскинъ, авторъ „Юрія Миславскаго“, заявившій въ письмѣ къ Корсакову, издателю „Маяка“, что онъ усталъ воевать одинъ противъ скептиковъ, европейцевъ, всѣхъ, какъ онъ выражался, защитниковъ земной жизни и ея плотскихъ наслажденій. Когда появился „Маякъ“, онъ, по его признанію, ободрился и сказалъ: „Слава Богу! Теперь я не одинъ, насъ двое! Теперь есть у меня сослуживецъ на этомъ ратномъ полѣ, да еще какой! чудо-богатырь!“

Славянофилы и западники.

Въ исторіи развитія русскаго самосознанія чрезвычайно важное значеніе имѣетъ эпоха 40-хъ годовъ. Въ это время въ наукѣ и литературѣ сформировались два противоположныхъ міровоззрѣнія, касавшіяся историческаго призванія славянскаго племени вообще и русскаго въ частности, а также значенія и характера западно-европейскаго образованія. Въ смыслѣ общественнаго развитія, могло ли быть что-нибудь важнѣе этого вопроса? Рѣшался вопросъ о томъ, надлежитъ ли итти Россіи по пути, проторенному западными народами, или же ей предназначенъ другой жребій, болѣе почетный, жребій народа, которому предопредѣлено сказать новое слово, повѣдать міру новую истину, сокрытую отъ другихъ народовъ. Славянофилы держались послѣдняго мнѣнія, западники—перваго.

Начало славянофильскаго ученія относится къ второй половинѣ 30-хъ годовъ, но полное развитіе оно получило въ 40-хъ. Старѣйшими его представителями были братья Кирѣевскіе и Хомяковъ, за которыми слѣдовали: Д. Валуевъ, Константинъ и Иванъ Аксаковы, Самаринъ, Кошелевъ, Елагинъ, Новиковъ, Чижовъ и др. Основы исповѣдуемаго славянофилами ученія были слѣдующія. Со времени реформы Петра Великаго русская жизнь пошла по ложному, неправильному пути. Гармонія, единство были въ жизни русскаго народа нарушены, и между высшимъ и низшимъ классомъ легла пропасть. Заимствованная образованность парализовала духовныя силы высшаго класса, обезличила его, лишила національнаго характера. Чтобы исправить историческую ошибку, допущенную Петромъ Великимъ, необходимо возвратиться къ укладу жизни, существовавшему въ старой Руси. Средствомъ къ этому можетъ послужить сліяніе съ народною массою, въ смыслѣ заимствованія ея духовныхъ началъ, ея вѣрованій. Русскій народъ, т. е. та его часть, которая не усвоила растлѣвающей западноевропейской образованности, является главнымъ представителемъ восточнаго, греко-славянскаго, православнаго міра. Онъ воспринялъ христіанское ученіе въ самомъ чистомъ источникѣ. Православіе отличается полнотою вѣры. Въ немъ нѣтъ односторонности римской разсудочности и логической отвлеченности протестантизма, провозгласившаго право частнаго, личнаго сужденія, въ ущербъ преданію, авторитету вселенской церкви, что привело протестантство къ образованію множества сектъ, основанныхъ на чисто субъективныхъ началахъ. Пониманіе христіанскаго ученія сердцемъ, душой стало удѣломъ православія.

Разница между міромъ западнымъ и восточнымъ отразилась и въ государственномъ устройствѣ. „Начало русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ тѣмъ, что у насъ не было завоеванія, а было добровольное призваніе. Этотъ основной фактъ отражается и на всемъ дальнѣйшемъ развитіи общественныхъ отношеній: у насъ не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій; земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но

принадлежала общинѣ; наша церковь не враждовала съ свѣтской властью и не стремилась къ свѣтскому господству, и т. д. Весь бытъ, вся образованность древней Руси носятъ на себѣ печать восточнаго православія и мирнаго основанія государства: развитіе шло естественно, религіозное сознаніе было основной нравственной силой и руководствомъ въ жизни; народный бытъ отличался единствомъ понятій и единствомъ нравовъ. Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю,—тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимъ древнія вѣча". (*)

Жизнь современнаго образованнаго русскаго общества представляетъ печальную картину. Оно рабски усвоиваетъ чужіе обычаи и языкъ, относясь съ пренебреженіемъ къ народу. Для устраненія этого ненормальнаго явленія, необходимо возстановить прежнюю связь съ народомъ, заняться изученіемъ его нравовъ, обычаевъ, исторіи, забыть настоящіе свои вкусы и стремленія. Высказывая эти мысли, славянофилы допускали различные оттѣнки въ своихъ сужденіяхъ, но сущность оставалась одна и та же.

Славянофильское ученіе касалось и явленій общеславянской жизни. Изъ всѣхъ славянскихъ племенъ, говорили они,—только русскому народу удалось создать прочное государство; другія племена слабы въ политическомъ отношеніи и, живя подъ игомъ чуждыхъ народностей, должны искать помощи у русскаго народа. Россія призвана пробудить чувство солидарности между этими племенами, вызвать къ жизни ихъ дремлющія силы, стремленія развивать родной языкъ и культуру. Такимъ образомъ, славянофилы служили двумъ цѣлямъ: развитію и укрѣпленію русской самобытности, съ одной стороны, и поддержанію славянскаго единства—съ другой.

Между славянофилами одно изъ первыхъ мѣстъ принадлежало Ивану Кирѣевскому. Въ началѣ своей литературной дѣятельности Кирѣевскій былъ сторонникомъ европейскаго просвѣщенія и защитникомъ реформы Петра Великаго. Перемѣна взглядовъ произошла въ немъ подъ вліяніемъ

(*) Характеристики литературныхъ мнѣній, А. Н. Пыпина. С.-П.-Б. 1873 г., стр. 247—248.

знакомства съ схимникомъ Филаретомъ, а также вслѣдствіе воздѣйствія взглядовъ брата Петра Кирѣевскаго, рано усвоившаго принципы славянофильскаго ученія. Онъ прилежно изучилъ философію, читалъ сочиненія отцовъ церкви, и это опредѣлило существенный характеръ его взглядовъ. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ говорилъ объ отношеніяхъ между восточнымъ и западнымъ міромъ, опредѣлялъ характеръ ихъ образованности и развивалъ мысль о великой роли, которую предназначено имѣть во всемірной исторіи православію и славянству. Не малое значеніе имѣлъ въ развитіи славянофильскаго ученія и его братъ, Петръ Кирѣевскій, посвятившій себя изученію исторіи и народнаго быта. Касаясь древней русской исторіи, онъ говорилъ о мирномъ характерѣ, легшемъ въ основу русскаго государства, о родовомъ бытѣ, вѣчевомъ управленіи и т. д. Имя Петра Кирѣевскаго связано также съ обширнымъ собраніемъ народныхъ пѣсенъ и духовныхъ стиховъ, имѣющимъ весьма важное значеніе для изученія народной словесности. Въ числѣ пѣсенъ было много такихъ, которыя были записаны друзьями и знакомыми Кирѣевскаго. Между ними были пѣсни, полученныя отъ Пушкина, замѣчательныя въ томъ отношеніи, что однѣ изъ нихъ были народныя, другія же принадлежали самому Пушкину, но представляли такое сходство съ первыми, что Кирѣевскій не могъ найти между ними различія, какъ потомъ самъ заявлялъ Буслаеву. (*)

Между представителями славянофильскаго ученія самыми разносторонними свѣдѣніями, безспорно, обладалъ Хомяковъ. Это былъ человѣкъ, обладавшій исключительными способностями. Сами противники не стѣснялись отдавать должное его обширному уму. Въ спорахъ онъ обнаруживалъ мастерство самаго искуснаго діалектика. Свои мысли онъ развивалъ въ сочиненіяхъ историческаго и богословскаго содержанія. „Онъ въ разныхъ направленіяхъ развивалъ славянофильскую тему, говоритъ Пыпинъ,—и былъ вообще однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ и вліятельныхъ членовъ школы. Нѣкоторые пункты славянофильскаго ученія въ особенности были предметами его истолкованій. Таковы его богословскія сочиненія, основная мысль которыхъ заключается въ опредѣ-

(*) Мои воспоминанія, Ѳ. И. Буслаева. Москва. 1897 г., стр. 293.

леніи церковныхъ отношеній Востока и Запада, въ теологическомъ доказательствѣ несостоятельности западной церкви,—католической или протестантской, все равно,—въ изложеніи и апологіи ученій православія. Во внутреннихъ вопросахъ ему отдается заслуга объясненія вопроса о сельской общинѣ, который въ особенности выступилъ на сцену и разъяснялся въ славянофильскихъ изданіяхъ при началѣ крестьянской реформы.“ Говоря о задачѣ, которую должна преслѣдовать въ своемъ существованіи Россія, Хомяковъ утверждалъ, что для нея возможна только одна задача—сдѣлаться самымъ христіанскимъ изъ всѣхъ христіанскихъ обществъ. Эта цѣль высказывалась всегда, даже въ самыя дикія эпохи ея историческихъ смутъ. Отчего дана намъ такая задача, спрашиваетъ онъ и отвѣчаетъ: „можетъ быть, отчасти вслѣдствіе особаго характера нашего племени, но безъ сомнѣнія потому, что намъ, по милости Божіей, дано было христіанство во всей его чистотѣ, въ его братолюбивой сущности“.

Къ средѣ болѣе молодыхъ славянофиловъ принадлежалъ Константинъ Аксаковъ. Эта была личность, выходящая изъ ряда обыкновенныхъ людей. Многіе справедливо называли его благороднѣйшимъ изъ представителей московскаго славянофильства. Выдающейся въ немъ чертой было неподкупное нравственное чувство. Его увлеченіе было всегда искренно, и предметомъ этого увлеченія былъ главнымъ образомъ народъ. Древній общинный бытъ, народовластіе, думы, соборы—вотъ вопросы, на которыхъ чаще всего останавливалось его вниманіе. Онъ стремился доказать, что отличительной чертой древней Руси было не родовое, а общинное устройство. Онъ утверждалъ, что Байеръ, Миллеръ и Шлецеръ исказили русскую исторію и что молодые русскіе ученые Кавелинъ, Калачевъ и Аѳанасьевъ, освободившись отъ вліянія Шлецера, вздумали установить другую ложную теорію, именно—теорію родового быта у древнихъ славянъ вообще и у русскихъ въ частности, подчинившись взглядамъ историка Эверса. Говоря объ основаніи русскаго государства, Аксаковъ указывалъ на важное значеніе добровольнаго призванія князей. Послѣднее составляло полную противоположность образованію западноевропейскихъ государствъ, въ основѣ которыхъ лежало завоеваніе. Вслѣдствіе добровольнаго призванія князей, земля и госу-

дарство, или народъ и власть, находились въ союзѣ другъ съ другомъ. Это отношеніе, существовавшее въ древнемъ періодѣ, сохранилось и впослѣдствіи, когда изъ отдѣльныхъ княжествъ образовалось московское государство. „Явился великій знязь, говоритъ Аксаковъ,—и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношенія земли и государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность были основою ихъ отношеній. Подобно тому какъ князь созывалъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ.“

Ничто въ древней русской жизни не умиляло такъ Аксакова, какъ мирное развитіе христіанства. Въ своей идеализаціи древняго быта онъ заходитъ такъ далено, что, готовъ отрицать существованіе на Руси язычества. Онъ говоритъ, что у русскихъ славянъ не существовало ни жрецовъ, ни храмовъ, ни идоловъ, ни даже боговъ, что идолопоклонство было вѣрой князя и дружины. Когда было принято крещеніе, оно сдѣлалось необходимымъ условіемъ въ существованіи русскаго народа. „Когда вспомнишь, какъ крестился русскій народъ, говоритъ Аксаковъ,—невольно умиляешься душой. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу. Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи“.

Вообще, какъ въ древней русской жизни, такъ и въ самомъ характерѣ русскаго народа Аксаковъ видѣлъ много симпатичныхъ сторонъ. Отличительными чертами этого характера онъ считалъ симпатичную простоту, безъискусственность и смиреніе. „Въ русскомъ мірѣ, говоритъ онъ,—нѣтъ ничего гордаго, ничего блестящаго, ни единаго эффекта. Все просто. Слово скупо; вы встрѣтите его столько, сколько нужно для дѣла, скорѣе даже менѣе, чѣмъ нужно для дѣла. Совершаются великія дѣла—безъ щегольства и хвастливости. Собирается Земская Дума или Соборъ безъ всякихъ театральныхъ обстановокъ, а просто для дѣла. Идутъ освобождать Москву, зовутъ другъ друга на общій подвигъ искренно и просто. И все кажется не красиво и не видно для неглубокого взгляда—тому, кто не замѣтитъ великости смиренія и внутренней силы, для того нужной. А кто замѣтитъ, к-

увидитъ это, передъ тѣмъ поблѣднѣютъ всѣ иллюстрированныя картинки, которыми такъ богаты исторіи другихъ народовъ". Въ награду за свои нравственныя доблести русскій народъ получилъ необыкновенное могущество. Смиренная, богобоязненная Русь заняла неизмѣримые предѣлы. „Седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ невыносимое знойное лѣто и невыносимая вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходитъ на другомъ въ одну и то же время. И вотъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы матеріальной, и для нея понятной, и снѣдаемая ненавистью, въ какомъ-то тайномъ ужасѣ, смотритъ она на это страшное, полное жизни тѣло, души котораго понять не можетъ".

Высоко цѣня нравственныя свойства русскаго народа, Аксаковъ не находилъ ничего симпатичнаго въ характерѣ другихъ европейскихъ народовъ. Западъ онъ называлъ одряхлѣвшимъ. Насиліе, рабство и вражда характеризовали жизнь западноевропейскихъ народовъ, по убѣжденію Аксакова. На свѣтлыя стороны этой жизни онъ закрывалъ глаза, и это ему можно поставить въ вину. „Единственнымъ смягчающимъ обстоятельствомъ въ данномъ случаѣ, говоритъ Венгеровъ,—можетъ служить то, что страстныя филиппики Константина Сергѣевича писались въ самый разгаръ партійной полемики. Въ тѣ времена національное самосознаніе было такъ мало развито и въ обществѣ и въ литературѣ, слѣпое поклоненіе Западу въ ущербъ всему русскому было такимъ общимъ явленіемъ, что было, дѣйствительно, съ чего озлобиться и изъ чувства протеста начать гнуть въ діаметрально-противоположную сторону". (*)

Важное значеніе историческимъ трудамъ Аксакова давалъ Костомаровъ. „Труды Аксакова, говоритъ онъ,—останутся навсегда знаменательными для науки русской исторіи. Онъ опровергъ теорію родового быта, на которой хотѣли построить русскую исторію; онъ обратилъ вниманіе на другое древнее начало въ русской исторіи—общинное, вѣчевое,

(*) Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ, Венгерова, I, стр. 303.

которое прежде наукой оставлено было въ тѣни; онъ возвѣстилъ плодотворную мысль удалиться отъ рабскаго подражанія западнымъ теоріямъ, обратиться къ разработкѣ народной жизни и вмѣсто чуждыхъ, наносныхъ взглядовъ поискать своихъ, народныхъ. Онъ превосходно отгадалъ характеръ Ивана Грознаго и тѣмъ открылъ путь къ простому и ясному уразумѣнію его эпохи; наконецъ, онъ нашелъ двойственность земли и государства въ русской исторіи—идею великую, плодъ того русскаго воззрѣнія, надъ которымъ глумились и издѣвались, и безъ котораго неосуществима плодотворность научной дѣятельности въ сферѣ русской исторіи, ибо никакія событія не понятны, если мы не знаемъ воззрѣнія, образовавшагося у того народа, который творилъ эти событія и участвовалъ въ нихъ". Впрочемъ, Костомаровъ указывалъ и слабыя мѣста въ сужденіяхъ Аксакова, вытекавшія изъ идеализаціи фактовъ. Строже относится къ взглядамъ Аксакова Пыпинъ. Говоря о картинѣ древнерусскаго устройства, нарисованной Аксаковымъ, онъ замѣчаетъ: „Славянофилы часто упрекали своихъ противниковъ, что они принимаютъ европейскія теоріи, чуждыя русской жизни, и прямо строятъ на нихъ русскую исторію. Въ настоящемъ случаѣ славянофилы дѣлаютъ въ сущности то же. Взглядъ К. Аксакова есть тоже готовая теорія, созданная прежде всего его горячимъ чувствомъ и приложенная имъ къ русской исторіи раньше, чѣмъ разработка послѣдней давала бы право вывести подобную теорію. Не скажемъ, чтобы она была совершенно произвольна,—нѣтъ; нѣкоторыя частности ея можно основывать на фактическихъ данныхъ, но далеко не всѣ, и цѣлый составъ этой теоріи остается произволенъ. Побужденіемъ къ построенію этой теоріи служило весьма похвальное сочувствіе къ народу; оно украсило его исторію всѣми идеальными качествами, которыхъ желало бы народу въ дѣйствительности; способъ изложенія взятъ былъ и самими славянофилами (какъ они упрекали въ томъ своихъ противниковъ) изъ пріемовъ той же самой западной науки, которая передъ тѣмъ именно занята была созданіемъ философіи исторіи, стремилась осмыслить исторію народовъ отвлеченными нравственно-общественными началами, указать особыя идеальныя задачи, поставленныя судьбою или Провидѣніемъ каждому изъ на-

родовъ въ его историческомъ бытіи. Но въ то время, какъ противники славянофильства все-таки больше старались держаться фактической почвы, Аксаковъ бросился въ идеализмъ, напоминающій философскую романтику двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Весь характеръ его исторической теоріи свидѣтельствуетъ о силѣ увлекавшаго его чувства больше, чѣмъ о глубинѣ историческаго пониманія. Приступая съ готовымъ энтузіазмомъ къ изученію старины, Аксакову довольно было нѣсколькихъ фактовъ, поразившихъ его возбужденное чувство, чтобы возвести ихъ въ историческій принципъ; онъ идеализируетъ ихъ". (*)

Изъ сказаннаго о взглядахъ Аксакова на древнюю Русь можно вывести заключеніе о томъ, какъ онъ смотрѣлъ на реформу Петра Великаго. Она, по его мнѣнію, нарушила правильное теченіе русской жизни, пошла въ разрѣзъ съ народными обычаями и характеромъ, разъединила сословія и внесла въ жизнь элементы западноевропейской порчи, дѣйствующей разрушительно на русскій народный организмъ. Этотъ взглядъ шелъ въ разрѣзъ съ тѣмъ воззрѣніемъ на реформу, которое Аксаковъ высказалъ значительно ранѣе, въ своей диссертаціи о Ломоносовѣ, когда его взгляды еще во многомъ были свободны отъ тѣхъ рѣзкостей, которыя впослѣдствіи обнаруживались въ его сужденіяхъ. Тогда онъ прямо заявлялъ, что Петръ Великій въ своихъ преобразованіяхъ опирался на дѣйствительную потребность русскаго народа, сокрушая все, что мѣшало свободному развитію послѣдняго.

Въ числѣ славянофиловъ первой формаціи видную роль игралъ и Ю. Самаринъ. Допускаютъ даже, что онъ первый высказалъ печатно ученіе объ общинномъ устройствѣ, существовавшемъ въ древней Руси, и что Аксаковъ только подробнѣе развилъ взглядъ Самарина. Отъ другихъ славянофиловъ Самаринъ отличался тѣмъ, что въ немъ было менѣе исключительности, что онъ умѣлъ находить привлекательныя стороны и въ западной цивилизаціи. „Приверженность свою къ доктринѣ онъ лишь высказывалъ въ томъ, что богатый запасъ своего знанія примѣнялъ къ русскому быту съ разборчивостью, принимая одно, отвергая другое, опасаясь и избѣ-

(*) Характеристики литературныхъ мнѣній, стр. 301—302.

гая лишь ломки, преждевременнаго и легкомысленнаго искаженія народнаго быта. Всѣ тѣ нововведенія, которыя вносили истинный свѣтъ въ русское общество, онъ защищалъ горячо, хотя бы они исходили и изъ чужихъ краевъ". (*)

Славянофилы выражали свои взгляды въ формѣ статей публицистическаго, историческаго и критическаго характера. Но двое изъ нихъ, Хомяковъ и К. Аксаковъ, пользовались для выраженія своихъ мыслей и стихотворною формою. Многія стихотворенія Хомякова, затрогивавшія темы славянофильскаго ученія, отличались искреннимъ и глубокимъ чувствомъ и большою силою выраженія. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ характеризовалъ западноевропейскую жизнь, указывая въ ней тѣ или другіе недостатки и не закрывая глазъ для свѣтлыхъ сторонъ. Такъ, въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ говорилъ:

О, грустно, грустно мнѣ! Ложится тьма густая
На дальнемъ западѣ, странѣ святыхъ чудесъ:
Свѣтила прежнія блѣднѣютъ догорая,
И звѣзды лучшія срываются съ небесъ.
А какъ прекрасенъ былъ тотъ западъ величавый!
Какъ долго цѣлый міръ, колѣна преклонивъ
И чудно озаренъ его высокой славой,
Предъ нимъ безмолвствовалъ, смиренъ и молчаливъ!
Тамъ солнце мудрости встрѣчали наши очи,
Кометы бурныхъ сѣчъ бродили въ высотѣ,
И тихо, какъ луна, царица лѣтней ночи,
Сіяла тамъ любовь въ невинной красотѣ;
Тамъ въ яркихъ радугахъ сливались вдохновенья
И Вѣры огнь живой потоки свѣта лилъ...
О, никогда земля отъ первыхъ дней творенья
Не зрѣла предъ собой столь пламенныхъ свѣтилъ!
Но горе! Вѣкъ прошелъ, и мертвеннымъ покровомъ
Задернутъ западъ весь! Тамъ будетъ мракъ глубокъ...
Услышь же гласъ судьбы, воспрянь въ сіяньи новомъ,
Проснися, дремлющій востокъ!

Обращаясь къ Англіи, владычицѣ морей, онъ называетъ ее любимою дочерью природы, благодатной землей. Державно развѣвается ея флагъ надъ водами, вѣнецъ науки блещетъ

(*) Наши дѣятели, Баумана. Біографія Самарина.

надъ ея главой, высоки звуки ея пѣсенъ, брошенныхъ міру. Она счастлива, богата, роскошна, сильна. Другія державы ждутъ, какіе уставы она предпишетъ ихъ судьбѣ. Но Англія вмѣстѣ съ тѣмъ лукава, горда. Для нея мірская слава выше Божьяго суда, и за это для нея придетъ часъ возмездія. Поэтъ, проникая въ будущее, говоритъ:

Блескъ твой, злато, багряница—
Все пройдетъ, минетъ, какъ сонъ!
Громъ въ рукахъ твоихъ остынетъ,
Перестанетъ мечъ сверкать
И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать,
И, забывъ твой флагъ державный,
Вновь свободна и грозна,
Заиграетъ своенравно
Моря шумная волна!
И другой странѣ, смиренной,
Полной вѣры и чудесъ,
Богъ отдастъ судьбу вселенной,
Громъ земли и гласъ небесъ.

Обращаясь въ своихъ стихотвореніяхъ къ Россіи, Хомяковъ видѣлъ ея силу въ смиреніи, въ чувствѣ дѣтской простоты, въ благочестіи. По его словамъ, Россіи Богомъ предназначенъ высокій удѣлъ—хранить для міра достоянье высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ, святое братство племенъ и богатство пламенной вѣры. Обращаясь къ Россіи, онъ вдохновенно говоритъ:

О, вспомни свой удѣлъ высокій,
Былое въ сердцѣ воскреси
И въ немъ сокрытаго глубоко
Ты духа жизни допроси!
Внимай ему—и всѣ народы
Обнявъ любовію своей,
Скажи имъ таинство свободы,
Сіянье вѣры имъ пролей!
И станешь, въ славѣ ты чудесной,
Превыше всѣхъ земныхъ сыновъ,
Какъ этотъ синій сводъ небесный—
Прозрачный Вышняго покровъ!

Въ стихотвореніи „Орелъ“ Хомяковъ призывалъ Россію подать руку помощи славянскимъ народамъ. Онъ указывалъ ей на долины Дуная, ущелья Карпатскихъ горъ, дебри и лѣса горъ Балканскихъ и говорилъ, что тамъ окованные братья ожидаютъ призыва къ свободѣ. Свое стихотвореніе онъ заканчивалъ мольбой, обращенной къ Россіи:

Питай ихъ пищей силъ духовныхъ,
Питай надеждой лучшихъ дней
И хладъ сердецъ единокровныхъ
Любовью жаркою согрѣй!
Ихъ часъ придетъ—окрѣпнутъ крылья
Младые когти подростутъ,
Вскричатъ орлы—и цѣпь насилья
Желѣзнымъ клювомъ расклюютъ.

Характеризуя Хомякова какъ поэта, Чуйко вполнѣ вѣрно говоритъ: „Онъ часто увлекался, часто преувеличивалъ значеніе теоріи, часто уходилъ въ крайности, изъ которыхъ ему трудно было выпутаться, но онъ всегда былъ искрененъ и всегда высоко держалъ знамя идеала. Не одаренный особенно высокимъ чувствомъ поэзіи, теоретикъ и отвлеченный мыслитель по складу ума, Хомяковъ, тѣмъ не менѣе, по временамъ достигалъ самаго возвышеннаго лиризма, когда чувство говорило въ немъ сильнѣе теоріи. Поэтому какъ общественнаго поэта, мы смѣло можемъ поставить его на одно изъ первыхъ мѣстъ въ русской поэзіи,—по значительности задачъ, разработываемыхъ имъ, по искренности чувства, по жаркой мысли, по значительности идеала. Съ его взглядами можно соглашаться или не соглашаться, но нельзя не признать за нимъ гражданской доблести и по временамъ высокаго поэтическаго краснорѣчія. Съ другой стороны, какъ поэтъ славянофильства, Хомяковъ, несомнѣнно, занимаетъ первое мѣсто и останется въ исторіи русской поэзіи представителемъ этого рода поэзіи“. (*)

Вторымъ поэтомъ славянофильства былъ К. Аксаковъ. Подобно Хомякову, онъ въ своихъ стихотвореніяхъ также проводилъ свои любимыя идеи. Въ нихъ онъ облекаетъ въ поэтическую форму мысли, которыя онъ развивалъ въ своихъ публицистическихъ и историческихъ трудахъ. Онъ съ любовью останавливается на явленіяхъ жизни до-петровскаго

(*) Современная русская поэзія, стр. 118.

времени и скорбитъ по поводу забвенія высшимъ классомъ народныхъ основъ. Иногда онъ достигаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ значительной силы, но въ нихъ менѣе, чѣмъ у Хомякова, живыхъ образовъ и картинъ. Изъ стихотвореній К. Аксакова, между прочимъ, извѣстно стихотвореніе „Возвратъ", съ призывомъ къ жизни на прежнихъ, старинныхъ началахъ, свободныхъ отъ чуждыхъ вліяній.

Рядомъ съ славянофилами въ 40-хъ годахъ существовалъ другой кружокъ, такъ называемые западники. У нихъ на первомъ планѣ стояла вѣра въ торжество науки, въ прогрессъ, въ европейскую цивилизацію. Среди нихъ, какъ и между славянофилами, были люди, обладавшіе выдающимися способностями. Къ кружку западниковъ принадлежали: Станкевичъ, Бѣлинскій, Грановскій, Огаревъ, Герценъ, Боткинъ, Бакунинъ. „Исторія кружка, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій и къ которому примкнуло всего больше тогдашнихъ молодыхъ силъ, говоритъ Пыпинъ,—какъ будто представляетъ въ сокращеніи цѣлый фазисъ развитія, пройденный новымъ поколѣніемъ. Это направленіе въ большинствѣ своихъ дѣятелей начало съ самаго спокойнаго консерватизма, съ полнаго признанія существовавшихъ формъ жизни, но затѣмъ быстро проходило различныя ступени критической мысли, и окончило отрицаніемъ этихъ формъ". Движеніе мысли началось здѣсь съ усвоенія философіи Шеллинга и Окена, съ которою знакомили своихъ слушателей профессора московскаго университета Павловъ и Надеждинъ, и затѣмъ перешло къ философіи Гегеля, составлявшей послѣднюю ступень нѣмецкаго мышленія. Руководителемъ въ дѣлѣ изученія Гегеля былъ Станкевичъ, оказавшій сильное вліяніе на философское развитіе Бѣлинскаго и Грановскаго. Философія Гегеля стала предметомъ постоянныхъ бесѣдъ и жаркихъ споровъ въ кружкѣ Станкевича. Члены кружка съ живѣйшимъ вниманіемъ слѣдили за развитіемъ философской литературы въ Германіи и выписывали нѣмецкія брошюры, трактовавшія о Гегелѣ. Языкъ ихъ носилъ рѣзкіе слѣды нѣмецкой философской терминологіи. Живая дѣйствительность должна была уступить мѣсто туманнымъ разсужденіямъ о разныхъ отвлеченныхъ предметахъ, имѣющихъ отношеніе къ философіи. Члены кружка во всей силѣ усвоили поло-

женіе Гегеля: „все дѣйствителное разумно, все разумное—дѣйствительно“ и старались находить для него постоянное примѣненіе. Яркой иллюстраціей къ характеру ихъ мышленія можетъ служить извѣстная статья Бѣлинскаго „Литературныя мечтанія,“ помѣщенная въ „Молвѣ“ въ 1834 г. „Пусть читатель обратитъ вниманіе, говоритъ Анненковъ,—на начало этой статьи, гдѣ весь міръ, а стало быть и искусство, опредѣляются какъ отраженіе одной безконечной идеи, равно живущей и въ бѣгѣ кометы, и въ слезѣ ребенка, и въ произведеніи художника; пусть прочтетъ онъ нравственныя требованія критика, изложенныя въ яркомъ описаніи двухъ дорогъ, свѣтлой и позорной, и различныхъ цѣлей, къ которымъ онѣ приводятъ; пусть остановится онъ на опредѣленіи способовъ соединенія съ безконечной идеей посредствомъ отреченія отъ своего *я*, борьбы со всѣмъ, что затемняетъ ликъ идеи и неограниченной любви... Тутъ высказана сущность убѣжденій, царствовавшихъ въ кругѣ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правилъ, которая всегда отличала автора статьи“. (*)

Увлекшись философіей Гегеля, западники не остались ея поборниками на долгое времени. Мало-по-малу они освободились отъ ея вліянія и нашли другіе пути для своего мышленія. Бѣлинскій въ своихъ критическихъ статьяхъ обратился къ явленіямъ общественной жизни, сталъ отыскивать въ литературныхъ произведеніяхъ серьезный общественный смыслъ, Грановскій сталъ держаться въ исторіи, вмѣсто идей Гегеля, воззрѣній Нибура, Амедея Тьерри и Риттера, стремиться къ уясненію въ историческихъ явленіяхъ человѣческой личности. Этому отпаденію отъ ученія Гегеля содѣйствовало существованіе въ Москвѣ, рядомъ съ кружкомъ Станкевича, кружка Герцена и Огарева, интересовавшагося не отвлеченностями германской философіи, а предметами соціальными и политическими. Когда представители двухъ названныхъ кружковъ сошлись ближе, они мало-по-малу пришли къ объединенію въ своихъ взглядахъ и образовали ядро московскихъ западниковъ, къ которому примкнули и нѣкоторые профессора Московскаго университета. Основной

(*) Воспоминанія и критическіе очерки, Анненкова. С.-П.-Б. 1881 г. Отдѣлъ третій, стр. 287.

идеей западническаго направленія явился вопросъ о правахъ и достоинствѣ человѣческой личности. Отсюда—рѣзко отрицательное отношеніе къ явленіямъ крѣпостнаго права и стремленіе къ обсужденію вопросовъ, относящихся къ области внутренней политической жизни, къ различнымъ сторонамъ дѣятельности законодательной, административной и судебной. Въ древне-русскихъ порядкахъ, столь привлекательныхъ для славянофиловъ, западники не видѣли ничего симпатичнаго, указывая на крѣпостное право, какъ на великое зло, унаслѣдованное отъ прошлаго.

Переходя отъ общихъ вопросовъ о западническомъ направленіи къ отдѣльнымъ его представителямъ, остановимся на нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ, и прежде всего на выдающейся личности Станкевича. По выраженію Бѣлинскаго, Станкевичъ былъ одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйные и таинственные слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество изъ тѣснаго круга близкихъ къ нимъ людей. Преобладающею чертою въ характерѣ Станкевича была мечтательность. Вотъ почему и философія Гегеля въ его усвоеніи приняла форму, въ которой отвлеченное мышленіе получило поэтическую окраску. Въ философіи онъ искалъ оправданія влеченіямъ своего сердца и опоры своему религіозному чувству. Въ немъ живо было стремленіе къ идеалу, и этимъ объясняется влеченіе къ нему окружающихъ лицъ. „Причина полнаго, неотразимаго вліянія Станкевича, говоритъ Анненковъ,—заключалась въ возвышенной его природѣ, въ способности нисколько не думать о себѣ и безъ малѣйшаго признака хвастовства или гордости невольно увлекать всѣхъ за собой въ область идеала... Въ Станкевичѣ отразилась юность одной эпохи нашего развитія: онъ какъ будто собралъ и совокупилъ въ себѣ лучшія нравственныя черты, благороднѣйшія стремленія и надежды своихъ товарищей. Въ немъ сошлось, какъ въ центрѣ, все прекрасное, которое было разсѣяно въ толпѣ окружавшихъ его друзей... Судьба хотѣла, чтобъ аттрибутъ молодости былъ неразлученъ съ этимъ образомъ: передъ концомъ молодости она свела Станкевича въ могилу“. Станкевичъ не отрицалъ значенія народности, но выше ея ставилъ общечеловѣческое начало.

„Чего хлопочутъ люди о народности? писалъ онъ, находясь въ Прагѣ, гдѣ видѣлъ Палацкаго и Шафарика. Надобно стремиться къ общечеловѣческому, свое будетъ поневолѣ. На всякомъ искреннемъ и непроизвольномъ актѣ духа невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше... Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій значитъ хотѣть продлить для него время дѣтства: давайте ему общее человѣческое и смотрите, что онъ способенъ принять, чего недостаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками—это никуда не годится".

Изъ числа лицъ, принадлежавшихъ къ кружку Станкевича, пришлось впослѣдствіи играть чрезвычайно важную роль въ русской литературѣ Бѣлинскому. Онъ также первоначально былъ ярымъ послѣдователемъ Гегеля, хотя болѣе близкое знакомство съ дѣйствительною жизнью въ скоромъ времени вывело его на другую дорогу. Въ пылу увлеченія нѣмецкою философіею, онъ утверждалъ что внѣ мысли все—призракъ, мечта. Въ книгѣ Пыпина „Бѣлинскій и его время" помѣщено, между прочимъ одно письмо Бѣлинскаго, въ которомъ онъ говоритъ о значеніи философіи. „Одна мысль существенна и реальна, настойчиво утверждаетъ въ немъ горячій послѣдователь Гегеля. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгніетъ, но твое *я* останется; слѣдовательно, тѣло твое есть призракъ, мечта, но *я* твое существенно и вѣчно. Философія—вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе—идея или явленіе, душа или тѣло? Идея ли есть результатъ явленія, или явленіе есть результатъ идеи? Безъ сомнѣнія, явленіе есть результатъ идеи. Если такъ, то можешь ли ты понять результатъ, не зная его причины? Можетъ ли для тебя быть понятна исторія человѣчества, если ты не знаешь, что такое человѣкъ, что такое человѣчество? Вотъ почему философія есть начало и источникъ всякаго знанія, вотъ почему

безъ философіи всякая наука мертва, непонятна и нелѣпа. Только въ ней (въ философіи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозрѣваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять отъ тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастіе, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастія. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ не имѣетъ никакого смысла и ею могутъ заниматься только пустыя головы".

Въ періодъ увлеченія философіей Гегеля, Бѣлинскій держался принциповъ чистой эстетики. Искусство, по его взгляду, должно было быть вполнѣ объективнымъ, отрѣшеннымъ отъ задачъ текущей жизни. Съ этой точки зрѣнія, поэзія являлась изображеніемъ свойствъ „абсолютнаго человѣка", художественнымъ воплощеніемъ „вѣчныхъ идей". Бѣлинскій-эстетикъ утверждалъ, что поэзія должна раскрывать разумность дѣйствительности, вести насъ къ постиженію вѣчно развивающейся идеи. Въ основѣ поэтическаго произведенія должно лежать спокойное созерцаніе изображаемаго явленія, а не лирическіе порывы, хотя бы и прекрасные по своему побужденію. Вотъ почему въ это время Бѣлинскій былъ поклонникомъ не Шиллера, полнаго возвышенныхъ порывовъ, а величественно спокойнаго, объективнаго Гете. И въ Пушкинѣ въ эту пору онъ цѣнилъ особенно высоко то, что отличалось болѣе или менѣе объективнымъ характеромъ. Какъ сторонникъ спокойнаго созерцанія жизни, Бѣлинскій-эстетикъ съ порицаніемъ относился къ Чацкому, въ порывѣ благороднаго негодованія не щадившаго темныхъ сторонъ, характеризовавшихъ современную дѣйствительность. Игнорируя въ Гоголѣ то, что этотъ великій художникъ назвалъ „незримыми міру слезами", Бѣлинскій прославлялъ его за объективность, за безстрастное изображеніе ничтож-

ныхъ людей, измѣнившихъ требованіямъ вѣчныхъ идей и разумной дѣйствительности. Но порицая героевъ юмористическихъ произведеній Гоголя, онъ безстрастно относился къ печальнымъ явленіямъ современной жизни, въ силу принципа гегелевской философіи, что все дѣйствительное разумно. Въ то время онъ былъ проникнутъ оптимистическимъ міровоззрѣніемъ, и этотъ оптимизмъ съ особенною силою выразился въ его статьяхъ о „Бородинской годовщинѣ". Высоко ставя объективность, Бѣлинскій въ названную пору не могъ относиться съ сочувствіемъ къ современной французской литературѣ, увлекавшейся изображеніемъ явленій текущей жизни. Органомъ, въ которомъ Бѣлинскій развивалъ названные взгляды, служилъ „Московскій Наблюдатель".

Съ переѣздомъ въ 1839 г. въ Петербургъ Бѣлинскій вступилъ въ новый фазисъ развитія. Отрѣшившись отъ подчиненія философіи, онъ понялъ важное значеніе историческихъ условій народной жизни. Отвлеченное представленіе о личности замѣняется теперь представленіемъ о конкретномъ человѣкѣ, находящемся въ зависимости отъ условій общественной жизни. По новому взгляду Бѣлинскаго, писатель долженъ находиться въ тѣсной нравственной связи съ явленіями своего времени, стоять на высотѣ его требованій, постигать нужды своего народа и проникаться благородными стремленіями. Для него жизнь должна являться борьбой, стремленіемъ къ устраненію препятствій, лежащихъ на пути къ достиженію народнаго блага. Въ эту пору Бѣлинскій весьма часто сталъ обращаться къ уясненію понятія о народности. Онъ указывалъ на грубыя поддѣлки подъ народность, весьма часто встрѣчавшіяся въ литературѣ. Говоря о началахъ общечеловѣческомъ и народномъ, онъ доказывалъ возможность ихъ примиренія. Отъ литературы, которая не должна оставаться глухою къ общечеловѣческимъ интересамъ, онъ, въ то же время, требовалъ оригинальности и самобытности. „Онъ требовалъ самостоятельности ея, говоритъ Вѣтринскій,—и боролся съ готовыми формальными литературными теоріями, въ родѣ классицизма, романтизма и оффиціальной народности, кто бы эти теоріи ни навязывалъ писателямъ. Онъ указывалъ, что литература тогда только станетъ на ноги, когда отрѣшится отъ всѣхъ устарѣлыхъ традицій

и отдастся вольному и внимательному наблюденію и изученію всей безконечно обширной жизни русскаго народа и общества. Въ этой борьбѣ за самобытность русской литературы, не исключающую и общечеловѣческаго, но съ нимъ сливающуюся, Бѣлинскій умѣлъ быть краснорѣчивъ и неистощимъ, и, конечно, его страстная любовь именно къ *русской* литературѣ, желаніе увидѣть *всю русскую* жизнь изображенною въ художественныхъ произведеніяхъ, глубокое сознаніе, что для этого необходимъ еще небывалый подъемъ духовной дѣятельности общества и неустанная работа для распространенія такого сознанія и для этого подъема,—все это даетъ Бѣлинскому больше правъ на званіе „патріота", чѣмъ имѣли ихъ десятки его литературныхъ противниковъ, упрекавшихъ его въ западничествѣ, въ отступничествѣ отъ всего русскаго. Да и по отношенію къ Пушкину и Гоголю важно не только то, что Бѣлинскій призналъ ихъ геніями, когда этого и не подозрѣвали современники, но и то, что онъ призналъ ихъ поэтами *національными*". (*)

Понимая хорошо значеніе народности въ произведеніяхъ лучшихъ писателей, Бѣлинскій, тѣмъ не менѣе, не могъ по достоинству оцѣнить значеніе произведеній народной поэзіи. Но не слѣдуетъ забывать, что правильный взглядъ на нее установился только въ послѣднее время. Въ эпоху Бѣлинскаго главными авторитетами въ вопросахъ, касавшихся народной поэзіи, были Сахаровъ и Снегиревъ, изъ которыхъ первый былъ самоучка, считавшій возможнымъ вносить въ народныя произведенія собственныя добавленія, а второй страдалъ недостаточнымъ развитіемъ критической способности. Бѣлинскій смотрѣлъ на народную словесность съ общей эстетической точки, не подозрѣвая существованія въ ней того глубокаго смысла, какой былъ открытъ въ произведеніяхъ народнаго творчества при помощи сравнительнаго языкознанія, миѳологіи и археологіи.

Обращаясь къ современной литературѣ, Бѣлинскій приходилъ къ тому выводу, что она стоитъ на вѣрномъ пути. „Литература наша, говоритъ онъ въ одной статьѣ, относящейся къ 1847 году,—дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше

(*) Образованіе 1898 г., № 5—6. „Памяти В. Г. Бѣлинскаго", стр. 27.

отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодовитѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней, а это великій успѣхъ съ ея стороны".

Ни одинъ изъ западниковъ и славянофиловъ не имѣетъ такой важной заслуги въ дѣлѣ оцѣнки главнѣйшихъ произведеній русской литературы, какая выпала на долю Бѣлинскаго. „Онъ положилъ конецъ тому безсистемному взгляду, говоритъ Пыпинъ,—при которомъ исторія литературы была только реестромъ произведеній и послужнымъ спискомъ писателей, съ голословными одобреніями или порицаніями, и первый далъ исторіи литературы дѣйствительно историческій характеръ послѣдовательнаго развитія. Его эстетическія оцѣнки старыхъ и новыхъ писателей сохраняютъ свою цѣну до сихъ поръ и не могутъ быть обойдены новой критикой". (*) Онъ показалъ истинныя заслуги всѣхъ главныхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя. Онъ открылъ выдающій литературный талантъ въ Кольцовѣ, Достоевскомъ, Тургеневѣ, Гончаровѣ, содѣйствовалъ въ сильной степени развитію въ обществѣ любви къ литературѣ и пониманія ея значенія, защищалъ права науки и просвѣщенія, пробуждалъ симпатіи къ простому народу, жившему въ тяжелыхъ условіяхъ крѣпостного быта, уяснялъ идею о высокомъ значеніи искусства, указывалъ обществу на его равнодушіе къ умственнымъ интересамъ, обличалъ патріархальную распущенность провинціальныхъ нравовъ,—однимъ словомъ—касался весьма многихъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно важныхъ сторонъ современной жизни, внося всюду въ свое слово полную искренность и чувство горячаго убѣжденія, въ моменты же особенно сильнаго возбужденія достигая неподдѣльнаго краснорѣчія.

Въ то время, когда Бѣлинскій развивалъ свои культурныя идеи въ области критики, Грановскій пробуждалъ въ обществѣ стремленіе къ идеалу при помощи уясненія различныхъ историческихъ вопросовъ. Подобно Бѣлинскому,

(*) Характеристики литературныхъ мнѣній, стр. 463.

онъ также прошелъ школу различныхъ вліяній. Первое изъ нихъ шло со стороны французскихъ историковъ либеральнаго направленія, затѣмъ наступилъ періодъ увлеченія Гегелемъ, которое потомъ уступило мѣсто подчиненію взглядамъ Савиньи и Риттера. Грановскій не довольствовался обычнымъ отношеніемъ къ наукѣ, при которомъ она остается въ сторонѣ отъ общественной жизни; напротивъ, онъ стремился придать ей воспитательное значеніе, старался найти въ исторіи отдѣльныхъ народовъ высшее объединяющее начало. Нѣтъ сомнѣнія, что были у насъ историки, превосходившіе Грановскаго ученостью, но мало было такихъ, которые могли бы сравниться съ нимъ по нравственному вліянію на слушателей, по безкорыстному служенію высшимъ научнымъ интересамъ. Правдивость была преобладающею чертою Грановскаго. Она проникала его отношенія ко всѣмъ окружающимъ лицамъ и ею, между прочимъ, онъ снискалъ себѣ глубокое уваженіе. Онъ стремился обратить свои чтенія въ проповѣдь служенія долгу, высшимъ идеаламъ и народному благу. Духъ гуманизма ясно обозначался въ его лекціяхъ и неудержимо привлекалъ къ нему сердца слушателей.

Опредѣляя характеръ современной исторической науки, Грановскій говорилъ, что онъ состоитъ въ стремленіи выяснять законы, управляющіе историческими событіями. „Наше время, говорилъ онъ,—перестало вѣрить въ безсмысленное владычество случая. Новая наука, философія исторіи, поставила на его мѣсто законъ, или лучше—необходимость. Вмѣстѣ съ случаемъ утратила большую часть своего значенія въ исторіи отдѣльная личность. Наука предоставила ей только честь или позоръ быть орудіемъ стоящихъ на очереди къ исполненію историческихъ идей. Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, событія получили иной, болѣе строгій и величавый характеръ: они явились не результатомъ человѣческаго произвола, а неизбѣжнымъ роковымъ выводомъ прошедшаго, началомъ, напередъ опредѣляющимъ будущее“. При изученіи исторіи Грановскій чрезвычайно важное значеніе придавалъ землевѣдѣнію. Онъ утверждалъ, что характеръ народа объясняется вліяніемъ климата, почвы и произведеній данной страны. „Итальянскій бытъ такъ же невозможенъ подъ небомъ Скандинавіи, какъ невозможенъ для населенія обширныхъ

равнинъ Россіи образъ жизни англичанина, находящагося въ постоянномъ сношеніи съ моремъ. Чѣмъ менѣе образованъ народъ, тѣмъ въ большей зависимости онъ находится отъ внѣшнихъ вліяній, глубоко проникающихъ въ его духовную жизнь". Но зависимость отъ внѣшнихъ вліяній, по взгляду Грановскаго, не устраняла значенія творческой дѣятельности народа.

Высшимъ закономъ въ исторіи Грановскій признавалъ нравственный законъ, осуществленіе котораго должно служить цѣлью развитія народовъ. „Поддерживаемый этимъ убѣжденіемъ, человѣкъ пріобрѣтаетъ новыя силы для борьбы съ искушеніями жизни, для исполненія предназначеннаго ему Провидѣніемъ скромнаго долга или великаго призванія." Такимъ образомъ, высшая польза, проистекающая отъ изученія исторіи, состоитъ въ мысли о неизбѣжности торжества добра надъ зломъ. Задачей исторіи является выработка „нравственной, просвѣщенной личности и сообразное требованіямъ такой личности общество." Особенно высоко ставитъ Грановскій тѣхъ историческихъ дѣятелей, которые содѣйствовали въ широкой степени развитію общественной нравственности.

Историкъ, по взгляду Грановскаго, долженъ быть въ широкой степени проникнутъ чувствомъ гуманизма. „Тотъ не историкъ, говоритъ онъ, кто не способенъ перенести въ прошедшее живого чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отдѣленномъ отъ него вѣками иноплеменникѣ. Тотъ не историкъ, кто не сумѣлъ прочесть въ изучаемыхъ имъ лѣтописяхъ и грамотахъ начертанныя въ нихъ яркими буквами истины: въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человѣчества есть искупительныя, видимыя намъ на разстояніи столѣтій стороны, и на днѣ самаго грѣшнаго предъ судомъ современниковъ сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство." Грановскій собственнымъ примѣромъ оправдывалъ выставляемое имъ требованіе, что приговоръ историка долженъ быть основанъ на вѣрномъ, честномъ изученіи дѣла, что онъ долженъ произноситься не съ цѣлью тревожить могильный сонъ подсудимаго, а для того, чтобы укрѣпить подверженное безчисленнымъ искушеніямъ нравственное чувство живыхъ, усилить ихъ шаткую вѣру въ добро и истину, дать усталой душѣ новыя силы для спора съ жизнью.

Указанныя историческія воззрѣнія Грановскаго, какъ это само собою видно, представляли полный контрастъ по отношенію къ воззрѣніямъ славянофиловъ. Тогда какъ славянофилы носителемъ высшей истины, идеала признавали народную массу, Грановскій видѣлъ воплощеніе идей нравственнаго закона въ отдѣльныхъ избранныхъ лицахъ, которыя своимъ воздѣйствіемъ разлагаютъ въ массахъ то, что не соотвѣтствуетъ ихъ идеалу. Онъ возставалъ противъ той печальной роли, какую въ воззрѣніяхъ славянофиловъ играли западные народы. Онъ утверждалъ, что допустивъ родство, существующее между обитателями земного шара, мы должны необходимо принять и истекающую изъ этого родства равную способность всѣхъ породъ къ совершенствованію и развитію.

Дѣятельность Грановскаго, какъ историка, имѣла тѣсное отношеніе къ современной общественной жизни. „Главный элементъ историческихъ воззрѣній Грановскаго, говоритъ Вѣтринскій,—вѣра въ прогрессъ, не фаталистическій, но дающій широкій просторъ индивидуальнымъ усиліямъ; сущность историческаго процесса—разложеніе массъ личною индивидуальною мыслью. Воззрѣнія Грановскаго, такимъ образомъ, можно назвать индивидуализмомъ въ широкомъ смыслѣ слова: личность разсматривается не какъ отвлеченное понятіе, но какъ конкретное существо, поставленное въ тѣ или другія общественныя отношенія; она имѣетъ свои обязанности и права, опредѣляемыя этими отношеніями; но эти отношенія во всякомъ случаѣ должны имѣть въ виду благо личности, удовлетворять ея требованіямъ. Изученіе исторіи даетъ опору и для текущей общественной дѣятельности въ томъ же направленіи: съ одной стороны оно укрѣпляетъ вѣру въ конечное торжество добра, съ другой—оно—ключъ къ сокровищницѣ историческаго опыта; послѣдній будетъ получать тѣмъ больше значенія и вліянія, чѣмъ болѣе будетъ распространяться образованіе, какъ внѣшнія культурныя формы общежитія, и просвѣщеніе, влагающее живое содержаніе въ эти формы. Исторія, такимъ образомъ, ничего общаго не имѣетъ съ цеховою ученостью, исключительною, не желающею знать требованій жизни. Идеалъ историка—всесторонне образованный, живой, гуманный человѣкъ и гражданинъ, не

только передающій рядъ болѣе или менѣе любопытныхъ „исторій“, но и воспитывающій слушателей, проповѣдникъ живой дѣятельности, терпимости и гуманности“. (*)

Герценъ, игравшій также видную роль въ кружкѣ западниковъ, не остался чуждъ воззрѣній Гегеля, подобно тому, какъ имъ подчинились Станкевичъ, Бѣлинскій и Грановскій. Онъ принималъ, что развитіе человѣческаго рода совершается ступенями, но въ то время какъ Гегель высшимъ воплощеніемъ человѣческаго духа считалъ германцевъ, Герценъ предоставлялъ эту честь славянскому племени. Въ этомъ пунктѣ онъ сходился, такимъ образомъ, съ славянофилами. Отражая нападенія Мишле, онъ признавалъ русскій народъ самою „свѣжею“, многообѣщающею націею и залогъ его процвѣтанія видѣлъ въ общинномъ устройствѣ. Въ первый періодъ его литературной дѣятельности, западная цивилизація казалась ему преисполненною всякихъ совершенствъ, но впослѣдствіи, ставши къ ней лицомъ къ лицу, онъ поникъ главою и, подобно славянофиламъ, проникся убѣжденіемъ, что Западъ предался гніенію.

Между славянофилами и западниками долго велись горячіе споры. Сперва они отличались довольно мирнымъ характеромъ. „Причиной тому,—говоритъ Вѣтринскій,—было прежде всего то обстоятельство, что пренія были въ значительной степени академичны и сначала мало кто чувствовалъ, что они касаются насущнѣйшихъ вопросовъ, которые могутъ стать когда-нибудь вопросами практическаго интереса. Такъ скудно и слабо въ обществѣ шевелилась мысль, что многіе интересовались философскими и литературными спорами какъ зрѣлищемъ, приходили въ литературные салоны, чтобъ убить время, любуясь на азартъ спорщиковъ. И самые споры были подчасъ не движеніемъ мысли, а просто „моціономъ“, по мѣткому замѣчанію Языкова“. (**) Но, мало-по-малу, споры между славянофилами и западниками стали принимать рѣзкій характеръ, исключавшій всякую возможность примиренія. Противники, перенесшіе споры изъ салоновъ въ журналы, въ взаимныхъ нападеніяхъ не стѣснялись въ выборѣ эпитетовъ. Такъ, Шевыревъ въ одной статьѣ назы-

(*) Т. Н. Грановскій и его время. Москва, 1897 г., стр. 113—114.
(**) Тамъ же, стр. 158.

валъ Бѣлинскаго „журнальнымъ кондотьеромъ“, „рыцаремъ безъ имени“, „литературнымъ бобылемъ“, на что Бѣлинскій отвѣчалъ ѣдкимъ памфлетомъ, носившимъ названіе „Педантъ“. Органомъ мнѣній славянофиловъ явился журналъ Погодина „Москвитянинъ“. По выраженію Анненкова, онъ былъ эхомъ славянофильской школы и въ защитѣ своихъ основныхъ положеній доходилъ до крайнихъ границъ увлеченія. Въ немъ Западъ былъ провозглашенъ разлагающимся трупомъ, грозящимъ заразить насъ своимъ опаснымъ дыханіемъ. Къ характеристическимъ признакамъ его умственной жизни были отнесены „развратъ мышленія“ и „безстыдство знанія“. Не придавая важнаго значенія развитію умственныхъ силъ, журналъ Погодина считалъ характеристическими признаками русскаго народа смиреніе, кротость, терпѣніе и простоту. Видное мѣсто удѣлялъ на своихъ страницахъ „Москвитянинъ“ и славянскимъ племенамъ. Къ петербургскимъ журналамъ онъ относился высокомѣрно, при чемъ иногда обнаруживалъ склонность къ обвиненію ихъ чуть ли не въ измѣнѣ отечеству. Такимъ духомъ, напримѣръ, были проникнуты стихотворенія М. Дмитріева „Къ безыменному критику“, относившееся къ Бѣлинскому, и Языкова „Къ не нашимъ“. Но не все, что появлялось на страницахъ „Москвитянина“, можно было считать выраженіемъ мнѣній славянофиловъ. Кирѣевскіе, Хомяковъ, Аксаковы иногда рѣзко расходились въ мнѣніяхъ съ Погодинымъ. „По обширности пониманія славянофильскаго вопроса,—говоритъ Анненковъ,— по дѣльности и внутреннему значенію своихъ убѣжденій, они стояли гораздо выше „Москвитянина“, который постоянно считался ихъ органомъ и поддерживался ими наружно“. Самымъ ярымъ противникомъ „Москвитянина“ были „Отечественныя Записки“, направленіе которыхъ выражалось главнымъ образомъ въ критическихъ статьяхъ Бѣлинскаго, ставшаго сотрудникомъ названнаго журнала съ 1839 г. Идея развитія началъ, гармонирующихъ съ интересами личности, какъ живого члена общественнаго организма, была основнымъ мотивомъ въ направленіи журнала. Бѣлинскій развивалъ эту идею въ своихъ разборахъ литературныхъ произведеній, и она же проявлялась въ статьяхъ научнаго характера, помѣщавшихся въ журналѣ. Это сообщало послѣднему строгое

единство въ направленіи и было причиною обширнаго вліянія, которымъ онъ пользовался въ обществѣ. Кромѣ Бѣлинскаго, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ участвовали Грановскій, Кудрявцевъ, В. Боткинъ и многіе другіе изъ наиболѣе извѣстныхъ писателей и ученыхъ. Когда Бѣлинскій перенесъ свое сотрудничество въ „Современникъ“, его преемникомъ по критическому отдѣлу сдѣлался В. Майковъ, къ сожалѣнію, рано оторванный отъ своей полезной дѣятельности смертью. Когда и его не стало, журналъ утратилъ живое начало и сталъ пріобрѣтать характеръ сборника, наполнявшагося повѣстями и очень сухими научными статьями.

Ученіе славянофиловъ и западниковъ, долго вырабатывавшееся и насчитывавшее въ рядахъ своихъ представителей не мало лицъ съ выдающимися талантами и знаніями, не могло пройти безслѣдно въ исторіи русскаго самосознанія. „Славянофильство,—говоритъ Пыпинъ,—съ такимъ упорствомъ настаивало на своемъ идеалѣ, такъ искренно въ него вѣрило, такъ горячо его защищало, что успѣло дать ему силу въ литературѣ и мнѣніяхъ общества. Этимъ идеаломъ былъ народъ, и здѣсь было основаніе его силы... Славянофилы указывали обществу его оторванность отъ народа, ничтожество его въ этомъ раздѣленіи отъ истиннаго основанія національной жизни, на необходимость союза, который одинъ даетъ обществу нравственную силу и дастъ его образованію дѣйствительную плодотворность. Славянофилы указывали исторической наукѣ мало тронутую ею задачу—раскрыть внутреннія основы народнаго характера, которыя однѣ могутъ пролить истинный свѣтъ на историческую судьбу народа и государства. Эти стороны славянофильскаго ученія составляютъ лучшую и достойную уваженія его заслугу“. (*) Энтузіазмъ славянофиловъ, ихъ горячая вѣра въ свой идеалъ сообщались и обществу. Они давали послѣднему положительный образъ народной политической мудрости. „Партія славянофиловъ успѣла ввести въ кругозоръ русской интеллигенціи,—говоритъ Анненковъ,—новый предметъ, новаго дѣятельнаго члена и агента для мысли, именно—народъ, и послѣ ея проповѣди ни наукѣ вообще, ни наукѣ управленія въ частности уже нельзя было обойтись безъ того, чтобы не

(*) Характеристики литературныхъ мнѣній, стр. 338—339.

имѣть его въ виду при разныхъ политико-соціальныхъ рѣшеніяхъ и не считаться съ нимъ. Это была великая заслуга партіи, чѣмъ бы она ни была куплена". (*) По замѣчанію Скабичевскаго, славянофилы оказали своему отечеству великую услугу какъ въ научномъ, такъ и въ соціально-нравственномъ отношеніи; все ихъ ученіе было проникнуто великими и гуманными идеями, которыя носились въ воздухѣ и готовились обновить русскую жизнь. „Изъ славянофильскаго лагеря пошли первые піонеры въ народъ собирать пѣсни, сказки, пословицы, изучать обряды, повѣрья, міросозерцаніе и идеалы народа". Изъ ихъ среды вышелъ Островскій съ своими драмами, вліяніе ихъ ученія отразилось во взглядахъ Тургенева и Некрасова, ихъ энтузіазмъ слышится въ словахъ перваго изъ нихъ, относящихся къ Рудину: „Космополитизмъ—чепуха, космополитизмъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности и художества ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи". Сравнивая результаты ученія славянофиловъ и западниковъ, А. Григорьевъ, самъ принадлежавшій къ числу первыхъ. а потому и не вполнѣ безпристрастный въ своемъ отзывѣ, говоритъ слѣдующее: „Славянофильство вѣрило, фанатически въ невѣдомую ему самому сущность народной жизни, и вѣра вмѣнена ему въ заслугу. Западничество шло противъ теченія: оно не признавало и не хотѣло признать явленій жизни; оно упорно отрицало въ литературѣ и въ быту народномъ то, что на глазахъ всѣхъ и каждаго или выросло, или раскрылось могучаго и крѣпкаго въ послѣднее десятилѣтіе. Мимо его прошли намѣренно или ненамѣренно имъ незамѣченныя силы; имъ слѣпо отрицались такія явленія, какъ значеніе общины, Островскій съ миромъ раскрытой имъ жизни; пѣсни народа, какъ будто поднимавшіяся изъ-подъ спуда; рѣчь народная, вливавшаяся живительной струею въ литературу; поворотъ нравственный къ семейному началу, діаметрально противоположный исключительному протесту и отрицанію сороковыхъ годовъ; возникшая любовь къ преданію, сильное и быстрое распространеніе изученіе народнаго быта". (**) Но,

(*) Воспоминанія и критическіе очерки, III, стр. 148.

(**) Сочиненія, I, стр. 483.

признавая заслуги за славянофилами, не справедливо было бы отказывать въ нихъ западникамъ. Уже достаточно назвать Бѣлинскаго, какъ критика, пролившаго новый свѣтъ на новую русскую литературу и развивавшаго эстетическіе взгляды, выработанные западноевропейскою наукою,—и Грановскаго, придавшаго высшее значеніе историческимъ изслѣдованіямъ и поставившаго ихъ въ связь съ современною жизнью,—чтобы сказать, что и западникамъ былъ открытъ свѣтъ истины, хотя они и затмевали иногда его нѣкоторыми сторонами своего ученія. „Кружокъ западниковъ,—говоритъ Колюпановъ,—состоялъ изъ людей, которые усвоили себѣ не одинъ внѣшній лоскъ, но внутреннюю сущность европейскаго просвѣщенія, послѣдніе результаты его научныхъ изслѣдованій, его стремленіе ко всему истинному, честному и прекрасному, развитіе личнаго достоинства, возведеннаго на степень нравственнаго долга, стремленіе къ свободѣ и нравственности. Но, кромѣ этого, лица, составлявшія кружокъ, были артистическія натуры, одаренныя тонкимъ и сильнымъ артистическимъ чутьемъ. Кромѣ любви къ литературѣ и ея представителямъ, общей всѣмъ, Станкевичъ и Боткинъ страстно любили музыку, Бѣлинскій увлекался театромъ, Грановскій былъ художникъ въ душѣ. То гуманно-эстетическое направленіе, которое выработано было ихъ дѣятельностью, было необходимымъ и важнымъ, послѣднимъ фазисомъ воспитанія для русскаго общества—передъ вступленіемъ его на самостоятельный путь“. А. Григорьевъ, принадлежавшій къ числу горячо убѣжденныхъ славянофиловъ, тѣмъ не менѣе, не отрицалъ и заслугъ западниковъ. Онъ говорилъ, что романо-германскій міръ, которому поклонялись послѣдніе, своимъ долгимъ и славнымъ существованіемъ выработалъ великіе общественные, нравственные и художественные идеалы, какъ нѣкогда выработалъ ихъ міръ элинно-римскій, и что ни въ какой жизни эти идеалы не должны были пройти безслѣдно, а слѣдовательно и въ русской, но при этомъ должны были быть проявлены и собственныя творческія силы народа.

Московскіе меломаны.

Вкусъ къ музыкѣ въ Москвѣ въ 50-хъ годахъ былъ распространенъ преимущественно между дворянами, жившими тогда на широкую ногу. Меценатовъ между ними встрѣчались очень много. Эта щедрость дворянъ-москвичей служила приманкой для заграничныхъ артистовъ, которые, вслѣдствіе названнаго обстоятельства иногда прочно обосновывались въ Москвѣ. Пріѣзжіе артисты, забравъ справки о выдающихся любителяхъ музыки, привозили имъ билеты на свои концерты и получали весьма щедрую плату, далеко превышавшую номинальную стоимость билета. Изъ множества подобныхъ случаевъ можно указать на слѣдующій. „Въ концѣ 40-хъ или началъ 50-хъ годовъ въ Москву пріѣхалъ знаменитый скрипачъ Оле Булль и произвелъ фуроръ въ московской публикѣ. Одинъ изъ родовитыхъ москвичей, бывшій большимъ любителемъ музыки, очень полюбилъ артиста, приглашалъ къ себѣ, дѣлалъ щедрые подарки и наконецъ сталъ уговаривать дать лишній концертъ, когда тотъ уже собирался было уѣхать изъ Москвы. Оле Булль сталъ говорить, что онъ не хочетъ надоѣдать слишкомъ публикѣ и что не разсчитываетъ даже на хорошій сборъ; тогда московскій баринъ предложилъ ему пари на дюжину шампанскаго, что чистый сборъ превыситъ двѣ тысячи рублей. Въ виду очень настоятельныхъ уговариваній, артистъ рѣшился дать еще концертъ и по окончаніи его за ужиномъ объявилъ, что пари имъ выиграно, такъ какъ сборъ достигъ всего 1,500 руб.— „Вы забыли“, отвѣчалъ москвичъ, „что я не платилъ еще за свой билетъ“, и вручилъ при семъ 2,000 руб., такъ что Оле Буллю пришлось платить за шампанское“. (*)

Манія столоверченія.

Манія столоверченія, появившаяся у насъ въ началѣ 50-хъ годовъ, была занесена къ намъ изъ Западной Европы, куда она зашла изъ Индіи. Въ „Сѣверной Пчелѣ“ за 1854 г. была помѣщена любопытная статья Черепанова, который

(*) Русское Обозрѣніе 1898 г., январь. „Воспоминанія о Н. Г. Рубинштейнѣ“, проф. Кашкина, стр. 332.

долго жилъ въ восточной Индіи и Сибири и видѣлъ тамъ странныя явленія, имѣющія связь съ столоверченіемъ. Г. Черепановъ сообщалъ въ своей статьѣ, какъ нѣчто достовѣрное, что ламы, или буддійскіе священники, умѣютъ находить вещи, скрытыя ворами, по указанію стола, который движется передъ ними по воздуху. Эта операція продѣлывается такимъ образомъ. Лама садится передъ маленькимъ столикомъ, кладетъ на него руки и начинаетъ читать тибетскую книгу. Потомъ онъ подымается, держа руки въ томъ положеніи, въ какомъ онѣ лежали на столѣ. Вмѣстѣ съ поднятіемъ рукъ поднимается и столикъ, который, дойдя до уровня глазъ, начинаетъ двигаться впередъ. Лама, поднявъ руки надъ головой, слѣдуетъ за нимъ. Послѣ плавнаго движенія по воздоху въ теченіе извѣстнаго времени, столикъ наконецъ начинаетъ колебаться и потомъ падаетъ на землю. По движенію столика слѣдуетъ искать украденную вещь. „Утверждаютъ, говоритъ Черепановъ, что обыкновенно столъ падаетъ именно на то мѣсто, гдѣ украденная вещь спрятана. Въ случаѣ, гдѣ я былъ нарочнымъ свидѣтелемъ, онъ пролетѣлъ значительное разстояніе (около тридцати метровъ) и пропавшая вещь не была тотчасъ же найдена. Но въ томъ направленіи, которому слѣдовалъ столъ, находилась хижина русскаго крестьянина, который лишилъ себя жизни, замѣтивъ указаніе, данное столомъ. Самоубійство это возбудило подозрѣніе. Начались поиски и пропавшія вещи были найдены въ его хижинѣ“. (*)

Въ 1853 г. страсть къ столоверченію появилась во Франціи и быстро тамъ распространилась, хотя о вертящихся столахъ уже ранѣе говорили въ Англіи и Германіи. Парижъ былъ охваченъ эпидеміей столоверченія. То же замѣчалось и въ другихъ большихъ французскихъ городахъ, какъ, напримѣръ, въ Страсбургѣ, Марсели, Бордо, Тулузѣ. Говорили, что столы не только могутъ вертѣться, но и говорить, писать, давать совѣты, разоблачать тайны. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что при верченіи употреблялись круглые столы, иногда же ихъ замѣняли шляпы, блюда и лаханки. Участвующіе въ опытѣ клали руки на столъ, составляя неразрывную цѣпь.

(*) Исторія чудеснаго, соч. Фагье, II, стр. 50.

Въ началѣ 50-хъ годовъ стали говорить о вертящихся столахъ и въ Петербургѣ. По словамъ хроникера „Отечественныхъ Записокъ“ за 1853 г., вертящимися столами интересовались въ Петербургѣ болѣе, чѣмъ концертами, выставками, балами и маскарадами. „Очень недавно сдѣлано открытіе, писалъ онъ, что отъ прикосновенія извѣстнымъ образомъ человѣческихъ рукъ къ различнымъ предметамъ, предметы эти приходятъ въ движеніе. Открытіе разсказано было сначала иностранными, потомъ русскими газетами—и вотъ весь Петербургъ началъ дѣлать опыты. Куда бы вы ни пріѣхали въ послѣднее время, вы непремѣнно заставали кого-нибудь за подобнымъ занятіемъ. Вы пріѣзжаете къ вашимъ знакомымъ и застаете хозяевъ, а часто и гостей сидящими вокругъ стола. До стола они не касаются ничѣмъ, кромѣ рукъ. Мизинецъ лѣвой руки каждаго лежитъ на правомъ мизинцѣ сосѣда и такимъ-образомъ составляется цѣлая цѣпь. Хозяинъ или гость, распоряжающійся этимъ занятіемъ, посматриваетъ на сосѣдей и особенно долго почему-то останавливаетъ свой взглядъ на тѣхъ изъ нихъ, у которыхъ черные волосы. Всѣ присутствующіе съ нетерпѣніемъ ожидаютъ, когда столъ начнетъ двигаться. Вы заходите позавтракать въ кофейню—и видите двухъ господъ, которые составили точно такую же цѣпь изъ рукъ, касаясь ими не стола, а тарелки. Забывъ совершенно о поданномъ имъ кушаньѣ, они выжидаютъ, когда тарелка станетъ вертѣться. Вы заѣзжаете въ кондиторскую, чтобъ купить бонбоньерку дѣтямъ вашихъ знакомыхъ и видите, какъ и здѣсь въ разныхъ концахъ комнаты нѣсколько лицъ тѣмъ же способомъ силятся заставить двигаться свои шляпы, и между этими лицами находится иногда даже вамъ знакомый, который не поздоровавшись, прямо приглашаетъ васъ испытать съ нимъ движеніе вашей бонбоньерки. Можно навѣрное сказать, что если въ это время гдѣ-нибудь сходилось два человѣка вмѣстѣ, то они непремѣнно извѣстнымъ образомъ налагали свои руки на все—на столы, стулья, этажерки, шляпы, а если было болѣе двухъ, то даже и на человѣка. Этого мало: тѣ же опыты производились на танцовальномъ вечерѣ и на дѣтскомъ балѣ съ сюрпризами, данномъ въ залѣ дворянскаго собранія, въ пользу убѣжища взрослыхъ дѣвицъ“. (*)

(*) Отечественныя Записки 1853 г., май. „Петербургскія замѣтки“, стр. 133.

Когда послѣ танцевъ, на названномъ вечерѣ, бо́льшая часть публики разъѣхалась, остальные изъ присутствовавшихъ собрались въ малой залѣ и размѣстились за множествомъ маленькихъ столиковъ, положа на нихъ руки. Тутъ была не одна только молодежь, но и люди весьма почтенныхъ лѣтъ, которые, принявъ серьезный видъ, терпѣливо ожидали момента, когда столикъ начнетъ вертѣться. „Одинъ господинъ до-того интересовался опытомъ, что, опасаясь прервать цѣпь, попросилъ другого господина, вѣроятно, друга, дать ему понюхать табаку“.

Свою замѣтку хроникеръ заканчивалъ слѣдующими словами: „Что извлечетъ наука изъ этого явленія—скажетъ будущее, но пока оно очень можетъ быть полезно въ практическомъ отношеніи. Хозяевамъ теперь чрезвычайно легко будетъ занимать гостей, которые не танцуютъ, не играютъ въ карты. Стоитъ дать такимъ гостямъ тарелку, шляпу или столъ, и они очень пріятно проведутъ вечеръ. Что они скучать не будутъ, доказательства едва ли нужны. Весь Петербургъ въ послѣднее время былъ исключительно преданъ подобнымъ удовольствіямъ и безъ всякихъ преувеличеній, во все это время, просидѣлъ сложа руки“.

Послѣдніе годы жизни Гоголя.

Возвратившись изъ путешествія въ Іерусалимъ, Гоголь провелъ конецъ весны и лѣто въ Малороссіи, въ кругу родныхъ. То, что онъ нашелъ въ своей Васильевкѣ, представляло невеселую картину. Хозяйство находилось въ разстройствѣ, домъ, въ которомъ жили его мать и сестры, пришелъ въ совершенную ветхость, неурожайный годъ грозилъ голодомъ, холера по окрестнымъ мѣстамъ брала свою страшную подать. Все это не могло не дѣйствовать угнетающимъ образомъ на Гоголя.

Тѣмъ не менѣе, путешествіе освѣжило Гоголя и подкрѣпило его силы. Несмотря на разслабляющее дѣйствіе лѣтней жары, бо́льшую часть дня онъ посвящалъ литературнымъ занятіямъ. Часто его можно было видѣть въ полѣ, въ саду. Ко всему присматривался онъ въ хозяйствѣ, всѣмъ интере-

совался. „Рисовалъ планъ новаго господскаго дома въ Васильевкѣ, сажалъ деревья въ саду, составлялъ для матери узоры ковровъ, которые ткали ея крѣпостныя мастерицы, съ наслажденіемъ слушалъ, какъ сестры пѣли малороссійскія пѣсни“. (*)

Въ концѣ 1848 года Гоголь переѣхалъ въ Москву, гдѣ онъ встрѣтилъ самый радушный пріемъ. Особенно часто онъ посѣщалъ Аксаковыхъ, читая имъ что-нибудь вслухъ. Всюду его окружали полнымъ вниманіемъ. Онъ находилъ у своихъ друзей все, что могло быть ему пріятно: любимыя блюда, уединенное помѣщеніе и готовую ко всякимъ услугамъ прислугу. „Этой прислугѣ съ утра до ночи строго внушалось, чтобъ она однюдь не входила въ комнату гостя безъ требованія съ его стороны; отнюдь не дѣлала ему никакихъ вопросовъ; не подглядывала за нимъ. Всѣ домашніе снабжались подобными же инструкціями. Даже близкіе знакомые хозяина, у кого жилъ Гоголь, должны были знать, какъ вести себя, если неравно съ нимъ встрѣтятся и заговорятъ. Имъ сообщалось, между прочимъ, что Гоголь терпѣть не можетъ говорить о литературѣ, въ особенности о своихъ произведеніяхъ, а потому никоимъ образомъ нельзя обременять его вопросами: „Что онъ теперь пишетъ?“ а равно: „куда поѣдетъ?“ или: „откуда пріѣхалъ?“ И этого онъ также не любилъ. Да и вообще—молъ подобные вопросы въ разговорѣ съ нимъ ни къ чему не ведутъ: онъ отвѣтитъ уклончиво, или ничего не отвѣтитъ. Ѣдетъ въ Малороссію, скажетъ: „въ Римъ“; ѣдетъ въ Римъ, скажетъ: „въ деревню къ такому-то“,—стало-быть, зачѣмъ понапрасну безпокоить!“ (**)

Чаще всего Гоголь посѣщалъ своего стараго пріятеля Шевырева, который завѣдывалъ продажею его сочиненій. „У него же хранились и деньги Гоголя, говоритъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Бергъ; между прочимъ, былъ ввѣренъ какой-то особый капиталъ, изъ котораго Шевыревъ могъ, по своему усмотрѣнію, помогать бѣднымъ студентамъ, не говоря никому, чьи это деньги. Я узналъ объ этомъ отъ Шевырева только по смерти Гоголя. Наконецъ, Шевыревъ исправлялъ,

(*) Н. В. Гоголь. Біографическій очеркъ А. Анненской, стр. 81.

(**) Русская Старина 1872 г. январь. „Воспоминанія о Н. В. Гоголѣ“ Н. В. Берга, стр. 118—119.

при изданіи сочиненій Гоголя, даже самый слогъ своего пріятеля, какъ извѣстно, не особенно заботившагося о грамматикѣ. Однако, исправивъ, долженъ былъ всетаки показать Гоголю, что́ и какъ исправилъ, разумѣется, если авторъ былъ въ Москвѣ. При этомъ случалось, что Гоголь скажетъ: „нѣтъ, ужъ оставь по-прежнему!“ Красота и сила выраженія иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики“.

Иногда на вечерахъ у своихъ знакомыхъ Гоголь читалъ что-нибудь изъ своихъ произведеній, но это, вообще, бывало рѣдко. Необходимымъ условіемъ при этомъ были общее вниманіе и безусловная тишина. Разъ кто-то изъ семейныхъ друзей Гоголя упросилъ его прочитать что-нибудь изъ второго тома „Мертвыхъ душъ“. Собрались гости. Приняты были всѣ мѣры, чтобы не случилось какой-нибудь помѣхи при чтеніи. „Отпитъ заранѣе чай, удалена прислуга, которой приказано болѣе безъ зова не входить; забыли только упредить няньку, чтобы она не являлась въ обычный часъ съ дѣтьми „прощаться“. Едва Гоголь усѣлся и водворилась вожделѣнная тишина—дверь скрипнула и нянька, съ вереницею ребятъ, не примѣчая никакихъ знаковъ и маханій, пошла отъ отца къ матери, отъ матери къ дядюшкѣ, отъ дядюшки къ тетушкѣ... Гоголь смотрѣлъ—смотрѣлъ на эту патріархальную процедуру вечерняго прощанія дѣтей съ родителями, сложилъ тетрадь, взялъ шляпу и уѣхалъ“. (*)

Бывали случаи, что Гоголь присутствовалъ на чтеніи въ качествѣ слушателя. Такъ, однажды у Погодина было назначено чтеніе комедіи Островскаго „Свои люди—сочтемся“, которая въ то время была новинкой, вызывавшей всеобщій интересъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ числѣ слушателей были старые и молодые писатели, актеры. Гоголь пріѣхалъ во время чтенія. Онъ вошелъ тихо, остановился у дверей и сталъ, повидимому, очень внимательно слушать. Послѣ чтенія, присутствовавшая въ числѣ слушателей графиня Ростопчина подошла къ Гоголю и спросила: „Что́ вы скажете, Николай Васильевичъ?“—„Хорошо, но видна нѣкоторая неопытность въ пріемахъ, отвѣчалъ Гоголь. Вотъ этотъ актъ нужно бы подлиннѣе, а этотъ покороче. Эти законы узнаются

(*) Воспоминанія о Н. В. Гоголѣ, Н. В. Берга, стр. 123.

послѣ и въ непреложность ихъ не сейчасъ начинаешь вѣрить". Вотъ почти все, что сказалъ Гоголь въ этотъ вечеръ. Къ Островскому онъ не обратился ни разу, хотя, какъ потомъ оказалось, считалъ его самымъ талантливымъ между московскими литераторами.

Въ Москвѣ Гоголь жилъ у графа Толстого, на Никитскомъ бульварѣ, въ домѣ Талызина, въ нижнемъ этажѣ. „Здѣсь за Гоголемъ, говоритъ Бергъ, ухаживали какъ за ребенкомъ, предоставивъ ему полную свободу во всемъ. Онъ не заботился ровно ни о чемъ. Обѣдъ, завтракъ, чай, ужинъ подавались тамъ, гдѣ онъ прикажетъ. Бѣлье его мылось и укладывалось въ комоды невидимыми духами, если только не надѣвалось на него тоже невидимыми духами. Кромѣ многочисленной прислуги дома, служилъ ему, въ его комнатахъ, собственный его человѣкъ, изъ Малороссіи, именемъ Семенъ, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигелѣ была необыкновенная. Гоголь либо ходилъ по комнатѣ, изъ угла въ уголъ, либо сидѣлъ и писалъ, катая шарики изъ бѣлаго хлѣба, про которые говорилъ друзьямъ, что они помогаютъ разрѣшенію самыхъ сложныхъ и трудныхъ задачъ. Одинъ другъ собралъ этихъ шариковъ цѣлые вороха и хранитъ благоговѣйно. Когда писаніе утомляло или надоѣдало, Гоголь подымался наверхъ, къ хозяину, не то надѣвалъ шубу, а лѣтомъ испанскій плащъ, безъ рукавовъ, и отправлялся пѣшкомъ по Никитскому бульвару, большею частью налѣво изъ воротъ".

Лѣтомъ Гоголь большею частью уѣзжалъ куда-нибудь въ деревню. Такъ, въ 1849 г. онъ провелъ почти все лѣто въ деревню А. О. Смирновой, самой искренней поклонницы его таланта. „Тамъ онъ въ первый разъ прочелъ нѣсколько главъ изъ второго тома „Мертвыхъ душъ". Первыя двѣ главы были совершенно отдѣланы и являлись совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ мы читаемъ ихъ теперь. Александра Осиповна помнила, что первая глава начиналась торжественнымъ лирическимъ вступленіемъ, въ родѣ той страницы, какою заканчивается первый томъ; далѣе ее поразило необыкновенно живое описаніе чувствъ Тентетникова послѣ согласія генерала на его бракъ съ Уленькой, а въ послѣдующихъ семи главахъ, еще требовавшихъ, по словамъ Гоголя, значи-

тельной переработки, ей понравился романъ свѣтской красавицы, которая провела молодость при дворѣ, скучаетъ въ провинціи и влюбляется въ Платонова, также скучающаго отъ ничего-недѣланья". (*)

Осень 1849 г. Гоголь провелъ въ подмосковной деревнѣ у Аксаковыхъ. Здѣсь онъ также читалъ первую главу второго тома „Мертвыхъ душъ". Объ этомъ чтеніи С. Т. Аксаковъ разсказываетъ такимъ образомъ. „Гоголь, сидя на своемъ обыкновенномъ мѣстѣ, вдругъ сказалъ: „Да не прочесть ли намъ главу „Мертвыхъ душъ". Сынъ мой, Константинъ, даже всталъ, чтобы принести ихъ сверху, изъ своей библіотеки, но Гоголь удержалъ его за рукавъ и сказалъ: „Нѣтъ, ужъ я вамъ прочту изъ второго". И съ этими словами вытащилъ изъ своего огромнаго кармана большую тетрадь. Не могу выразить, что сдѣлалось со всѣми нами. Я былъ совершенно уничтоженъ. Не радость, а страхъ, что я услышу что-нибудь недостойное прежняго Гоголя, такъ смутилъ меня, что я совсѣмъ растерялся. Гоголь былъ самъ сконфуженъ. Ту же минуту мы всѣ придвинулись къ столу, и Гоголь прочелъ 1-ю главу второго тома „Мервыхъ душъ". Съ первыхъ страницъ я увидѣлъ, что талантъ Гоголя не погибъ, и пришелъ въ совершенный восторгъ. Чтеніе продолжалось часъ съ четвертью. Гоголь нѣсколько усталъ и, осыпаемый нашими искренними и радостными привѣтствіями, скоро ушелъ наверхъ въ свою комнату, потому что прошелъ часъ, въ который онъ обыкновенно ложился спать, т. е. 11 часовъ". Вторая глава была прочитана Гоголемъ Аксаковымъ уже въ Москвѣ и привела ихъ въ восторгъ. С. Т. Аксаковъ ставилъ ее еще выше первой.

Весной 1850 г. Гоголь, вмѣстѣ съ профессоромъ кіевскаго университета Максимовичемъ, отправился въ Малороссію. Уже давно онъ лелѣялъ мечту—совершить путешествіе по Россіи, держась проселочныхъ дорогъ, заѣзжая въ лежащіе на пути монастыри и останавливаясь на отдыхъ у помѣщиковъ. Казалось, что этой мечтѣ суждено было теперь осуществиться. По дорогѣ Гоголь и Максимовичъ заѣзжали въ монастыри, слушали по деревнямъ пѣсни, а въ

(*) Н. В. Гоголь. Его жизнь и литературная дѣятельность. Біографическій очеркъ А. Анненской, стр. 82.

лѣсахъ собирали травы и цвѣты для одной изъ сестеръ Гоголя, которая занималась ботаникой. По пріѣздѣ въ Васильевку, Гоголь попалъ въ дѣловую обстановку. Опять выступили на сцену хозяйственные интересы, пошли заботы о новомъ домѣ, о садѣ.

Въ 1851 году Гоголь жилъ на дачѣ у Шевырева, въ 20 верстахъ отъ Москвы, по рязанской дорогѣ. Тамъ же жилъ и Н. В. Бергъ, который описываетъ свою встрѣчу съ Гоголемъ слѣдующимъ образомъ. „Я пріѣхалъ прежде, по приглашенію хозяина, и мнѣ былъ предложенъ для житья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя совсѣмъ не ждали. Вдругъ, въ тотъ же день послѣ обѣда, подкатила къ крыльцу наемная карета на парѣ сѣрыхъ лошадей и оттуда вышелъ Гоголь, въ своемъ испанскомъ плащѣ и сѣрой шляпѣ, нѣсколько запыленный.

„Въ домѣ былъ я одинъ. Хозяева гдѣ-то гуляли. Гоголь вошелъ балконной дверью, довольно живо. Мы расцѣловались и сѣли на диванъ. Гоголь не приминулъ сказать обычную свою фразу: „ну, вотъ теперь наговоримся: я пріѣхалъ сюда пожить!“

„Явившійся хозяинъ просилъ меня уступить Гоголю флигель, котораго я не успѣлъ даже и занять. Мнѣ отвели комнату въ домѣ, а Гоголь перебрался ту же минуту во флигель со своими портфелями. Людямъ, какъ водится, было запрещено ходить къ нему безъ зову и вообще не вертѣться безъ толку около флигеля. Анахоретъ продолжалъ писать второй томъ „Мертвыхъ душъ“, вытягивая изъ себя клещами фразу за фразой. Шевыревъ ходилъ къ нему и они вмѣстѣ читали и перечитывали написанное. Это дѣлалось съ такою таинственностью, что можно было думать, что фо флигелѣ, подъ сѣнью старыхъ сосенъ, сходятся заговорщики и варятъ всякія зелья революціи. Шевыревъ говорилъ мнѣ, будто бы написанное несравненно выше перваго тома. Увы! дружба сильно увлекалась...

„Къ завтраку и къ обѣду Гоголь являлся невсегда, а если и являлся, то сидѣлъ почти не дотрогиваясь ни до одного блюда и глотая по временамъ какія-то пилюльки. Онъ страдалъ тогда разстройствомъ желудка; былъ постоянно скученъ и вялъ въ движеніяхъ, но нисколько не худъ на

лицо. Говорилъ не много и тоже какъ-то вяло и неохотно. Улыбка рѣдко мелькала на его устахъ. Взоръ потерялъ прежній огонь и быстроту. Словомъ, это были уже развалины Гоголя, а не Гоголь.

„Я уѣхалъ съ дачи прежде и не знаю, долго ли тамъ оставался Гоголь. Лѣто того года я прожилъ у себя въ деревнѣ и когда воротился въ Москву, то услышалъ, что Гоголемъ написано уже одиннадцать главъ второго тома, но онъ все ими недоволенъ, все поправляетъ и переписываетъ... вѣроятно, переписка этихъ одиннадцати главъ повторилась болѣе восьми завѣтныхъ разъ“. (*)

По поводу послѣдняго выраженія, будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ о томъ, какой способъ черновой литературной работы Гоголь считалъ самымъ лучшимъ.

„Сначала нужно набросать все, говоритъ онъ,—какъ придется, хотя бы плохо, водянисто, но рѣшительно все, и забыть объ этой тетради. Потомъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ два, иногда и болѣе (это скажется само-собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не такъ, много лишняго, а кое-чего и недостаетъ. Сдѣлайте поправки и замѣтки на поляхъ и снова забросьте тетрадь. При новомъ пересмотрѣ ея—новыя замѣтки на поляхъ, и гдѣ не хватитъ мѣста—взять отдѣльный клочекъ и приклеить сбоку. Когда все будетъ такимъ образомъ исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тутъ само собой явятся новыя озаренія, урѣзы, добавки, очищенія слога. Между прежнихъ вскочатъ слова, которыя необходимо тамъ должны быть, но которыя почему-то никакъ не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не дѣлайте ничего или хоть пишите другое. Придетъ часъ: вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечитайте, поправьте тѣмъ же способомъ и когда снова она будетъ измарана, перепишите ее собственноручно. Вы замѣтите при этомъ, что вмѣстѣ съ крѣпчаніемъ слога, съ отдѣлкой, очисткой фразъ—какъ бы крѣпчаетъ и ваша рука; буквы ставятся тверже и рѣшительнѣе. Такъ надо дѣлать по-моему *восемь разъ*. Для иного, можетъ быть, нужно меньше, а для иного и еще больше.

(*) Русская Старина 1872 г. январь. „Воспоминанія о Н. В. Гоголѣ“, Н. В. Берга, стр. 125—126.

Я дѣлаю восемь разъ. Только послѣ восьмой переписки, непремѣнно собственною рукою, трудъ является вполнѣ художнически законченнымъ, достигаетъ перла созданія. Дальнѣйшія поправки и пересматриванье, пожалуй, испортятъ дѣло, что называется у живописцевъ: *зарисуешься*. Конечно, слѣдовать постоянно такимъ правиламъ нельзя, трудно. Я говорю объ идеалѣ. Иное пустишь и скорѣе. Человѣкъ все-таки человѣкъ, а не машина".

Съ зимы 1851 года здоровье Гоголя стало замѣтно ухудшаться: онъ сталъ жаловаться на слабость, нервное разстройство и сильную тоску, но окружающіе, зная мнительность Гоголя, не придавали этимъ жалобамъ серьезнаго значенія, тѣмъ болѣе, что онъ самъ иногда обнаруживалъ прежнее спокойное настроеніе, читалъ свои произведенія и даже напѣвалъ, какъ онъ выражался, „козлинымъ" голосомъ малороссійскія пѣсни. Посѣщенія друзей начинали тяготить его. Сказавъ два-три слова, онъ протягивалъ руку и говорилъ: извини, дремлется что-то!" Къ продолженію „Мертвыхъ душъ" онъ сталъ замѣтно охладѣвать. Ему казалось, что въ этомъ произведеніи сокрыто много опаснаго для читателей, могущаго вредно дѣйствовать на ихъ нравственную сторону. Страхъ смерти сталъ овладѣвать Гоголемъ. На масленой въ 1852 году онъ началъ говѣть, питаясь одною просвирой. Въ четвергъ онъ исповѣдывался и причастился, при чемъ въ немъ обнаруживалось сильное изнуреніе. Но это не помѣшало ему въ тотъ же день вечеромъ отправиться къ своему духовнику и просить его, чтобы онъ отслужилъ благодарственный молебенъ. Въ ночь съ пятницы на субботу онъ услышалъ голоса, говорившіе о приближеніи смерти. Подъ впечатлѣніемъ этихъ голосовъ, призывавшихъ въ иной міръ, Гоголь призвалъ къ себѣ графа Толстого, у котораго онъ жилъ, и сказалъ ему: „я скоро умру; свези, пожалуйста эту тетрадь къ митрополиту Филарету и попроси его прочитать, а потомъ, согласно его замѣчаніямъ напечатай". При этомъ онъ передалъ графу большую связку бумагъ, заключавшую въ себѣ одиннадцать главъ второго тома „Мертвыхъ душъ". Толстой, желая устранить мысли о смерти, не взялъ рукописи и успокоительно замѣтилъ Гоголю: „помилуй, ты такъ здоровъ, что, можетъ быть, завтра или послѣ-завтра самъ

свезешь это къ Филарету и выслушаешь отъ него замѣчанія лично".

Слова друга не успокоили Гоголя. Наступила мучительная ночь, ночь сожженія втораго тома „Мертвыхъ душъ". Гоголемъ овладѣлъ страхъ тяжкаго наказанія за совершеніе мнимаго преступленія. Созданіе безсмертнаго произведенія представилось ему дѣломъ великой грѣховности. Вставъ съ постели, онъ разбудилъ своего слугу Семена и велѣлъ ему затопить печь. Когда приказаніе было исполнено, Гоголь велѣлъ слугѣ бросить въ огонь рукопись, о которой происходилъ разговоръ съ графомъ Толстымъ. Слуга, сознавая, что творится что-то недоброе, просилъ барина на колѣняхъ не сжигать бумагъ, но баринъ остался неумолимъ. Рукопись была брошена въ огонь, но долго не загоралась: углы обгорѣли, но средина оставалось цѣла. Тогда Гоголь взялъ кочергу и помогъ огню уничтожить плодъ вдохновеннаго труда, на который было положено много духовныхъ и физическихъ силъ. Гоголь безжалостно отдѣлялъ тетрадь отъ тетради, и яркое пламя быстро пожирало свою добычу. Рукопись была сожжена. Слуга плакалъ и укоризненно говорилъ барину: „что вы сдѣлали?"—„Тебѣ жаль меня?"—спросилъ Гоголь, обнялъ вѣрнаго слугу, поцѣловалъ его и самъ горько заплакалъ.

Съ этого рокового момента всѣ мысли Гоголя сосредоточились на смерти. Онъ съ радостью согласился на предложеніе духовника пріобщиться и пособороваться. Во время совершенія соборованія онъ горячо молился. Это было въ понедѣльникъ на второй недѣлѣ Великаго поста. На другой день Гоголю стало легче, но въ среду случился сильный припадокъ нервной горячки, и въ четвергъ, 21 февраля, Гоголя не стало. Вѣсть о его смерти быстро разнеслась по городу. Похороны были торжественныя. Гробъ несли на плечахъ друзья покойнаго. У Никитскихъ воротъ ихъ смѣнили студенты. Отпѣваніе было совершенно въ университетской церкви; въ числѣ многихъ почетныхъ лицъ, на немъ присутствовалъ и попечитель московскаго учебнаго округа генералъ-адъютантъ Назимовъ. Изъ церкви гробъ вынесли профессора, потомъ онъ былъ переданъ студентамъ, которые несли его до самаго Данилова монастыря. Здѣсь онъ былъ опущенъ въ землю, рядомъ съ могилой поэта Языкова.

Смерть Гоголя глубоко опечалила всѣхъ, кому были дороги интересы русской литературы. Всѣ сознавали, что образовалась пустота, которую наполнить никто не можетъ. Отошелъ въ вѣчность писатель, который высился исполиномъ надъ современною пишущею братіею. Не чувствовали великости потери только люди ограниченные и завистники. Въ числѣ лицъ, не раздѣлявшихъ общаго горя, былъ и Булгаринъ. Обращаясь къ извѣстному ученому Хавскому, онъ писалъ ему по поводу смерти Гоголя слѣдующее: „Милостивый государь Петръ Васильевичъ! Благодарю васъ за память, но не могу догадаться, что̀ заставило васъ въ двухъ письмахъ извѣщать меня о подробностяхъ кончины и похоронъ Гоголя! Безъ сомнѣнія, занятые вашими хронологическими, археологическими изысканіями и юриспруденціей, вы никогда не читали ни *благовонныхъ* сказокъ Гоголя, которыя онъ самъ справедливо характеризовалъ въ своемъ сочиненіи „Переписка съ друзьями“, ни мнѣній о Гоголѣ „Сѣверной Пчелы“, которая, не зная о его смерти, еще 23 февраля повторила это мнѣніе, при представившемся къ тому случаѣ. Если Гоголь для васъ и для редактора Московскихъ Полицейскихъ Вѣдомостей кажется *знаменитымъ* писателемъ, то онъ вовсе не такимъ кажется мнѣ и Н. И. Гречу. Сравнивать Гоголя съ Карамзинымъ—и *грѣхъ* и *смѣхъ!* Никто не нанесъ пагубнѣйшаго удара чистотѣ, правильности русскаго языка и изящному вкусу, какъ Гоголь. Партія *натуральной школы* возвеличила его, а почести, оказанныя ему въ Москвѣ, не дѣлаютъ чести ея литературному вкусу. Вѣдь въ Москвѣ и состарѣвшуюся Фанни Эльснеръ возили на себѣ, по дорогѣ, устланной коврами! Москва любитъ благоволить кому попало! Узнавъ о смерти Гоголя—я перекрестился и сотворилъ молитву, какъ по каждомъ христіанинѣ. Лавровые листы, которые вы мнѣ прислали съ его гроба—не расцвѣтутъ въ потомствѣ, всегда справедливомъ. Отъ другаго я принялъ бы посылку этихъ лавровъ—за *насмѣшку*, но отъ васъ получилъ съ улыбкою, будучи увѣренъ, что вы не читали вовѣки Гоголя и мнѣній „Пчелы“. Изъ вашихъ писемъ не сдѣлаю никакого употребленія и злоупотребленія, а за симъ имѣю быть съ истиннымъ уваженіемъ и преданностью покорнымъ слугою Ѳ. Булгаринъ“. (*)

(*) Русская Старина 1872 г. „Письмо Ѳ. В. Булгарина о Н. В. Гоголѣ“, стр. 481.

Характеръ русской литературы въ первой половинѣ 50 годовъ.

Въ первой половинѣ 50 годовъ русская литература отличалась двойственнымъ характеромъ въ своемъ направленіи. Съ одной стороны, мы видимъ отсутствіе высшихъ стремленій, серьезнаго, вдумчиваго отношенія къ дѣйствительности, къ ненормальнымъ явленіямъ окружающей общественной жизни, къ задачамъ литературнаго слова, что замѣчалось какъ во многихъ произведеніяхъ беллетристики, такъ и въ относившихся къ нимъ критическихъ разборахъ. Въ беллетристикѣ въ эту пору получилъ сильное развитіе типъ великосвѣтскаго романа, въ ущербъ изображенію жизни другихъ слоевъ современнаго общества. Главными представителями этого романа были Вонлярлярскій, Евгенія Туръ и графиня Растопчина. Въ литературѣ еще встрѣчались дѣйствующія лица, отличавшіяся характеромъ разочарованія, унаслѣдованнаго отъ лермонтовскаго Печорина. Но, съ другой стороны, мы видимъ рядъ крупныхъ произведеній, принадлежавшихъ нашимъ лучшимъ писателямъ, каковы: Тургеневъ, графъ Толстой, Григоровичъ, Писемскій, Островскій, и составлявшихъ противовѣсъ названному направленію.

Вонлярлярскій, обработывавшій велико-свѣтскій романъ, принадлежалъ въ свое время къ числу очень популярныхъ писателей. Его произведенія находили радушный пріемъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, „Современникѣ“ и „Библіотекѣ для чтенія“. Литературная дѣятельность Вонлярлярскаго продолжалась всего два года, но въ это короткое время онъ успѣлъ написать четыре романа, восемь повѣстей и нѣсколько драматическихъ піесъ. Такое обиліе объясняется отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что Вонлярлярскій не имѣлъ привычки тщательно обработывать свои произведенія. „Нѣкоторыя мелкія вещи онъ начиналъ и оканчивалъ въ теченіе одной ночи. Двухъ вечеровъ было достаточно, чтобы онъ создалъ двѣ драматическія пьесы: „Преферансъ съ табельками“ и „Графъ Дерби“. Въ этой торопливости и плодовитости сказывалось желаніе походить на Александра Дюма и въ этомъ отношеніи. Можно ли было ожидать чего-либо солиднаго и дѣльнаго отъ такого рода диллетантскаго творчества. Тѣмъ не менѣе, большимъ успѣхомъ пользовались въ

свое время такіе романы его, какъ: „Силуэтъ“, „Ночь на 28 сентября“, „Магистръ“, „Двѣ сестры“, „Сосѣдъ“, „Большая Барыня“ и масса мелкихъ вещей, которыя печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ „Современникѣ“, въ „Библіотекѣ для чтенія“ и проч. Но такова была легковѣсность всѣхъ этихъ произведеній, что отъ нихъ, какъ отъ блестящаго фейерверка, не осталось и слѣда, и въ настоящее время врядъ ли отыщется грамотный человѣкъ, который былъ бы знакомъ хотя бы съ однимъ романомъ Вонлярлярскаго“. (*)

Съ живымъ интересомъ читались въ свое время и повѣсти Евгеніи Туръ, къ которымъ принадлежали: „Очагъ“, „Первое апрѣля“, „Двѣ сестры“, „Чужая душа потемки“, „Заколдованный кругъ“, „Старушка“. Изъ ея романовъ извѣстны „Племянница“ и „Три поры жизни“. Особенно сильный интересъ былъ возбужденъ первымъ изъ нихъ, хотя художественныя его достоинства не велики. Къ изображаемымъ явленіямъ, взятымъ изъ великосвѣтской жизни, авторъ относится безъ строгой критики и увлекается внѣшнимъ лоскомъ названныхъ явленій. Въ изображеніи главнаго героя романа, князя Чельскаго, видно вліяніе лермонтовскаго Печорина. Къ группѣ писателей, изображавшихъ великосвѣтскую жизнь, принадлежала и графиня Растопчина. Ея произведенія, не представляющія ничего замѣчательнаго ни въ идейномъ, ни въ художественномъ отношеніи, помѣщались въ разлачныхъ журналахъ, и между ними значительнымъ успѣхомъ пользовался романъ „Счастливая женщина“, напечатанный въ 1852 г. въ журналѣ „Москвитянинъ“.

Во многихъ романахъ и повѣстяхъ 50 годовъ еще чувствовалось вліяніе, сообщенное русской беллетристикѣ романомъ Лермонтова „Герой нашего времени“. Къ разряду такихъ произведеній, между прочимъ, принадлежалъ романъ Авдѣева „Тамаринъ“, появившійся въ отдѣльномъ изданіи въ 1852 г. Въ его составъ вошли три повѣсти: „Варенька“, „Записки Тамарина“ и „Ивановъ“, напечатанныя въ „Современникѣ“ 1849, 50 и 51 годовъ. Эти повѣсти имѣли большой успѣхъ и поставили автора въ ряду выдающихся современ-

(*) „Исторія новѣйшей русской литературы“ Скабичевскаго, 2-е изданіе, стр. 16—17.

ныхъ писателей. Герой романа „Тамаринъ“ является разновидностью Печорина. „Какъ извѣстно, печоринство съ заразительною быстротою распространилось по селамъ и весямъ нашего отечества. Слабохарактернымъ людямъ всегда нравятся люди сильные волею, хотя бы эта воля была и злая. Вотъ почему обаяніе Печорина было такъ огромно, и вотъ почему сразу проявилось столько печоринствующихъ россіянъ, которые, какъ всякое подражаніе, довольно слабо напоминали лермонтовскій прототипъ. Въ своей трилогіи Авдѣевъ задался цѣлью изобразить такого провинціальнаго Печорина. Самъ Печоринъ долженъ былъ дѣйствительно быть очень недюжиннымъ человѣкомъ, чтобы сдѣлать популярнымъ свой типъ. Тамарину же былъ прочищенъ путь и оставалось только держать себя съ тактомъ и не ронять своего достоинства какими-нибудь очень уже скверными вещами. Общество было такъ настроено, что стоило только Тамарину отпускать язвительныя замѣчанія, хорошо одѣваться и обладать интересною блѣдностью, чтобы пріобрѣсть названіе демона. Настоящій демонизмъ, по крайней мѣрѣ, ищетъ сильныхъ ощущеній, ѣдетъ на Кавказъ и погибаетъ въ цвѣтѣ лѣтъ. Тамаринъ же пожираетъ сердца и больше ничего. Заслуга Авдѣева заключается въ томъ, что онъ выставилъ внутреннюю мелочь господъ Тамариныхъ, показалъ всю непривлекательность ничтожнаго по существу самолюбія ихъ, ихъ эгоизмъ и пошловатое самодовольствіе, а главное показалъ, чѣмъ кончаютъ разные губернскіе демоны, если ихъ не убьетъ какая-нибудь романическая черкесская пуля и имъ приходится встрѣчаться съ новымъ потокомъ жизни. Авторъ заставляетъ начинающаго старѣться Тамарина подвести итогъ своей жизни и въ результатѣ сказывается почти круглый нуль. Хорошо прожитая молодость даетъ нравственный фондъ для пожилыхъ лѣтъ, а Тамарину осталось одно сознаніе безполезно потраченныхъ силъ“. (*) Совершенно другимъ характеромъ отличается выведенный въ томъ же романѣ чиновникъ Ивановъ, человѣкъ, которому присущи общественныя тенденціи. Онъ, безъ рисовки и громкихъ фразъ, стремится приносить посильную пользу обществу. Онъ не можетъ всецѣло отдаться

(*) Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ, Венгерова, I, стр. 49—50.

личнымъ интересамъ, которые поглощали все существованіе Тамарина. Это уже новый типъ, который окончательно выяснился въ литературѣ въ 60-хъ годахъ. Изъ другихъ произведеній Авдѣева, явившихся въ первой половинѣ 50-хъ годовъ, можно назвать талантливо написанныя повѣсти: „Ясные дни“, „Горы“, „Нынѣшняя любовь“, „Огненный змѣй“, „Деревенскій визитъ“ и „Порядочный человѣкъ“.

Кромѣ романовъ Авдѣева, лермонтовское вліяніе замѣтно было въ произведеніяхъ Дружинина, Желчужникова и нѣкоторыхъ другихъ, менѣе извѣстныхъ писателей. Къ категоріи такихъ произведеній принадлежитъ, напримѣръ, разсказъ Дружинина „Пѣвица“. У писателей болѣе или менѣе талантливыхъ и наблюдательныхъ печоринство ихъ героевъ имѣло почву въ дѣйствительности, но у писателей, лишенныхъ наблюдательности, оно превращалось въ полнѣйшій абсурдъ, въ призраки разстроеннаго воображенія, которые не имѣли ничего общаго съ живою дѣйствительностью. Повѣсти съ такимъ характеромъ существовали главнымъ образомъ въ 40-хъ годахъ, но появлялись онѣ еще и въ 50-хъ.

Первая половина 50-хъ годовъ не была временемъ исключительнаго господства въ литературѣ великосвѣтскихъ героевъ и Печориныхъ новой окраски; въ ней изображались и другіе типы, въ ней было и другое, болѣе богатое содержаніе. Такимъ богатымъ содержаніемъ, при высокой художественности изложенія, отличались произведенія лучшихъ нашихъ писателей: графа Толстого, Тургенева, Писемскаго, Григоровича, Островскаго. Они составляли лучшее украшеніе русской литературы названнаго времени. Между ними одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаютъ „Дѣтство“ и „Отрочество“ Толстого. Въ нихъ авторъ проявилъ замѣчательное искусство въ изображеніи различныхъ сторонъ дѣтской души, что для своего времени было явленіемъ вполнѣ оригинальнымъ. Впослѣдствіи стремленіе къ изображенію названныхъ явленій мы замѣчаемъ у Гончарова въ „Обломовѣ“ и въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ у Достоевскаго. Но здѣсь душевный дѣтскій міръ, при всѣмъ искусствѣ изображенія, представляетъ нѣчто отрывочное и имѣетъ значеніе второстепенное. У Толстого въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ изображеніе дѣтскихъ годовъ имѣетъ значеніе самостоятельное. „На своемъ

Николенькѣ онъ прослѣдилъ ростъ молодой жизни самой по себѣ, не только въ видѣ постороннихъ воздѣйствій, но во всей цѣлости внутренняго дѣтскаго міра, со всѣми его помыслами, ощущеніями и тревогами. Толстой не смотритъ на своего героя только со стороны, какъ дѣлаютъ это другіе писатели,—онъ становится на его мѣсто и говоритъ прямо отъ его имени. Въ „Дѣтствѣ“ несомнѣнно заключается автобіографическій матеріалъ, если не въ самой фабулѣ, то въ картинѣ внутренняго психологическаго развитія героя. Тонкій анализъ движеній его души Толстой могъ почерпнуть только изъ самого себя, хотя бы онъ и придумалъ весь внѣшній ходъ разсказа и являющихся въ немъ прочихъ лицъ. Первое его произведеніе было въ то же время и первымъ художественнымъ изображеніемъ дѣтства. Неудивительно, что оно дало ему сразу громкую извѣстность“. (*) Въ „Дѣтствѣ“ и „Отрочествѣ“ Толстой проявилъ тѣ особенности своего таланта, которыя присущи и всѣмъ послѣдующимъ его произведеніямъ. Это, во-первыхъ, чрезвычайно тонкій и подробный анализъ внѣшнихъ психическихъ проявленій, а во-вторыхъ—выраженіе сочувствія къ лицамъ независимо отъ ихъ внѣшняго положенія. Первое объясняется необыкновенною памятью впечатлѣній. „Толстой помнитъ всѣ жизненные процессы такъ счастливо, что вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности по-секундно, какъ если бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались, по его волѣ, передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ всѣ необходимыя ему подробности. Понятно поэтому, что, поставленный лицомъ къ лицу съ этой волшебной, ярко вспыхнувшей картиной, въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можетъ, такъ сказать, творить минувшую дѣйствительность во второмъ экземплярѣ, безъ всякой фальши, порождаемой забвеніемъ характерныхъ частностей событія или, наоборотъ,—вызываемой ложною окраскою, произвольными ретушами того, что́ когда-то было такъ просто и что́ невольно кажется изъ отдаленія чѣмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ

(*) К. Головинъ. „Русскій романъ и русское общество“. С.-П.-Б. 1897 г., стр. 131.

своемъ отношеніи къ нѣкогда пережитому событію смѣшиваетъ впечатлѣнія прошлаго и переноситъ чувства, навѣянныя однимъ событіемъ, на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное, смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ перспективы прошлаго". (*) Изображая крупное, Толстой не забываетъ изображать и мелочное, если оно примѣшивается къ первому, такъ какъ онъ хорошо знаетъ, что часто позади самыхъ благородныхъ побужденій скрывается что-нибудь мелкое, грубое, тривіальное. Такъ, изображая всю тяжесть и искренность горя Николеньки у гроба матери, Толстой не скрылъ и тѣхъ разнообразныхъ мыслей, которыя роились при этомъ въ головѣ его героя и ничего общаго съ названнымъ горемъ не имѣли. На ряду съ упомянутымъ искусствомъ психологическаго анализа, Толстой въ „Дѣтствѣ" и „Отрочествѣ" проявилъ большое мастерство и въ изображеніи различныхъ явленій природы, въ чемъ также громадную услугу оказала ему необыкновенно живая и устойчивая память впечатлѣній.

Къ произведеніямъ графа Толстого, появившимся въ первой половинѣ 50-хъ годовъ, принадлежитъ и повѣсть „Утро помѣщика". Въ ней также автобіографическій элементъ развитъ въ значительной степени. Въ 1847 г. Л. Н., когда старшіе братья, окончивъ курсъ, уѣхали изъ Казани,—вышелъ изъ университета и поселился въ своемъ имѣніи Ясная Поляна, гдѣ прожилъ до 1851 г. Деревенская жизнь этой поры и отразилась въ названной повѣсти знаменитаго писателя. По признанію графа Толстого, онъ вышелъ изъ университета, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствовалъ, что рожденъ для нея. Онъ считалъ своей священной обязанностью заботиться о счастьи своихъ крестьянъ, за которыхъ долженъ былъ, по его искреннему убѣжденію, отвѣчать Богу. „Не грѣхъ ли, писалъ онъ, покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ-за плановъ наслажденія и честолюбія? и зачѣмъ искать

(*) С. А. Андреевскій. „Литературныя чтенія", изд. второе, С.-П.-Б. 1891 г., стр. 254—255.

въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается блестящая и ближайшая обязанность. Я пошелъ по совершенно особенной дорогѣ, но которая хороша и, я чувствую, приведетъ меня къ счастью". Это-то настроеніе автора и отразилось въ повѣсти „Утро помѣщика". Герой повѣсти помѣщикъ Нехлюдовъ всецѣло подчиненъ думѣ о своихъ обязанностяхъ передъ родиной и крѣпостными людьми. Онъ искренно расположенъ оказывать благодѣянія своимъ крестьянамъ, помогать имъ въ ихъ нуждахъ, но не встрѣчаетъ съ ихъ стороны сочувствія и благодарности, вслѣдствіе чего невольно поддается чувству разочарованія. Нехлюдову пришлось бороться, съ одной стороны, съ невѣжествомъ крестьянъ, а съ другой—съ тѣми препятствіями, которыя были соединены съ условіями крѣпостного права, содѣйствовавшаго развитію недовѣрія въ крестьянахъ. Тѣмъ не менѣе, причины неуспѣха филантропической дѣятельности Нехлюдова не вездѣ мотивированы съ достаточною ясностью. „Что Нехлюдова сплошь и рядомъ обманываютъ, что крестьяне съ непривычки озадачены его участіемъ къ ихъ судьбѣ, что онъ дѣлалъ зачастую промахи вслѣдствіе незнакомства съ ихъ бытомъ,—все это несомнѣнно и не могло не случиться. Но чтобы богатый помѣщикъ не могъ при крѣпостномъ правѣ поднять благосостоянія своихъ крестьянъ, расширивъ ихъ поля, отпустивъ имъ лѣсъ на новыя избы, прикупивъ имъ лошадей,—это явная натяжка, свидѣтельствующая лишь о томъ, что въ 1852 году самъ авторъ былъ недостаточно знакомъ съ народнымъ бытомъ". (*)

Въ числѣ первыхъ произведеній графа Толстого мы встрѣчаемъ разсказы, въ которыхъ онъ останавливается на вопросѣ о смерти, имѣющемъ у него такое выдающееся значеніе. Сюда относятся разсказъ „Набѣгъ" и „Севастопольскіе очерки". Въ первомъ молодой кавказскій офицеръ, идущій въ первое сраженіе какъ на праздникъ, вдругъ, среди пылкихъ мечтаній о славѣ, наталкивается на смерть, какъ на нее натолкнулся въ пылу увлеченія Петръ Ростовъ. Такое сопоставленіе человѣческихъ стремленій съ неожиданно разрушающей ихъ смертью, сопоставленіе, приводящее на память слова Державина: „Сегодня льститъ надежда лестна,

(*) К. Головинъ. „Русскій романъ и русское общество", стр. 137.

а завтра гдѣ ты человѣкъ!“ является любимымъ философскихъ мотивомъ въ произведеніяхъ Толстого, начиная съ первыхъ произведеній и кончая разсказомъ „Хозяинъ и работникъ.“ Но если въ „Набѣгѣ“ изображается единичная смерть, то въ Севастопольскихъ очеркахъ рисуется гибель людей громадными массами. И въ этой гибели великъ тотъ, кто просто, безъ рисовки, съ смиреніемъ встрѣчаетъ неумолимую смерть. „Толстой первый заглянулъ въ душу стараго дореформеннаго солдата и первый создалъ его типъ или, вѣрнѣе, цѣлую галлерею типовъ, теперь уже родныхъ и близкихъ каждому русскому читателю. Въ жизни полной самоотреченія, невыносимой тяготы и лишеній, почти нечеловѣческихъ, жизни безъ тѣни личнаго счастья, безъ семьи, безъ будущаго, съ вѣчнымъ поднятымъ надъ головой обухомъ, съ неуходящимъ ни на шагъ призракомъ смерти— Толстой учуялъ что-то таинственное, прекрасное и чистое какъ звѣзда на небѣ. И онъ склонился передъ этимъ, и вѣра въ народъ утвердилась въ его сердцѣ разъ на всю жизнь. Какъ ни мѣнялось впослѣдствіи міросозерцаніе Толстого, какъ ни глубоко погружался онъ въ безнадежное отрицаніе—эта вѣра спасала его и вызывала послѣ каждаго паденія къ новой жизни, новой работѣ“. (*) Сравнивая Севастопольскіе очерки съ военными картинами Верещагина, Головинъ говоритъ, что Верещагинъ, рисуя ужасы войны, отнимаетъ у нея всю идеальную сторону, у Толстого же изъ-за физически ужаснаго всегда просвѣчиваетъ нравственная высота; только высоту эту онъ понимаетъ не въ смыслѣ отваги и блеска выдающагося подвига, а видитъ ее въ безсознательномъ смиреніи тѣхъ офицеровъ и солдатъ, которые совершенно просто исполняютъ свой долгъ, не подозрѣвая даже, что въ этомъ есть что-то великое. По замѣчанію Скабичевскаго, Севастопольскіе очерки „представляютъ первое вполнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ; послѣднія изображаются здѣсь во всей своей прозаичности, такъ, какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ ореола бранныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ

(*) „Л. Н. Толстой“. Біографическій очеркъ. Е.Соловьева, изд. Павленкова. С.-П.-Б. 1894 г., стр. 56—57.

разсказахъ хвастливыхъ очевидцевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашей литературы". (*)

Въ дѣятельности Тургенева названная нами пора замѣчательна появленіемъ „Записокъ охотника", вышедшихъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1852 г. Онѣ были встрѣчены публикой съ неподдѣльнымъ восторгомъ, замѣтившей въ авторѣ огромный художественный талантъ. „Записки" Тургенева какъ бы служили дополненіемъ къ „Мертвымъ душамъ" Гоголя: Гоголь охарактеризовалъ преимущественно помѣщичью среду, Тургеневъ—крестьянскую, въ ея отношеніяхъ къ первой, обнаруживая къ ней при этомъ самое искренее участіе. Тургеневъ выставлялъ заурядныя явленія крѣпостной поры, не прибѣгая къ исключительнымъ случаямъ. „Но въ томъ именно и заключалось неотразимая сила этихъ, какъ бы лишенныхъ всякой умышленности, просто правдивыхъ записокъ, что онѣ не только не преувеличивали дѣйствительности, не приправляли воспроизведенія ея никакими возгласами и не выкапывали различныхъ ужасовъ изъ уголовныхъ архивовъ, но, можно сказать, съ совершенно эпическою невозмутимостью отражали все то, что̀ встрѣчалось само собою на каждомъ шагу, и что̀ уже само по себѣ, сведенное въ одинъ сборникъ, подавало достаточный поводъ къ тяжелымъ думамъ". (**) Крестьянскіе типы изображались въ „Запискахъ" съ полною правдивостью, тогда какъ у другихъ писателей, даже у Пушкина и Гоголя, они „являлись то въ видѣ безразличнаго опернаго хора, то въ видѣ балетныхъ пейзанъ, то въ качествѣ аксессуарныхъ комическихъ лицъ". Своими охотничьими разсказами Тургеневъ создалъ особую литературную форму, такъ называемый эскизный очеркъ, получившій потомъ широкое распространеніе въ нашей литературѣ. Въ своихъ очеркахъ онъ изображалъ и природу, приводя ея явленія въ строгую гармонію съ различными проявленіями человѣческаго духа. Онъ бралъ изъ явленій природы только то, что̀ строго соотвѣтствовало изображаемому предмету. Къ достоинствамъ разсказовъ Тургенева относится и то, что онъ является въ нихъ безпристрастнымъ изобрази-

(*) Исторія новѣйшей русской литературы, изд. 2-е. С.-П.-Б. 1893 г., стр. 142.

(**) О. Миллеръ. „Русскіе писатели послѣ Гоголя". С.-П.-Б. 1887 г., стр. 10.

телемъ какъ крестьянской, такъ и помѣщичьей среды. Онъ не захватываетъ всѣхъ сторонъ первой, но въ сферѣ избранныхъ явленій жизни онъ сохраняетъ полное безпристрастіе, проявляя его и въ изображеніяхъ помѣщичьяго быта. Въ своихъ „Запискахъ“ Тургеневъ ратовалъ не противъ отдѣльныхъ личностей, но противъ тѣхъ ненормальныхъ отношеній, которыя были неразрывно связаны съ существованіемъ крѣпостного права. Лучшей похвалой названному произведенію служитъ слѣдующее замѣчательное обстоятельство. „Императоръ-Освободитель, тогда еще Наслѣдникъ престола, говоритъ В. Острогорскій,—считалъ „Записки“ своей любимой книгой и, какъ самъ говорилъ покойному писателю, прочтя ее, положилъ даровать Россіи желанную свободу. Такимъ образомъ, эта книга воочію показала весь вредъ рабства и для крестьянъ, и для помѣщиковъ, и способствовала освобожденію крестьянъ“.

Въ первой половинѣ 50 годовъ видное положеніе въ литературѣ занялъ Писемскій. Въ это время въ различныхъ журналахъ явились слѣдующія его произведенія: „Комикъ“, „Ипохондрикъ“, „Богатый женихъ“, „Бракъ по страсти“, „Питерщикъ“, „М-г Батмановъ“, „Лѣшій“, „Фанфаронъ“, „Ветеранъ и новобранецъ“, „Плотничья артель“ и „Раздѣлъ“. Одинъ изъ лучшихъ критиковъ названнаго времени, А. Григорьевъ, разбирая нѣкоторыя произведенія Писемскаго, назвалъ его писателемъ съ самымъ яркимъ, самобытнымъ и крѣпкимъ дарованіемъ, которому недоставало только глубины и идеальнаго міросозерцанія, чтобы имѣть на литературу самое сильное вліяніе. Писемскій въ своихъ произведеніяхъ, какъ, напримѣръ, въ „Тюфякѣ“ и „Бракѣ по страсти“, стремился къ разоблаченію всего аффектированнаго въ страстяхъ человѣческихъ, всего фальшиваго въ явленіяхъ дѣйствительности, но при этой почтенной задачѣ, къ сожалѣнію, не былъ проникнутъ высшимъ отношеніемъ къ дѣйствительности, какое замѣчалось у его великаго учителя Гоголя. Такимъ образомъ, у Писемскаго, при всей силѣ его таланта, не было опредѣленнаго и вмѣстѣ идеальнаго міросозерцанія, не было твердой точки опоры при изображеніи отрицательныхъ сторонъ жизни, что придавало обличенію характеръ какого-то безразличнаго равнодушія. Въ

„Библіотекѣ для чтенія“ за 1859 г., гдѣ была помѣщена обстоятельная характеристика таланта Писемскаго, между прочимъ, было замѣчено о немъ слѣдующее: „Въ лучшихъ трудахъ Писемскаго напрасно станемъ мы искать идеальныхъ сторонъ, тонкаго психологическаго анализа, поэтическаго воспроизведенія высокихъ страданій и высокихъ радостей. У него все просто и подчасъ жестко, какъ жестка дѣловая дѣйствительность. Его герои мало занимаются любовью, рѣдко думаютъ о глубокихъ вопросахъ, набѣгающихъ на душу людей избранныхъ и богато одаренныхъ: для всего этого у нихъ много своей насущной заботы. Имъ некогда жить внутренними ощущеніями и созерцаніями. Каждый изъ нихъ или хлопочетъ о средствахъ жизни, или думаетъ, какъ бы поискуснѣе выполнить обязанность, взятую по службѣ, или ищетъ жениться повыгоднѣе, или, за неимѣніемъ дѣла, какъ бы кутнуть до помраченія разсудка. Подобное направленіе можетъ имѣть свои слабыя стороны, когда дѣло идетъ о лицахъ изъ общества развитого и, стало быть, не всегда подходящихъ къ практической мѣркѣ нашего автора, но оно превосходно въ примѣненіи къ дѣйствующимъ лицамъ изъ простого, трудового званія. Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ объясняется все значеніе Писемскаго, какъ наблюдателя и воспроизводителя народныхъ нравовъ. Его „Питерщикъ“, „Плотничья артель“ и „Старая барыня“ рѣшительно нанесли смертельный ударъ псевдо-народной литературѣ. Мужицкая идиллія, которой много лѣтъ увлекались самыя разумныя головы, стала у насъ положительной невозможностью, и заслугу эту мы прямо относимъ къ трудамъ г. Писемскаго“.

Григоровичъ, уже въ 40-хъ годахъ получившій большую извѣстность какъ авторъ повѣстей „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“, въ названное время расширилъ ее и окончательно утвердилъ романами „Переселенцы“ и „Рыбаки“. И здѣсь онъ обнаружилъ благородную тенденцію и короткое знакомство съ народной средой, при чемъ надо замѣтить, что второстепенныя лица въ названныхъ произведеніяхъ вышли болѣе удачными, чѣмъ главныя. Первыя являются со всѣми признаками той среды, которую взялся изобразить авторъ, вполнѣ русскими, типичными мужиками, вторыя, особенно

тамъ, гдѣ примѣшалась любовная интрига, сильно напоминаютъ сентиментальныхъ крестьянъ прежнихъ французскихъ романовъ. Влюбленные герои и героини изъ крестьянской среды въ своихъ чувствахъ любви, ревности, страданія и великодушія повторяютъ то же самое, что совершалось въ многочисленныхъ романахъ, разыгрывавшихся въ помѣщичьихъ усадьбахъ. Въ описательной части своихъ произведеній Григоровичъ обнаруживаетъ большое мастерство. Картины природы удаются ему какъ не многимъ. Ихъ поэтическая прелесть была однимъ изъ существенныхъ условій успѣха литературныхъ произведеній Григоровича. Сочувствіе всему доброму, гуманному и благородному также составляло выдающуюся черту въ нихъ и несомнѣнно оказывало благотворное вліяніе на читателей, въ то время какъ поэтическія описанія природы содѣйствовали развитію въ нихъ эстетическаго чувства.

Въ то время какъ эпосъ въ названную пору имѣлъ такихъ крупныхъ представителей, какъ графъ Толстой, Тургеневъ, Писемскій, Григоровичъ, драматическая поэзія обнаруживала свой новый расцвѣтъ въ произведеніяхъ Островскаго. Первымъ крупнымъ его произведеніемъ, имѣвшимъ выдающійся успѣхъ, была комедія „Свои люди—сочтёмся“ напечатанная въ „Москвитянинѣ“ 1850 года. Эта комедія сразу дала Островскому мѣсто среди лучшихъ современныхъ писателей и вызвала рядъ рецензій, сходившихся въ томъ, что пьеса представляетъ замѣчательное литературное явленіе. Успѣхъ комедіи превзошелъ ожиданія автора и вызвалъ въ скоромъ времени рядъ новыхъ произведеній, къ которымъ относились комедіи: „Бѣдная невѣста“, „Не въ свои сани не садись“, „Бѣдность не порокъ“, „Не такъ живи, какъ хочется“. Этими комедіями Островскій создалъ народный театръ въ Россіи. Онѣ оживили сцену новымъ, богатымъ содержаніемъ, раскрыли передъ зрителями новый, самобытный міръ, создали цѣлый рядъ новыхъ художественныхъ типовъ, правдиво и ярко изобразили множество драматическихъ моментовъ и дали цѣлый рядъ сценъ, проникнутыхъ живымъ неподдѣльнымъ, гоголевскимъ юморомъ. Не смотря на это далеко не всѣ критики отнеслись сочувственно къ новому слову въ драматической поэзіи и нѣкоторые изъ нихъ ут-

мѣли осыпать порицаніями то, что заслуживало полной похвалы. Такъ, они находили, что Бородкинъ и Русаковъ лица невозможныя, что Любимъ Торцовъ не больше какъ только пьяница, что языкъ въ комедіяхъ Островскаго представляетъ крупные недостатки, что это какой-то *жаргонъ* и т. д. Эти критики были недовольны самымъ бытомъ, который изображался въ произведеніяхъ Островскаго. Лучше и глубже всѣхъ современныхъ критиковъ понялъ Островскаго А. Григорьевъ. „Въ Островскомъ, говоритъ Страховъ,—онъ первый указалъ *новое слово* нашей литературы и постоянно съ величайшимъ жаромъ истолковывалъ это слово читателямъ, доказывая, что Островскій не простой продолжатель Гоголя, не чисто-отрицательный поэтъ, а напротивъ, поэтъ, который совершенно-просто подходитъ къ изображаемому имъ быту и выводитъ изъ него цѣлый рядъ новыхъ образовъ, и положительныхъ и отрицательныхъ, новыхъ вполнѣ-драматическихъ отношеній, новыхъ явленій русской души, не однихъ только смѣшныхъ и пошлыхъ, но и глубокихъ, и трогательныхъ и нѣжныхъ. Притомъ, всѣ эти образы—чисто-народные, и изображены съ небывалою вѣрностью языка и быта“. (*)

Въ пьесахъ Островскаго названнаго времени видно было вліяніе московскихъ славянофиловъ. Въ нихъ авторъ симпатизировалъ тому, что соотвѣтствовало основнымъ, исконнымъ началамъ русской жизни. Въ виду этого обстоятельства, московскіе критики, и во главѣ ихъ, А. Григорьевъ, относились съ большою похвалою къ произведеніямъ Островскаго, петербургскіе же, вѣрные традиціямъ западничества, не признавали заслугъ Островскаго, расходясь съ мнѣніемъ общества, восторженно встрѣчавшаго пьесы высоко даровитаго драматурга. Въ Москвѣ ихъ успѣху много содѣйствовала превосходная игра Садовскаго, тогда какъ въ Петербургѣ вредило холодное отношеніе къ „московскому свѣтилу“ большинства артистовъ, съ большимъ удовольствіемъ бравшихъ роли въ шаблонныхъ произведеніяхъ Кукольника. Но и въ Москвѣ было не мало лицъ, не только не сочувствовавшихъ произведеніямъ Островскаго, но даже относившихся къ нимъ прямо враждебно. Они принадлежали къ средѣ московскаго купечества, откуда Островскій бралъ свои безсмертные типы,

(*) Сочиненія А. Григорьева. С.-П.-Б. 1876 г., стр. VII.

Ихъ раздраженіе было такъ велико, что они подавали на правдиваго изобразителя ихъ нравовъ жалобы и старались мѣшать постановкѣ его пьесъ на сценѣ.

Всѣ лирическіе поэты, получившіе широкую извѣстность, въ названную пору уже заявляли о своемъ талантѣ плодами своего поэтическаго вдохновенія. Къ нимъ принадлежали: Хомяковъ, Тютчевъ, Майковъ, Некрасовъ, Полонскій, Фетъ, Жемчужниковъ, Мей, Щербина, Огаревъ, Никитинъ. Хомяковъ и Тютчевъ были старѣйшими между ними. Стихотворенія перваго были проникнуты горячимъ патріотизмомъ и весьма часто носили политическій оттѣнокъ. Въ нихъ онъ достигалъ иногда высокаго лиризма. Въ началѣ 1853 года, когда наступило тревожное время для Россіи, Хомяковъ, какъ бы желая поддержать мужество въ своихъ соотечественникахъ, выступилъ съ своими патріотическими стихотвореніями. „Какъ ни печальны были для насъ неудачи восточной войны, Хомякова ни на минуту не оставляла надежда на благопріятный исходъ—и торжественные звуки лились и сливались со стономъ, носившимся надъ залитыми русской кровью твердынями Севастополя“. Большою извѣстностью пользовался въ 50-хъ годахъ и Тютчевъ. Въ 1854 г. въ „Современникѣ“ Панаева и Некрасова были перепечатаны его стихотворенія, помѣщенныя въ „Современникѣ“ Пушкина и Плетнева за 1836—1840 года. Они были встрѣчены восторженными похвалами какъ со стороны критики, такъ и читающей публики. Тургеневъ въ своемъ отзывѣ о поэзіи Тютчева, помѣщенномъ въ „Современникѣ“ 1854 г., назвалъ его однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ поэтовъ, на которомъ лежитъ печать великой пушкинской эпохи. Тургеневъ указывалъ на тонкое, живое, вѣрное чувство природы въ произведеніяхъ Тютчева, на тонкій вкусъ, плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности.

Майковъ, начавшій свою литературную дѣятельность въ 40-хъ годахъ, въ 50-хъ уже пользовался большою извѣстностью. Въ 1855 г. были изданы отдѣльною книжкою 9 новыхъ его стихотвореній, въ числѣ которыхъ находилась извѣстная поэма „Клермонтскій соборъ“. Они были встрѣчены громкими похвалами со стороны какъ петербургскихъ, такъ и московскихъ журналовъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ Май-

ковъ отзывался, подобно Хомякову, на современныя политическія событія, храня убѣжденіе, что

Неполны воинскіе лавры
Безъ звона неподкупныхъ лиръ.

Критикъ 50-хъ годовъ А. Григорьевъ писалъ о Майковѣ, что ему чужда всякая фальшь, что онъ художническими чертами выражаетъ то, что поражаетъ его какъ художника и мыслителя, не обходя никакихъ вопросовъ современности, если они возбудятъ въ немъ живое, художническое сочувствіе.

Начало поэтической дѣятельности Некрасова относится къ 1838 г., когда въ „Сынѣ Отечества“ было напечатано его стихотвореніе „Мысль“. Ему тогда было всего 16 лѣтъ. Между тѣмъ въ 1840 г. уже вышелъ сборникъ его стихотвореній, подъ названіемъ „Мечты и Звуки“, въ которомъ Бѣлинскій не нашелъ ничего, кромѣ истертыхъ чувствованьицъ, общихъ мѣстъ и гладкихъ стишковъ. Вообще, до 50 годовъ Некрасовъ ничѣмъ не выдѣлялся изъ числа самыхъ заурядныхъ поэтовъ. Съ 1847 г., когда подъ его редакціею сталъ издаваться „Современникъ“, до 1850 года не было напечатано имъ въ этомъ журналѣ ни одного замѣчательнаго стихотворенія. Это было время гоненія на стихи, съ легкой руки „Отечественныхъ Записокъ“. Въ 1853 г. было напечатано въ „Современникѣ“ извѣстное стихотвореніе Некрасова „Блаженъ незлобивый поэтъ“, за которымъ слѣдовалъ рядъ другихъ его произведеній, доставившихъ ему громкую извѣстность. Сюда принадлежали стихотворенія: „Муза“, „Въ деревнѣ“, „Несжатая полоса“, „Забытая деревня“, „Власъ“, „Внимая ужасамъ войны“, „Замолкни, муза мести и печали“ и другія.

Полонскій, начавшій писать съ 1845 года, въ началѣ 50-хъ годовъ уже пользовался извѣстностью талантливаго поэта. Еще въ 1852 г. А. Григорьевъ писалъ, что у Полонскаго есть стихотворенія чрезвычайно задушевныя и мелодическія. По отзыву Чуйко, Полонскій былъ воспитанъ на традиціяхъ пушкинской школы. Онъ въ высокой степени развилъ въ себѣ чувство художественной формы. „По своему воспитанію и образованію принадлежавшій отчасти къ романтикамъ тридцатыхъ годовъ, Полонскій выработалъ въ себѣ направленіе гуманитарное; поставленный самою жизнью въ

невозможность сталкиваться часто съ народомъ, онъ не могъ быть представителемъ народной музы, въ томъ, по крайней мѣрѣ, смыслѣ, въ какомъ эту музу понималъ, напримѣръ, Некрасовъ. И Полонскій удовольствовался тѣмъ, что сдѣлался просто русскимъ поэтомъ,—въ болѣе широкомъ значеніи этого слова,—поэтомъ, для котораго „ничто человѣческое не чуждо“, поэтомъ психическихъ настроеній, нѣсколько туманныхъ идеаловъ, высокихъ душевныхъ стремленій“. (*) Не меньшею извѣстностью пользовался въ названное время и Фетъ. Когда въ 1850 году вышло 2 изданіе стихотвореній Фета, оно было встрѣчено рецензентами съ большимъ сочувствіемъ, не смотря на существовавшее въ то время гоненье на стихи. Въ „Современникѣ“ было сказано, что Фетъ имѣетъ истинный талантъ, который по своей внутренней силѣ могъ бы стать на ряду съ первоклассными поэтическими талантами, хотя эта сила не имѣетъ опредѣленнаго характера. Далѣе было замѣчено, что поэзія Фета отличается искренностью. У него „пѣсня складывается прежде, чѣмъ поэтъ думалъ о ней; она сама собой сливается у него съ губъ, какъ влага съ переполненнаго сосуда“. Фетъ откликался на всякій звукъ въ природѣ, приносила ли его теплая лѣтняя ночь, свѣжее весеннее утро, зимній вечеръ или знойный лѣтній день.

А. М. Жемчужниковъ выступилъ на литературное поприще въ 1850 г. Сперва онъ писалъ мало. По его признанію, ему казалось, что его стихи никому не нужны. Но поэтическій талантъ искалъ выхода, и въ теченіе первой половины 50-хъ годовъ Жемчужниковымъ были напечатаны слѣдующія стихотворенія: „Притча о сѣятеля и сѣменахъ“, „Верста на старой дорогѣ“, „Прощанье Іоанна съ Патмосомъ“, „Ужъ давно иду я, утомленный“, „Другу“, „Я музыку страстно люблю“, „Примиреніе“ и „На кладбищѣ“. Они были проникнуты правдивымъ, глубокимъ чувствомъ и обличали въ авторѣ умѣнье пользоваться поэтическою формою. Оригинальнымъ явленіемъ среди современныхъ поэтовъ былъ Мей, основательно знавшій языки: греческій, латинскій, древнееврейскій, французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и польскій, знакомство съ которыми обнаруживается въ его

(*) В. В. Чуйко. Современная русская поэзія. С.-П.-Б. 1885 г., стр. 12—13.

переводахъ. Въ стихотвореніяхъ Мея встрѣчались мотивы поэзіи народной, библейской, греческой, римской, новоевропейской. По словамъ Чуйко, Мей по натурѣ, призванію, стремленіямъ, строю ума, богатой фантазіи, былъ одинъ изъ настоящихъ, „заправскихъ“ поэтовъ, какихъ мало бывало на Руси, вообще, богатой поэтическими талантами; во многомъ онъ напоминалъ собою Виктора Гюго, по оригинальному поэтическому языку, по слабости къ поэтическимъ антитезамъ, по любви къ странно-живописнымъ выраженіямъ, заимствованнымъ, большею частью, изъ старорусскаго или народнаго языка, по необыкновенному богатству живописно-поэтической фантазіи, по страсти къ величію и величавости, по грандіозности картинъ и глубокому чувству пейзажа. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Мей часто писалъ безъ внутренняго побужденія, вслѣдствіе чего между его произведеніями встрѣчается не мало лишенныхъ поэтическаго достоинства. Все, что здѣсь сказано было о Меѣ, относится, конечно, ко всему теченію его поэтической дѣятельности, но и въ первой половинѣ 50-хъ годовъ главныя особенности его поэзіи уже обозначились въ его произведеніяхъ.

Значительнымъ талантомъ обладалъ поэтъ Щербина, но, къ сожалѣнію, онъ вращался преимущественно въ кругу древне-греческой жизни, отстраняясь отъ явленій, связанныхъ съ современной русской жизнью. Вслѣдствіе этого, А. Григорьевъ имѣлъ полное право сказать о Щербинѣ: „Мы не можемъ не упрекнуть его въ напряженности міросозерцанія, въ которой нельзя долго продержаться въ наше время, которая можетъ обратиться уже въ неискренность. Успѣхъ г. Щербины былъ блистательный, какъ успѣхъ всякаго сильнаго таланта, тронувшаго струну покинутую или еще не тронутую: самыя пародіи на его стихотворенія доказывали этотъ успѣхъ,—но мы сильно боимся за ту струну, которую тронулъ г. Щербина, по причинамъ выше нами объясненнымъ. Нельзя вѣчно „пожирать глазами“ неприкрытыя бѣлыя плечи, вѣчно восхищаться самому и заставлять другихъ восхищаться „дорической колонны красотой и простотой“, нельзя при всемъ талантѣ автора, при всей увлекающей читателя страстности его, относиться въ наше время къ жизни съ однимъ чувствомъ красоты“. (*) Еще бо́льшею талантливостью

(*) Сочиненія А. Григорьева, I т., стр. 104—105.

отличался Огаревъ. По словамъ Чуйко, со смерти Лермонтова, въ Россіи не было поэта (за исключеніемъ отчасти Некрасова), который бы такъ ярко, въ такой удивительно обаятельной поэтической формѣ выразилъ настроеніе своей эпохи и своего времени. Современный Огареву критикъ А. Григорьевъ указывалъ на искренность чувства и глубину мотивовъ въ его стихотвореніяхъ. Онъ называлъ Огарева поэтомъ тоски безконечно нѣжнаго сердца, разбитаго противорѣчіями дѣйствительности. Онъ, говоритъ А. Григорьевъ,— вспомнится вамъ во всякую скорбную минуту жизни, онъ пойдетъ съ вами рука объ руку въ ваше прошедшее, въ старый домъ, гдѣ вы жили когда-то, будетъ плакать съ вами и онъ же откликнется вамъ весенней порой.

Сильно развитымъ элементомъ народности отличались стихотворенія Никитина, и это давало имъ большую цѣну. Къ числу первыхъ его стихотвореній, давшихъ ему нѣкоторую извѣстность, были стихотворенія: „Русь", „Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный" и „Поле". Редакторъ „Воронежскихъ Вѣдомостей", напечатавъ стихотвореніе „Русь", принялъ въ молодомъ поэтѣ живое участіе, вслѣдствіе чего воронежское образованное общество радушно приняло послѣдняго въ свою среду. Это дало новыя силы поэту и вдохновило написать такія прекрасныя произведенія, какъ: „Жена ямщика", „Ночлегъ извощиковъ", „Зимняя ночь въ деревнѣ" и др. Никитинъ былъ искренній поэтъ, и нѣкоторыя его стихотворенія принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ русской лирической поэзіи. Описанія русской природы достигали у него иногда высокаго совершенства.

Знакомство съ произведеніями русской литературы первой половины 50-хъ годовъ показываетъ, что элементъ народности въ это время сталъ уже заявлять о себѣ съ значительною силою. Главными его представителями были Тургеневъ, Григоровичъ, Писемскій, Толстой и Островскій, а между лирическими поэтами Некрасовъ и Никитинъ. Но въ то же время въ лирикѣ въ сильной степени проявлялось служеніе чистому искусству, типичнѣйшимъ представителемъ котораго былъ Фетъ. Что касается критики названнаго времени, то о ней слѣдуетъ замѣтить, что она снизошла съ той высоты, на которую была поставлена Бѣлинскимъ. Главными

ея представителями были Анненковъ, Дружининъ и А. Григорьевъ. Первый изъ нихъ въ названное время держался принциповъ эстетической критики. Онъ далъ рядъ критическихъ статей о крупныхъ явленіяхъ современной литературы, но онѣ не представляютъ выдающихся достоинствъ. „Анненковъ, говоритъ Венгеровъ, писалъ вяло, потому что у него былъ вялый темпераментъ, онъ писалъ темно, потому что, помимо отсутствія литературнаго таланта, у него въ сущности не было и строго опредѣленнаго литературнаго и общественнаго міросозерцанія. Стоитъ, въ самомъ дѣлѣ, вчитаться сколько-нибудь внимательно въ его воспоминанія, чтобы тотчасъ убѣдиться, что имѣешь дѣло съ человѣкомъ типа „нельзя не признаться, но должно сознаться". Ни къ одному изъ кружковъ, въ которыхъ онъ вращался, онъ не принадлежалъ вполнѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ во всю свою жизнь ни съ кѣмъ и не расходился вполнѣ... Если онъ хвалитъ кого-нибудь, то никогда не безусловно, а всегда съ какою-нибудь оговоркою, если высказываетъ неодобреніе, то опять таки при этомъ отыскиваются какіе-нибудь такіе пункты, которые должны примирять съ порицаемымъ авторомъ или произведеніемъ". (*) Такимъ же отсутствіемъ руководящаго принципа отличались и критическія статьи Дружинина. Онъ всецѣло былъ преданъ культу красоты, поэзіи и не хотѣлъ знать никакихъ общественныхъ вопросовъ. Онъ держался того мнѣнія, что въ журналахъ не слѣдуетъ печатать повѣстей и разсказовъ изъ народной жизни, что „образованному читателю нисколько не интересно знать, что Ерема ѣстъ мякину, а Матрешка воетъ надъ павшей коровой". Дружининъ утверждалъ, что искусство должно смотрѣть на жизнь тихо, спокойно, радостно и отвращаться отъ грустныхъ картинъ дѣйствительности.

Шире понималъ задачи критики А. Григорьевъ. Онъ былъ представителемъ *органической* критики. Онъ видѣлъ въ искусствѣ не простое отраженіе жизни, а руководящій ея органъ, выраженіе идеала, которымъ управляется жизнь. Этотъ идеалъ долженъ носить національную окраску. Такимъ онъ является у Пушкина. Искренность, правдивость, простота, кротость, смиреніе, по взгляду А. Григорьева, отличительныя

(*) Венгеровъ. Критико-біографическій словарь, I, стр. 606.

черты русскаго идеальнаго типа. Кроткому типу онъ противополагалъ типъ хищный, являющійся плодомъ западныхъ вліяній. Изъ его критическихъ статей, относящихся къ первой половинѣ 50-хъ годовъ, особенно замѣчательны статьи объ Островскомъ и о русской литературѣ въ 1851—52 годахъ.

Журналистика названнаго времени представляла печальную картину упадка. По условіямъ времени, она не могла заниматься обсужденіемъ явленій общественной жизни, за исключеніемъ сферы искусства, и того, что теперь носитъ названіе публицистики и даетъ печати особенное значеніе, совсѣмъ не существовало. Направленіе въ журналѣ не считалось чѣмъ-нибудь существеннымъ, и періодическія изданія получили характеръ складочныхъ мѣстъ, куда можно было помѣщать самый разнообразный товаръ. „Вмѣсто живыхъ публицистическихъ статей,—журналы начали наполняться необъятно-длинными, сухими и спеціальнѣйшими учеными трактатами, мѣсто которыхъ не въ литературныхъ, а въ спеціальныхъ органахъ. Это называлось тогда придавать органу дѣловую и научную солидность. Наиболѣе тщеславились своею научностью „Отечественныя Записки“, на страницахъ которыхъ помѣщались такія ученѣйшія вещи, какъ: „Сибирскія лѣтописи XVI и XVII столѣтій“, „Филологическій разборъ перевода Жуковскаго Одиссеи“, съ приложеніемъ греческаго текста, „Разборъ латинскаго руководства Греча профессора Фрейтага“ и пр.“ (*) Въ отдѣлѣ критики получила широкое развитіе библіографія. Кропотливый разборъ мелочей сталъ заслонять собою существенные вопросы. Еще ниже журналовъ, по своей безцвѣтности, стояли газеты, между которыми самой распространенной была „Сѣверная Пчела“ Булгарина. Въ нихъ отсутствовали какъ передовыя статьи, такъ и политическія корреспонденціи. Пріѣздъ какой-нибудь знаменитой танцовщицы, въ родѣ Фанни Эльснеръ, былъ событіемъ, дававшимъ обильную пищу газетамъ. Многорѣчивыя описанія баловъ, маскарадовъ, концертовъ, масленичныхъ и вербныхъ гуляній появлялись въ обиліи не только на страницахъ газетъ, особенно „Сѣверной Пчелы“, но и журналовъ. Газеты получили новое значеніе только тогда, когда политическій горизонтъ омрачился, и надъ Севасто-

(*) Исторія новѣйшей литературы Скабичевскаго, изданіе 2, стр. 15.

полемъ нависли тяжелыя тучи, предвѣщавшія страшную грозу. Общество стало живо интересоваться извѣстіями о военныхъ событіяхъ, и дремавшее патріотическое чувство стало пробуждаться и широкой волной разливаться по безпредѣльному пространству Русской земли.

Изъ исторіи обороны Севастополя.

Двѣнадцать разъ луна мѣнялась,
Луна всходила въ небесахъ,
А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
Въ облитыхъ кровію стѣнахъ. (*)
Гр. Растопчина.

Началомъ Севастопольской эпопеи можно считать моментъ высадки непріятельскихъ войскъ близъ Евпаторіи. Это событіе произошло 2 сентября 1854 года. Еще ранѣе названной высадки, князь Меньшиковъ, которому была ввѣрена защита Севастополя, выступилъ съ 38,000 войска къ Евпаторіи. Дойдя до рѣки Альмы, онъ становился, избравъ крѣпкую позицію у села Бурлюка. Но главнокомандующій, избравъ выгодную мѣстность, не укрѣпилъ ее въ надлежащей мѣрѣ и, кромѣ того, сильно растянулъ свои войска. Въ строю у насъ находилось 42 батальона, 16 эскадроновъ, 11 сотенъ казаковъ и 10 батарей, съ 100 орудій. 8 сентября, по случаю праздника, былъ отслуженъ во всѣхъ полкахъ молебенъ. Въ 11 часовъ непріятель приблизился—и началась атака. Движеніе непріятельскихъ отрядовъ можно было наблюдать съ нашей позиціи весьма удобно, за исключеніемъ дивизіи Боске, которая шла по берегу моря, прикрываясь холмами, что дало ей возможность незамѣтно подняться на высоты. Такимъ образомъ, непріятель обошелъ насъ съ лѣваго фланга. „Четыре французскихъ дивизіи атаковали нашъ лѣвый флангъ; вслѣдствіе численнаго перевѣса, превосходства французскихъ штуцеровъ предъ нашими ружьями, а главное вслѣдствіе страшныхъ потерь, произведенныхъ бомбами и гранатами, посылаемыми съ непріятельскихъ кораблей во флангъ нашихъ войскъ, наши отступили; когда же

(*) Эти строчки служатъ надписью на памятникѣ Нахимову, поставленномъ знаменитому герою въ Севастополѣ въ 1898 г.

русскія войска, получивъ подкрѣпленіе, перешли къ атакѣ, то французы уклонились отъ боя, но получивъ, по распоряженію французскаго главнокомандующаго Сентъ-Арно, подкрѣпленія, вновь вступили въ бой. Русскіе полки, потерявъ въ немъ почти всѣхъ полковыхъ и баталіонныхъ командировъ, почти всѣхъ офицеровъ и болѣе половины людей, отступивъ на Севастопольскую дорогу, выстроились въ порядкѣ и, отбивъ всѣ дальнѣйшія атаки французовъ, дали время отступить нашимъ войскамъ, составлявшимъ центръ и правый флангъ, которому пришлось вести страшно упорный бой съ англичанами; но и здѣсь потеря полковыхъ командировъ и офицеровъ и болѣе половины людей, а въ артиллеріи всей прислуги и половины лошадей, тоже принудила къ отступленію наши войска, и хотя атака въ штыки полкомъ Владимірскимъ заставила англичанъ обратиться въ бѣгство, но свѣжія подкрѣпленія, присланныя англійскимъ главнокомандующимъ, несмотря на стойкость и хладнокровіе нашихъ войскъ, подавивъ ихъ численностью, принудили къ отступленію". (*)

Описывая сраженіе при Альмѣ, генералъ-адъютантъ Хрущевъ въ своей „Исторіи обороны Севастополя" говоритъ, что князю Меньшикову не слѣдовало вступать въ бой, не имѣя точныхъ свѣдѣній о силахъ и средствахъ союзниковъ и зная, что французскія войска пріобрѣли большой навыкъ въ военномъ дѣлѣ въ Африкѣ и имѣютъ весьма опытныхъ генераловъ. (**)

Въ названномъ сраженіи изъ нашихъ генераловъ были ранены: Квицинскій, Любимовъ, Куртьяновъ, Щелкановъ и Гогиновъ. Послѣдніе, оставшись на полѣ сраженія, были взяты въ плѣнъ и умерли въ Константинополѣ. Убитыхъ и раненыхъ офицеровъ насчитывалось до 200.

Во время отсутствія князя Меньшикова, направившагося къ Альмѣ, вице-адмиралъ Корниловъ, оставшійся въ Севастополѣ, созвалъ военный совѣтъ, на которомъ герой Синопа неустрашимый Нахимовъ и вице-адмиралъ Истоминъ предложили сжечь непріятельскій флотъ и потомъ возвра-

(*) Историческій очеркъ жизни и царствованія Императора Александра II, А. П. Сафонова, стр. 17.

(**) Исторія обороны Севастополя, записки генералъ-адъютанта А. П. Хрущова, изд. второе, стр. 17 и 18.

титься въ Севастополь или же пасть героями въ отважномъ бою. Эта отважная мысль нашла сочувствіе среди молодыхъ офицеровъ, но не была одобрена большинствомъ членовъ совѣта, такъ какъ въ случаѣ неудачи предпріятія паденіе Севастополя было бы неизбѣжно. Вмѣсто нападенія, рѣшено было немедленно приступить къ усиленному укрѣпленію Севастополя. Работа закипѣла. Всѣ приняли въ ней горячее участіе, не исключая женщинъ и дѣтей. „Копали рвы, насыпали валы, возили хворостъ, за недостаткомъ тачекъ, женщины и дѣти носили землю въ мѣшкахъ, даже прямо въ подолахъ платья. Управленіемъ хода работъ завѣдывалъ подполковникъ Тотлебенъ, и подъ его руководствомъ сдѣланы были чудеса: вся сѣверная часть города въ шесть дней была обнесена валомъ и рвомъ, а въ амбразурахъ были поставлены пушки". (*) Возвратившійся князь Меньшиковъ приказалъ затопить старые корабли, чтобы заградить для непріятеля входъ въ гавань, поручивъ это дѣло Корнилову, который, на сдѣланное ему порученіе, отвѣчалъ, что онъ не можетъ принять на себя исполненіе названной мѣры, считая ее самоубійствомъ.—„Ну, такъ отправляйтесь въ Николаевъ, замѣтилъ на это Меньшиковъ:—„а я поручу это Станюковичу". Корниловъ не захотѣлъ оставить Севастополь и исполнилъ волю начальника.

Бомбардировка Севастополя началась 5 октября. Непріятель открылъ огонь со всѣхъ батарей. Въ то же время союзный флотъ громилъ приморскія укрѣпленія изъ 1,500 орудій. „Свѣтъ померкъ отъ пороховаго дыма", говоритъ въ своихъ „Запискахъ" севастопольскій герой Хрущовъ, описывая ужасный день бомбардированія:—„вся окрестность дрожала на нѣсколько верстъ, какъ бы отъ землетрясенія. Съ 2 часовъ по полудни до самаго вечера огонь ни на минуту не прекращался. Наши моряки-артиллеристы выказали геройскую храбрость и самоотверженіе". (**) Свидѣтели ужаснаго боя 5 октября говорили, что этотъ день былъ днемъ „страшнаго суда и гнѣва Божія". Смерть царила надъ городомъ и вырывала изъ рядовъ самоотверженныхъ и неутомимыхъ защитниковъ безчисленныя жертвы. Всюду лопались

(*) „Историческій очеркъ" Сафонова, стр. 18.
(**) Исторія обороны Севастополя, Хрущова, стр. 90.

бомбы и взрывали землю непріятельскія ядра. Слободки Корабельная и Артиллерійская были почти уничтожены. Многія улицы, бульваръ, пристань были завалены ядрами. Разрывные снаряды сыпались дождемъ. „Воздухъ гудѣлъ и земля тряслась подъ оглушительнымъ ревомъ батарей съ суши и моря, а по временамъ солнце застилалось отъ дыма и не видно было ничего, кромѣ огней, сверкавшихъ изъ орудій непріятельскихъ“. Адмиралы Корниловъ, Нахимовъ и Истоминъ безстрашно появлялись въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ и воодушевляли солдатъ. Къ великой печали всѣхъ защитниковъ Севастополя, около полудня былъ смертельно раненъ въ ногу на Малаховомъ курганѣ адмиралъ Корниловъ. Онъ скончался доблестною смертью черезъ нѣсколько часовъ. Въ немъ Севастополь лишился одного изъ самыхъ храбрѣйшихъ защитниковъ. Потеря въ названный день простиралась до 1,000 человѣкъ. Батареи наши сильно пострадали, но къ утру 6 числа всѣ поврежденія были исправлены, подбитыя орудія замѣнены новыми, и неустрашимые артиллеристы стояли на своихъ, открытыхъ для смерти, мѣстахъ, готовые къ новому бою.

Не останавливаясь на всѣхъ перипетіяхъ великой эпопеи осады,—къ ихъ числу можно, напримѣръ, отнести Инкерманское дѣло, въ которомъ мы потеряли до 9,000 нижнихъ чиновъ (3,000 убитыхъ и 6,000 раненныхъ) и до 250 офицеровъ (42 убитыхъ и 208 раненыхъ) и которое, въ случаѣ благополучнаго исхода, имѣло бы чрезвычайно важное значеніе для всей осады,—скажемъ о выдающихся дняхъ другихъ бомбардировокъ.

Наступилъ мартъ, приблизилась Пасха, но не обычнымъ образомъ пришлось отпраздновать ее защитникамъ многострадальнаго города. 28 марта, на второй день праздника, непріятель, вооруживъ свои батереи громадными орудіями, съ 5 часовъ утра открылъ вторую бомбардировку, продолжавшуюся семь дней, т. е. въ теченіе всей святой недѣли. Каждый день непріятельскія батареи бросали въ городъ отъ 20,000 до 26,000 снарядовъ. Подъ этимъ чугуннымъ дождемъ у насъ ежедневно выбывало изъ строя до 700 человѣкъ. Наши батареи также не умолкали, но огонь ихъ былъ слабѣе непріятельскаго, вслѣдствіе приказанія беречь снаряды.

По ночамъ приближались къ городу пароходы и, выпустивъ нѣсколько снарядовъ, поспѣшно удалялись. Въ донесеніи о второй бомбардировкѣ главнокомандующій писалъ: „Видя бодрость и, можно сказать, даже веселость Севастопольскаго гарнизона при самыхъ утомительныхъ работахъ, почти безъ отдыха, подъ адскимъ огнемъ, продолжающимся уже болѣе шести сутокъ, нельзя не гордиться именемъ русскаго“.

Прошла весна, наступило лѣто, но отдыха для защитниковъ Севастополя не было. Жара не мѣшала союзникамъ проявлять страшную энергію въ веденіи осады. Приготовляясь къ штурму, они наканунѣ, 5 іюня, открыли страшный огонь, который произвелъ сильныя поврежденія въ укрѣпленіяхъ, въ скоромъ времени исправленныя гарнизономъ. 6 іюня начался штурмъ, въ которомъ участвовали четыре французскія и четыре англійскія дивизіи, что въ общей сложности составляло 44,000. Атаку началъ Мейранъ, войска котораго были встрѣчены сильнымъ огнемъ. Мейранъ былъ убитъ, что привело его дивизію въ совершенное разстройство. Тогда главнокомандующій французскихъ войскъ Пелисье далъ сигналъ къ общему штурму. Впереди шла дивизія Брюне, достигшая скоро до нашихъ укрѣпленій. Уже охотники, спустившись въ ровъ, стали приставлять лѣстницы, но, встрѣченные 2-мъ батальономъ Суздальскаго и сводными стрѣлковыми батальонами Селингинскаго и Якутскаго полковъ, они были отброшены, а начальникъ дивизіи Брюне убитъ. Принявшій командованіе Лафонъ-де-Вильеръ вторично повелъ атаку, но былъ два раза отбитъ съ большимъ урономъ. Одновременно съ этой атакой было сдѣлано нападеніе войсками д'Отмора на бастіонъ Корнилова, гдѣ они были встрѣчены сильнымъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ, не допустившимъ ихъ до оборонительнаго рва и принудившимъ къ отступленію, при чемъ все пространство между бастіономъ и траншеями было покрыто тѣлами французовъ. Съ большимъ успѣхомъ непріятель атаковалъ батарею Жерве, но владѣлъ ею не долго, такъ какъ, послѣ упорнаго рукопашнаго боя, былъ выбитъ изъ нея генераломъ Хрулевымъ. Атаки англичанъ также были отражены на всѣхъ пунктахъ. Героемъ этого славнаго, для защитниковъ Севастополя, дня былъ, по общему признанію, генералъ Хрулевъ. Причиною

того, что штурмъ былъ назначенъ 6 іюня, было желаніе главнокомандующаго союзниковъ Пелисье загладить память о пораженіи французовъ 6 іюня при Ватерлоо взятіемъ Севастополя. Потери наши были велики. Всего выбыло изъ строя до 5,000 человѣкъ. Въ числѣ убитыхъ были капитаны 1 ранга Юрковскій и Будищевъ. Союзники потеряли до 8,000. При штурмѣ пали французскіе дивизіонные генералы Мейранъ и Брюне и англійскій Кемпбель.

Іюнь былъ тяжелымъ мѣсяцемъ для Севастополя. Онъ понесъ большія потери при штурмѣ. 8 числа былъ раненъ генералъ Тотлебенъ, обратившій слабо защищенный городъ въ недоступную твердыню. „Рана оказалась опасною, такъ какъ произошло воспаленіе жилистой оболочки. Раненый, въ сильныхъ страданіяхъ, онъ отдавалъ приказанія и принималъ всѣ доклады. Небезопасность отъ бомбъ, разрывавшихся даже на дворѣ, гдѣ лежалъ больной, заставила подумать о пріисканіи болѣе удобнаго мѣста. Тотлебена перенесли въ казаматтированную батарею, гдѣ состояніе его здоровья на столько ухудшилось, что докторъ Гюббенетъ потребовалъ, чтобы Тоблебена перенесли на сѣверную сторону. Тутъ сталъ онъ поправляться, и 27 августа, въ день послѣдняго приступа союзниковъ, его вынесли на валъ одного форта, откуда можно было слѣдить за непріятельской атакой, и здѣсь доблестный защитникъ Севастополя съ грустью увидѣлъ, какъ французское знамя было водружено на Малаховомъ курганѣ“. (*) 28 іюня былъ смертельно раненъ на Малаховомъ курганѣ доблестный защитникъ Севастополя адмиралъ Нахимовъ. Это былъ витязь безъ страха и упрека, какъ называетъ его генералъ Хрущовъ. Онъ былъ кумиромъ для моряковъ и предметомъ удивленія для пѣхотинцевъ. „28-го іюня адмиралъ съ нѣкоторыми близкими къ нему личностями объѣзжалъ бастіоны, во время бомбардированія. Мѣстами приходились ѣхать подъ градомъ прицѣльныхъ бомбъ, ядеръ и пуль. Нахимовъ былъ чрезвычайно веселъ и даже любезенъ противъ обыкновенія—въ службѣ онъ былъ суровъ и требователенъ. Переѣзжая шагомъ изъ 3 отдѣленія въ 4, во время сильнѣйшей перестрѣлки, онъ говорилъ спутнику: „Какъ пріятно ѣхать такими молодцами, какъ мы съ вами;

(*) Наши дѣятели, Баумана, стр. 59.

такъ нужно, другъ мой; вѣдь на все воля Бога, и ежели Ему угодно, то все можетъ случиться: что́ бы вы тутъ ни дѣлали, за что́ бы ни прятались, чѣмъ бы ни укрывались, ничто бы не противостояло Его велѣнію, а этимъ показали бы мы только слабость характера своего. Чистый душой и благородный человѣкъ будетъ всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трусъ боится смерти, какъ трусъ". Вездѣ по дорогѣ, ласковыми словами, онъ старался поднять духъ солдатъ и матросовъ; впрочемъ, одно уже присутствіе любимаго начальника дѣлало послѣднихъ болѣе веселыми и энергичными. Въ башнѣ Малахова кургана служили вечерню. Начальникъ 3 отдѣленія укрѣпленій Кернъ, отрапортовавъ что все благополучно, предложилъ посѣтить богослуженіе, но адмиралъ захотѣлъ осмотрѣть, по обыкновенію, новыя непріятельскія работы. Войдя на банкетъ, онъ взялъ трубу у сигнальщика и сталъ смотрѣть не въ амбразуру изъ мѣшковъ, нарочно для этого сдѣланную, а прямо черезъ брустверъ, открывъ себя почти по поясъ. На убѣжденія окружающихъ по крайней мѣрѣ пригнуться, онъ не обратилъ, какъ и всегда, вниманія. Въ это время двѣ пули ударили близъ него. Видя, что это прицѣльныя пули, окружающіе снова стали просить Нахимова сойти съ банкета, но онъ не хотѣлъ, замѣтивъ, однако-жъ, что „они сегодня довольно мѣтко стрѣляютъ". Только что онъ произнесъ эти слова, какъ былъ раненъ въ лѣвый високъ на вылетъ и мгновенно упалъ безъ крика и стона. Послѣ пораненія, Нахимовъ уже не приходилъ болѣе въ себя: пуля задѣла мозгъ—и произошелъ параличъ правой стороны и легкихъ. Единственныя слова, произнесенныя имъ едва внятнымъ голосомъ, были: „Эхъ, Боже мой, что-за-вздоръ"; онъ проговорилъ ихъ 29 іюня, когда ему мѣшали прикладывать лѣвую руку къ ранѣ". (*)

Похороны Нахимова такъ описываетъ одна изъ сестеръ милосердія, служившая въ тяжелую годину въ Севастополѣ. „Это было въ пятницу, послѣ обѣда. На улицѣ стояли войска и пушки, множество офицеровъ морскихъ и армейскихъ. Во второй комнатѣ стоялъ гробъ, обитый золотой парчей, кругомъ много подушекъ съ орденами, въ головахъ сгруппированы три адмиральскихъ флага, а самъ онъ былъ по-

(*) Наши дѣятели, Баумана, стр. 22.

крытъ тѣмъ простреленнымъ и изорваннымъ флагомъ, который развѣвался на его кораблѣ въ день синопской битвы. Священникъ, въ полномъ облаченіи, читалъ Евангеліе. По загорѣлымъ щекамъ моряковъ, которые стояли на часахъ, текли слезы. Съ тѣхъ поръ я не видала ни одного моряка, который бы не сказалъ, что радостно бы легъ за него. Одинъ только сказалъ мнѣ: „жаль его, ну да все равно,—я самъ за нимъ скоро умру". Онъ говорилъ это, лежа на операціонномъ столѣ".

„Въ церковь мы не ходили, а потомъ пошли на бульваръ. Это близъ того мѣста, гдѣ библіотека; очень высокое мѣсто, и внизу церковь близъ Графской пристани. Мы простояли нѣкоторое время: все еще ходили въ церковь прощаться. Наконецъ заунывный трезвонъ и все болѣе и болѣе слышное пѣніе возвѣстили намъ, что вышли изъ церкви. Процессія повернула совсѣмъ не туда, куда я ожидала, а прямо къ намъ на гору и прошла мимо насъ. Его несли въ недостроенную церковь равноапостольнаго князя Владиміра, гдѣ уже были схоронены адмиралы Лазаревъ, Корниловъ, Истоминъ,—два послѣдніе тоже павшіе за Севастополь".

„Никогда не буду я въ силахъ передать этого глубокаго впечатлѣнія. Мы были на возвышенности, съ которой виденъ весь Севастополь, бухта съ нашими разснащенными кораблями, море съ грознымъ и многочисленнымъ флотомъ нашихъ враговъ, горы, покрытыя нашими бастіонами, на которыхъ Нахимовъ бывалъ безпрестанно, ободряя еще болѣе примѣромъ, чѣмъ словами. Дальше горы съ непріятельскими батареями, съ которыхъ такъ безпощадно громятъ Севастополь, и съ которыхъ и теперь они могли бы стрѣлять прямо въ процессію. Но они были такъ любезны, что во все это время не было ни одного выстрѣла"...

„Заунывная музыка, перезвонъ колоколовъ, печально-торжественное пѣніе, очень много священниковъ, генераловъ, офицеровъ, на всѣхъ лицахъ грустное выраженіе"...

„Такъ хоронили моряки своего синопскаго героя, такъ хоронилъ Севастополь своего неустрашимаго защитника!" (*)

(*) Вѣстникъ Европы 1898 г., мартъ. „Воспоминанія сестры милосердія Крестовоздвиженской общины". Е. Бакуниной, стр. 166.

Время, между тѣмъ, шло, а тяжелое положеніе защитниковъ Севастополя не измѣнялось къ лучшему. Вслѣдствіе жары, земля высыхала и обращалась въ пыль, что сильно затрудняло исправленіе земляныхъ поврежденій. Непріятель получалъ новыя подкрѣпленія. Чтобы выйти изъ пассивнаго положенія, главнокомандующій князь Горчаковъ назначилъ на 4 августа атаку непріятельской позиціи при рѣкѣ Черной, хотя въ военномъ совѣтѣ многіе были противъ этой атаки и совѣтовали, оставивъ оборону южной части города, перейти на сѣверную и тамъ сосредоточить силы для обороны. Атаку должны были вести генералы Реадъ и Липранди, изъ которыхъ каждый имѣлъ подъ своимъ начальствомъ по 3 дивизіи. Русскія войска нѣсколько разъ переходили рѣчку Черную, но каждый разъ имъ приходилось возвращаться за эту линію, вслѣдствіе страшнаго дѣйствія непріятельской артиллеріи. Неуспѣхъ нашего наступленія объяснялся отчасти тѣмъ, что генералъ Реадъ преждевременно началъ атаку. Потери наши въ названномъ дѣлѣ были весьма велики. Были убиты генералы: Реадъ, Веймарнъ, подававшій большія надежды, и баронъ Вревскій; командиры полковъ—Бельгардъ и Скюдери. Всего изъ фронта выбыло до 10,000 человѣкъ, при чемъ особенно пострадали полки: Вологодскій, Костромской, Галицкій, Одесскій, Украинскій и Азовскій.

Въ августѣ союзники начали усиленную бомбардировку Севастополя, который въ это время представлялъ видъ города, разрушеннаго землетрясеніемъ. Были дни, когда потеря среди осажденныхъ доходила до 1000 человѣкъ и болѣе. Всѣ ожидали наступленія рѣшительной атаки со стороны непріятеля, и она, дѣйствительно, въ скоромъ времени началась. Штурму предшествовала усиленная канонада, при чемъ наибольшая часть снарядовъ падала на Малаховомъ курганѣ, который особенно сильно страдалъ отъ разрывныхъ бочекъ. 24 августа непріятелемъ было выпущено 70,000 ядеръ, 16,000 бомбъ и множество ракетъ. Въ этотъ день у насъ сгорѣлъ на рейдѣ отъ бомбы транспортъ „Дунай“, на слѣдующій день—фрегатъ „Коварный“, 26 числа былъ взорванъ ракетой баркасъ съ 140 пудами пороха. По ночамъ надъ городомъ стояло постоянно зарево отъ безпрерывныхъ пожаровъ.

27 августа начался штурмъ. Первый натискъ былъ направленъ на Малаховъ курганъ, который считался ключемъ нашей позиціи. Послѣ отчаянныхъ усилій, непріятель овладѣлъ Курганомъ и, не смотря на геройскія атаки нашихъ резервовъ, удержалъ его за собою. Но въ нашихъ рукахъ долго еще оставалась полуразрушенная башня на Курганѣ, въ которой поручикъ Юній съ горстью храбрецовъ занялъ нижній этажъ, откуда мѣткими выстрѣлами наносилъ страшный вредъ осаждавшимъ. „Всѣ усилія французовъ ворваться въ башню были отражены; на двукратное предложеніе черезъ парламентеровъ, сдаться русскіе отвѣчали новыми выстрѣлами; французы привалили къ башнѣ обломки туръ и зажгли ихъ, думая дымомъ удушить храбрецовъ; но и это не заставило ихъ сдаться, и французы, опасаясь новаго взрыва, сами же затушили землею горящіе туры, и только тогда, когда прекратилось на Курганъ побоище, эта горсть героевъ сдалась". (*)

Въ другихъ мѣстахъ союзники не имѣли такого успѣха. Не смотря на отчаянную атаку, французы были три раза отбиты отъ II бастіона. Англичане, взявшіе III бастіонъ, черезъ часъ были выбиты оттуда и обращены въ бѣгство. Точно также были отбиты нападенія французовъ на IV и V бастіоны нашихъ укрѣпленій. Попытки нашихъ войскъ отнять у непріятеля Малаховъ курганъ не увѣнчались успѣхомъ. „Бой здѣсь шелъ самый ожесточенный: дрались грудь съ грудью. Все, что попадалось подъ руку: штыки, приклады, пистолеты, даже камни служили орудіемъ драки, а самый Курганъ, усѣянный грудами убитыхъ и раненыхъ, перемѣшавшихся съ обломками, представлялъ ужасный видъ... И только наступленіе темной ночи заставило нашихъ оставить попытки отбить Малаховъ курганъ". Обороной Севастополя 27 августа завѣдывали генералы Семякинъ, защищавшій правую половину оборонительной линіи, и Хрулевъ, защищавшій лѣвую. Потеря наша была велика. Убиты были генералы Буссау и Юферовъ, командиры полковъ: полковники Мезенцовъ, Аршеневскій, Нейдгардъ и Фрейндъ, капитанъ 2 ранга Коцебу, флигель-адъютантъ Воейковъ, генеральнаго штаба капитанъ Мейндорфъ и многіе другіе. Ранены гене-

(*) „Историческій очеркъ". Сафонова, стр. 32.

ралы: Хрулевъ, Мартинау, Лисенко, вскорѣ умершій, и Зуровъ. Всего же выбыло изъ строя 6 генераловъ, 40 штабъ-офицеровъ, 323 оберъ-офицера и 11,328 нижнихъ чиновъ. У французовъ было убито 5 генераловъ, ранено 4 и контужено 6. По показанію союзниковъ, уронъ ихъ простирался до 9,797 человѣкъ, но на самомъ дѣлѣ онъ долженъ быть значительнѣе. Главная потеря пришлась на долю французовъ.

Потеря Малахова кургана и печальное положеніе нашихъ укрѣпленій послѣ штурма были причиною рѣшенія со стороны главнокомандующаго—оставить развалины южной части Севастополя и перевести войска на сѣверную сторону. Послѣ перехода войскъ, стали укрѣплять сѣверную часть, осыпая южную артиллерійскими снарядами, что не дозволило союзникамъ зимовать въ оставленномъ городѣ. Возведенныя непріятелемъ новыя батареи, для бомбардированія сѣверной стороны, не причиняли намъ почти никакого вреда.

Въ теченіе всей обороны Севастополя съ нашей стороны было выпущено 1,386,600 снарядовъ, въ томъ числѣ 571,000 разрывныхъ. Пуль было выпущено болѣе 25,000,000 штукъ. Пороху израсходовано до 205,800 пудовъ. Непріятелемъ было брошено съ батарей до 1,600,000 снарядовъ, и, кромѣ того, съ кораблей 150,000. Траншеи союзниковъ простирались на 75 верстъ.

Общая убыль, понесенная нашими войсками въ теченіе 11 мѣсяцевъ обороны, простиралась до 100,000 человѣкъ. По свѣдѣніямъ, сообщаемымъ въ Исторіи восточной войны Богдановича, французы потеряли во время осады, не считая умершихъ отъ болѣзней, до 46,000 человѣкъ, англичане до 25,000, уронъ же турокъ и сардинцевъ нельзя опредѣлить съ точностью.

Во время осады союзная армія часто испытывала большія лишенія. Иногда непріятель, чтобы добыть необходимое, дѣлалъ нападенія на беззащитныхъ жителей. Такъ, было совершено нападеніе на Ялту. Высадившійся съ судовъ десантъ забиралъ скотъ, птицу, хлѣбъ, вино и все, что осталось въ сундукахъ разбѣжавшихся жителей. Отсюда была сдѣлана экскурсія въ имѣнія Потоцкаго, Мордвинова и Дундукова-Корсакова. „Какъ и всегда, при такихъ лишеніяхъ и неудобствахъ въ жизни явились всевозможныя болѣзни.

Еще не успѣла ослабѣть у союзниковъ занесенная изъ Турціи холера съ дизентеріей и разными гастрическими разстройствами, отъ которыхъ погибла въ Добруджѣ значительная часть дессанта, какъ къ нимъ присоединились теперь простудныя и эпидемическія болѣзни: изнѣженные французы и привыкшіе къ камфорту англичане то и дѣло заболѣвали лихорадкой, воспаленіемъ разныхъ органовъ и даже тифомъ". (*)

Въ ожиданіи освобожденія крестьянъ.

Великому акту освобожденія крестьянъ предшествовало нѣсколько лѣтъ самаго напряженнаго ожиданія, охватившаго все русское общество. Напряженность эта, естественнымъ образомъ, замѣчалась въ особенно сильной степени среди помѣщичьяго класса, при чемъ одни изъ помѣщиковъ обнаруживали полное сочувствіе подготовлявшейся реформѣ, другіе же относились къ ней съ худоскрываемымъ нерасположеніемъ. Готовилось совершиться нѣчто такое, что должно было дать совершенно иное направленіе жизни. Многіе помѣщики, не вникая въ сущность и настоятельность освобожденія, боялись разоренія. Лица, враждебно относившіяся къ реформѣ, распускали слухи, что народъ совсѣмъ не желаетъ освобожденія, предпочитая существующее положеніе неизвѣстному будущему. Дѣйствительно, бывали случаи, что крестьяне выражали желаніе сохранить прежнія отношенія къ своимъ помѣщикамъ, но этого нельзя было ни въ какомъ случаѣ возводить въ общее явленіе. Тѣ изъ помѣщиковъ, которые не сочувствовали подготовлявшемуся освобожденію крестьянъ, выставляли два основанія для своего мнѣнія, враждебнаго реформѣ: во-первыхъ, они утверждали, что народъ, получивъ свободу, дастъ волю своимъ страстямъ, выйдетъ изъ повиновенія и станетъ чинить насилія; во-вторыхъ, говорили, что помѣщики, лишившись крестьянъ, не въ состояніи будутъ вести хозяйства и придутъ къ совершенному обѣднѣнію. Страхъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, кто боялся волненій среди крестьянъ, простирался такъ далеко, что они опасались совмѣстнаго волненія инородцевъ. Разсказывали

(*) „Сѣверъ" 1898 г. „Крымъ въ 1854—1855 гг.", Ульрихсона, № 16, стр. 14.

различные ужасы, которыхъ на самомъ дѣлѣ совсѣмъ не было. Одинъ помѣщикъ, опасавшійся, что освобожденіе крестьянъ вызоветъ разстройство въ хозяйствѣ, писалъ слѣдующее: „Могутъ ли помѣщики быть безъ дворовыхъ?—не могутъ ни въ городѣ, ни въ деревнѣ. Города наши не вымощены, не освѣщены, не снабжены водой... Горожанинъ по необходимости долженъ имѣть экипажъ, водовоза, дворника, двухъ ночныхъ часовыхъ... Въ деревнѣ ему (помѣщику) жить будетъ трудно, хозяйничать трудно, а вводить улучшенія невозможно. Всѣ хорошіе люди: повара, писаря, слесаря, механики отойдутъ въ большіе города, ибо, напримѣръ, хорошій механикъ не находитъ занятія въ деревнѣ, а большого жалованья ему нельзя платить". (*) Нѣкоторые говорили, что не всѣ крестьяне подготовлены къ эмансипаціи. Такъ, помѣщикъ, слова котораго только что были приведены, утверждалъ, что приготовлены къ воспринятію эмансипаціи крестьяне богатыхъ землевладѣльцевъ, напримѣръ, въ губерніяхъ Ярославской, Владимірской, Нижегородской, о другихъ же этого нельзя сказать, имѣя въ виду болѣе низкую степень ихъ матеріальнаго благосостоянія и развитости. Были такіе, которые ожидали обѣднѣнія для всего государства. Утверждали, что густонаселенныя, черноземныя губерніи не будутъ продавать хлѣба ни зерна, что нечѣмъ будетъ кормить армію, не изъ чего водку гнать, а для поддержанія порядка въ каждую деревню надо будетъ ставить по ротѣ солдатъ, для чего не хватитъ арміи.

Но, на ряду съ печальными явленіями непониманія великаго значенія освобожденія крестьянъ, много было и свѣтлыхъ, доказывавшихъ, что русскимъ помѣщикамъ было знакомо чувство высокаго патріотизма. Такъ, одинъ молодой помѣщикъ, нѣкто Киндяковъ, писалъ изъ Рима своей матери слѣдующее: „Возможностью быть достойными гражданами мы обязаны вамъ, маменька. Вы привили къ намъ чувство бережливости, умѣренности, и вотъ они-то позволяютъ намъ благословлять освобожденіе, но не оплакивать его. Если бы великая реформа и потребовала жертвъ, то ужели же мы не сдѣлаемъ ихъ, имѣя въ виду счастье и славу всей страны".

(*) Русская Старина 1898 г., мартъ, „На зарѣ крестьянской свободы", стр. 470.

Люди, проникнутыя такими чувствами, спокойно ожидали будущаго. „Богъ дастъ, писалъ одинъ просвѣщенный помѣщикъ, Россія покажетъ Европѣ, какъ совершаются у насъ важные перевороты—тихо, смирно; какъ русскіе, несмотря на данное имъ титло варваровъ, умѣютъ постигать благія намѣренія своего молодого и великаго царя“. (*)

Какъ же относились къ слухамъ объ освобожденіи сами крестьяне? Среди многомилліонной массы, для которой готовилась новая жизнь, созидались новыя отношенія, выходившія совершенно изъ рамокъ прочно сложившагося режима, не могло не обнаружиться недоразумѣній и нѣкоторыхъ волненій и безпорядковъ. Многіе крестьяне, по своей темнотѣ, думали что ихъ немедленно отпустятъ на волю, снабдивъ, безъ всякихъ обязательствъ, помѣщичьей землею. Нѣкоторые отказывались платить оброкъ и настаивали на немедленномъ прекращеніи прежнихъ отношеній. Злонамѣренные люди, а также различные невѣжественные комментаторы предстоящаго великаго акта увеличивали путаницу въ головахъ крестьянъ. Дѣло не обошлось даже безъ пророчествъ и предреченія различныхъ несчастій. Но все это было, въ сравненіи съ общимъ спокойнымъ теченіемъ дѣла, мелочи. По удостовѣренію современниковъ, крестьяне, въ своей многомилліонной массѣ, ожидали спокойно, съ терпѣніемъ развязки, не взирая на злонамѣренные слухи.

И великое дѣло совершилось. Явился манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. „Этимъ манифестомъ 22 милліона людей освободились отъ трехвѣковаго рабства и получили права личныя, дающія имъ, какъ и прочимъ сословіямъ, права семейныя, право быть привлекаемыми къ отвѣтственности установленными судами и законными властями, право повсемѣстнаго жительства, право свободнаго воспитанія въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ, право производить торговлю, содержать фабрики, заводы, записываться въ цехи, вступать въ гильдію, брать подряды“. (**) Для 22 милліоновъ крестьянъ началась новая жизнь. Всѣ страхи, которые передъ осво-

(*) Русская Старина 1898 г., мартъ. „На зарѣ крестьянской свободы“, стр. 130.

(**) Историческій очеркъ жизни и царствованія Императора Александра II, Сафонова, стр. 72.

божденіемъ волновали умы, исчезли. Великій актъ освобожденія совершился спокойно, безъ потрясеній, представивъ всему міру зрѣлище высокаго нравственнаго значенія, зрѣлище, представляющее одну изъ самыхъ свѣтлыхъ и поучительныхъ страницъ во всемірной исторіи.

Иллюстраціи къ характеристикѣ дѣтской литературы 50-хъ годовъ.

Въ настоящее время рѣже приходится слышать жалобы на бѣдность дѣтской литературы. Сравнительно съ прежними годами, она обогатилась какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи. Образовалась дѣтская журналистика, представляющая значительный успѣхъ въ сравненіи съ тѣмъ, что носило это названіе лѣтъ тридцать, сорокъ назадъ. Педагогическіе журналы уяснили множество различныхъ воспитательныхъ вопросовъ и въ томъ числѣ вопросъ о дѣтскомъ чтеніи, о тѣхъ требованіяхъ, какимъ должно удовлетворять хорошая дѣтская книга. Явились въ отдѣльныхъ дешевыхъ изданіяхъ произведенія лучшихъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ и не малое количество книгъ научнаго содержанія, удовлетворяющихъ требованіямъ здравой педагогики. Не то было въ 50-хъ годахъ. Журналъ Ишимовой „Звѣздочка“ и „Журналъ для дѣтей“ Чистякова были чуть ли не единственными маяками, свѣтившими во мракѣ дѣтской журналистики названнаго времени. Рыночная спекуляція царила безъ стѣсненія на дѣтскомъ книжномъ рынкѣ, находя иногда поддержку и въ журналистикѣ. Такимъ органомъ, не скупившимся на похвалы произведеніямъ самой отъявленной спекуляціи, была, напримѣръ, „Сѣверная Пчела“ Булгарина.

Выдающеюся чертою множества дѣтскихъ книгъ названнаго времени является стремленіе къ морализированію, облеченному въ самую наивную и неумѣлую форму. Изъ множества примѣровъ достаточно привести нѣсколько. Вотъ, напримѣръ, разсказъ о томъ, какъ исправили неопрятную Катю, которая за обѣдомъ пачкала лицо свое и платье такъ, что въ этомъ видѣ была болѣе похожа на *поросенка*, чѣмъ на дѣвочку. Чтобы исправить ее, мать одѣла ее въ самое

дурное платье, достала трехъ поросятъ и посадила ихъ вмѣстѣ съ Катей, которая должна была въ наказаніе обѣдать въ этой компаніи. Разбирая названное произведеніе, рецензентъ „Отечественныхъ Записокъ“ въ концѣ добавлялъ: „Что сдѣлалось потомъ съ поросятами—неизвѣстно. Вѣроятно, они возвратились восвояси, гордые моральнымъ вліяніемъ, произведеннымъ на дѣвочку“. Не менѣе непріятная исторія случилась съ любопытнымъ Гансомъ, который имѣлъ дурную привычку засматривать въ горшки. Разъ онъ увидѣлъ большой горшокъ и, думая, что послѣдній съ киселемъ, нагнулся въ него такъ неосторожно, что потерялъ равновѣсіе и упалъ головой въ горшокъ. Несчастный Гансъ хотѣлъ было закричать, но кисель залѣпилъ ему ротъ. „Служанка, увидѣвъ несчастное положеніе Ганса, закричала; на крикъ ея прибѣжали родители и успѣли спасти сына, вытащивъ его изъ горшка за ногу. Съ лакомкой Густавомъ случилось нѣчто еще болѣе худшее. Увидѣвъ на блюдѣ пирожное тѣсто, онъ съѣлъ сперва одинъ кусокъ, а потомъ другой и третій—и долженъ былъ поплатиться за это самымъ ужаснымъ образомъ. Тѣсто, отлично приготовленное, стало быстро всходить въ маленькомъ брюхѣ Густава, которое такъ вздулось, что несчастный мальчишка на другой день долженъ былъ *лопнуть*

Изображая явленія текущей петербургской жизни, обозрѣватель „Отечественныхъ Записокъ“ совершенно вѣрно замѣтилъ слѣдующее: „Вмѣстѣ съ различными сюрпризами, играми и картонажами, къ каждому празднику въ петербургскихъ магазинахъ появляются и новыя произведенія дѣтской литературы. Прошлый праздникъ не отсталъ, конечно, въ этомъ отъ другихъ праздниковъ, и нѣсколько книжечекъ, въ розовыхъ, желтыхъ и зеленыхъ оберткахъ, книжечекъ, украшенныхъ болѣе или менѣе плохими картинками, съ названіями въ родѣ „Повѣсти и разсказы для дѣтей“ и т. п. вышли въ свѣтъ. О литературѣ говорятъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Критика и Библіографическая Хроника—имъ и книги въ руки; но съ своей стороны не могу не сказать, что большая часть вышедшихъ книжечекъ необыкновенно забавны и по образу изложенія и по внутреннему содержанію. Всѣ онѣ стремятся дѣйствовать на нравственность дѣтей, что, конечно, нельзя не похвалить; но

старанія-то ихъ большею-частью остаются тщетными по неумѣнью взяться за дѣло. Хотѣлось бы мнѣ спросить авторовъ нѣкоторыхъ изъ этихъ книжечекъ, какъ они думаютъ о томъ, что если вырѣзать изъ бумаги мужичка и заставить двигать его руками и ногами посредствомъ нитокъ, то приметъ ли шестилѣтній или семилѣтній ребенокъ такую шевелящуюся фигуру за живого человѣка? Думаю, что нѣтъ. А между-тѣмъ вѣдь всѣ эти Гриши, Лизы, Коли и Миши, право, такія же бумажныя фигурки, которыя приводятся въ движеніе авторомъ ради какой-нибудь цѣли. Дѣти, правда, не подумаютъ, могутъ ли жить такія Гриши и Лизы; но какъ лица безжизненныя, они не останутся въ ихъ памяти, поступки ихъ не произведутъ никакого впечатлѣнія на дѣтское сердце. Многіе думаютъ что дѣтскія книги писать очень легко. Это большая ошибка. Право, произвесть впечатлѣніе на сердце дитяти гораздо труднѣе, нежели на сердце взрослаго. Въ послѣднемъ случаѣ авторъ долженъ сочувствовать всѣмъ дѣтскимъ интересамъ и понимать ихъ; онъ долженъ самъ на время сдѣлаться дитятею, не переставая въ то же время быть взрослымъ".

„Просматривая дѣтскія книжки русскаго издѣлія, я невольно припоминаю одинъ нѣмецкій разсказъ, которымъ авторъ, повидимому, хотѣлъ произвесть сильное впечатлѣніе на своихъ маленькихъ читателей".

„Въ небольшомъ городкѣ жилъ нѣкто господинъ N. Этотъ господинъ былъ очень скупъ. Онъ только и думалъ о себѣ и о своихъ удовольствіяхъ, а въ постороннихъ никогда не принималъ никакого участія. Однажды N. сидѣлъ спокойно въ комнатѣ и читалъ, какъ вдругъ дверь отворилась и на порогѣ ея показался человѣкъ, одѣтый въ рубище (это слово очень любятъ дѣтскія книги). „Что тебѣ нужно?" грозно спросилъ N. „Милосердый господинъ!" отвѣчалъ человѣкъ, одѣтый въ рубище: „я пришелъ просить у васъ вспомоществованія". „Вспомоществованія! ты смѣешь просить у меня вспомоществованія! вскричалъ безжалостный хозяинъ. Онъ схватилъ покрытаго рубищемъ человѣка за шиворотъ, вытащилъ за дверь и хотѣлъ столкнуть рубище съ лѣстницы, которая вела на улицу, но при этомъ какъ-то поскользнулся, упалъ и сломалъ себѣ ногу... Переломъ былъ силенъ и ногу

необходимо было отнять. Послѣ операціи, жестокосердн господинъ отправился къ одному механику, жившему в городкѣ, чтобы пріобрѣсти себѣ механическую ногу. Но куплена, приставлена и господинъ N. самодовольно, весел выходитъ изъ магазина... Искусственная нога совершенн какъ настоящая: она движется легко и свободно, и господин N. гордо идетъ по главной улицѣ города. Проходя мим одного магазина, онъ вздумалъ полюбоваться выставленным въ окнѣ картинами. Онъ хотѣлъ остановиться... но не мог механическая нога все шла впередъ и впередъ... Тутъ толь вспомнилъ онъ, что, зная секретъ какъ заставить ногу двигаться, онъ не зналъ какъ нужно ее останавливать. Однак дѣлать было нечего, и онъ шелъ впередъ и впередъ. Прошелъ день, другой, третій, а N. не возвращался въ городъ. N. пропалъ безъ вѣсти. Только черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ, какіе-то дровосѣки, прибывъ въ городъ, разсказывали, что они часто видятъ скелетъ человѣка, на механической ногѣ, который безъ устали ходитъ по лѣсу. Этотъ скелетъ принадлежалъ, конечно, злосердечному N., наказанному за свое злое сердце. Эта исторія съ г. N. такъ же правдоподобна, какъ и тѣ, которыя случаются съ Яшами и Гришами въ русскихъ повѣстяхъ и разсказахъ для дѣтей". (*)

Иной взглядъ на дѣтскую литературу существовалъ у редактора „Сѣверной Пчелы", Ѳаддея Венедиктовича Булгарина, который видѣлъ достоинства тамъ, гдѣ другіе замѣчали недостатки. Рекомендуя вниманію родителей одну дѣтскую книгу, отличавшуюся крупными недостатками, онъ писалъ слѣдующее: „Я взялъ книжку въ руки, только чтобъ пересмотрѣть ее... и *прочиталъ отъ доски до доски!* Повѣсти и разсказы такъ занимательны и увлекательны, что невольно приковываютъ къ себѣ вниманіе не только юноши, но и взрослаго человѣка. Всѣ повѣсти и разсказы трогательные, и еслибъ я не боялся упрека въ чувствительности, признался бы, что каждая повѣсть и каждый разсказъ выжимаютъ слезы". По словамъ Булгарина, каждый юноша, прочитавъ названную книгу, непремѣнно долженъ былъ сдѣлаться добрѣе, нѣжнѣе и чувствительнѣе. Въ выноскѣ почтенный ре-

(*) Отечественныя Записки 1853 г., май. „Петербургскія Записки", стр. 131—132.

дакторъ объявлялъ, что г.г. иногородные книгопродавцы и частныя учебныя заведенія, желающіе выписать не менѣе 100 экземпляровъ, благоволятъ обращаться въ контору „Сѣверной Пчелы“, при чемъ имъ будетъ сдѣлана уступка. Спустя нѣсколько дней, Булгаринъ писалъ о названной книгѣ: „Въ одномъ пансіонѣ произведено было испытаніе: какое дѣйствіе произведетъ эта книга надъ юношествомъ. Читали „Повѣсти и Разсказы“ шестерымъ мальчикамъ, отъ девяти до двѣнадцати лѣтъ, и всѣ они были тронуты до слезъ“...

Изъ эпохи освобожденія крестьянъ.

Дѣла благія—вѣчно живы.
Жуковскій.

Радостно была встрѣчена крестьянами великая вѣсть объ ихъ освобожденіи отъ крѣпостной зависимости. Милліоны свободныхъ людей вознесли благодарственную молитву Богу. Въ Петербургѣ и Москвѣ Высочайшій манифестъ объ освобожденіи крестьянъ былъ объявленъ 5 марта, въ воскресенье. Храмы наполнились молящимися. Благодарный народъ молился за своего Освободителя. 12 марта на Дворцовой и Адмиралтейской площадяхъ собралась громадная толпа бывшихъ крѣпостныхъ людей, чтобы увидѣть Виновника своей свободы. Депутаты, выбранные крестьянами, ожидали во дворцѣ появленія Государя, и когда онъ сошелъ съ парадной лѣстницы, они поднесли Ему хлѣбъ-соль. Принявъ подношеніе и поблагодаривъ крестьянъ, Государь вышелъ на площадь, гдѣ Онъ былъ встрѣченъ радостнымъ привѣтствіемъ собравшагося народа. И всюду, на всемъ обширномъ пространствѣ русскаго государства, шло ликованье по случаю великаго народнаго праздника.

„Хотя губернскія по крестьянскимъ дѣламъ присутствія были уже готовы къ открытію до обнародованія манифеста, но сельскія управленія еще не были сформированы, а потому еще не были выбраны мировые посредники; въ виду этого, Государь Императоръ послалъ въ каждую губернію своихъ генералъ и флигель-адъютантовъ, дабы они, впредь до избранія мировыхъ посредниковъ, разсматривали на мѣстахъ

могущіе возникнуть при введеніи новыхъ положеній недоразумѣнія и споры. Въ столицахъ и ближайшихъ губерніяхъ крестьяне и помѣщики были лучше ознакомлены съ новыми положеніями, а потому и введеніе ихъ не вызывало почти никакихъ недоразумѣній и безпорядковъ, но въ нѣкоторыхъ селеніяхъ губерній Казанской и Пензенской произошли довольно значительные безпорядки, вынудившіе правительство, для прекращенія ихъ, принять строгія мѣры".

„Открытіе волостныхъ правленій и вступленіе въ отправленіе обязанностей мировыхъ посредниковъ много способствовали прекращенію недоразумѣній и волненій. Причиною этихъ недоразумѣній во многихъ мѣстахъ было, съ одной стороны, ожиданіе крестьянами какой-то *чистой воли*, вслѣдствіе чего они уклонялись отъ соглашенія съ помѣщиками, съ другой стороны, нѣкоторые помѣщики старались затянуть дѣло надѣла крестьянъ землею; черезъ это происходили безпорядки, требовавшіе примѣненія строгихъ мѣръ". (*)

Мировые посредники энергично взялись за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей. Многіе изъ нихъ стояли вполнѣ на высотѣ своей задачи, соблюдая полное безпристрастіе въ спорахъ крестьянъ съ помѣщиками. Такъ, одинъ помѣщикъ Быховскаго уѣзда просилъ мирового посредника арестовать сельскаго старосту и оштрафовать его пятью рублями за то, что онъ, доставляя рабочихъ, не являлся самъ ежедневно для полученія приказаній и присмотра за работниками; но посредникъ, не признавая за старостой большой вины, арестовалъ старосту только на трое сутокъ, а штрафа совсѣмъ не назначилъ. Было много и другихъ аналогичныхъ случаевъ. Но иногда мировые посредники допускали дѣйствія, вызывавшія порицанія въ современной печати. Такъ, одинъ мировой посредникъ Одоевскаго уѣзда, Тульской губерніи, послалъ повѣстку управляющему имѣніемъ г. Воейковой московскому мѣщанину Гейтману, который, вмѣсто исполненія по повѣсткѣ, сдѣлалъ на ней надпись: „Я никому не позволю обращаться съ собою на *ты*, а потому прошу впредь быть повѣжливѣе". Объ этомъ поступкѣ посредникъ выразился, что „такого рода дерзость лица подат-

(*) „Историческій очеркъ жизни и царствованія Императора Александра II", А. П. Сафонова, стр. 73—74.

ного состоянія, неизъятаго отъ тѣлеснаго наказанія, поставила его, посредника, въ необходимость обратить серьезное вниманіе начальника губерніи на этого человѣка и просить, чтобы положить рѣшительный предѣлъ беззаконному произволу Гейтмана, въ убѣжденіи собственно того, дабы не ослабить власть, предоставленную мировымъ учрежденіямъ". Дѣло дошло до губернскаго присутствія, которое пришло къ такому заключенію: „Настоящее представленіе возбуждаетъ вопросъ: точно ли составляетъ дерзость, какъ заключаетъ М., отвѣтъ на его повѣсткѣ управляющаго Гейтмана слѣдующаго содержанія: „Я никому не позволю обращаться со мною на *ты*, а потому впредь прошу быть повѣжливѣе". Усматривая изъ упомянутой повѣстки, что посредникъ, относясь къ Гейтману, употребляетъ слова: *тобою*, *тебя*, губернское присутствіе находитъ, что Гейтманъ совершенно вправѣ былъ протестовать противъ такого способа выраженій, и что самый протестъ его, будучи написанъ въ приличной формѣ, не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшей дерзости. О чемъ увѣдомить мирового посредника и указать на образецъ повѣстки, приложенный къ 32 ст. „Наказа судебнымъ слѣдователямъ", гдѣ безъ различія званія введено употреблять слово *вы*". (*) Сообщая о другомъ подобномъ случаѣ, когда дѣло, въ которомъ фигурировалъ одинъ, неправильно обвиненный мировымъ посредникомъ, сельскій дьяконъ, было прекращено Калужскимъ губернскимъ присутствіемъ, какъ неправильно начатое,—редакція газеты „Мировой Посредникъ" замѣчала: „Съ грустнымъ изумленіемъ останавливаемся мы на этомъ фактѣ мирового самоуправства, фактѣ, въ которомъ не видимъ злоупотребленія власти, потому что въ настоящемъ случаѣ мировой посредникъ вовсе не имѣлъ ея, но видимъ только тупое непониманье той благотворной идеи, которой пожелалъ служить г. А."

Хотя институтъ мировыхъ посредниковъ много содѣйствовалъ уясненію крестьянами новаго своего положенія послѣ освобожденія и подписанію ими уставныхъ грамотъ, однако послѣднее встрѣчало иногда сопротивленіе со стороны крестьянъ, ожидавшихъ прекращенія всякихъ обязательныхъ отношеній къ помѣщикамъ. Указывая на это обстоятельство,

(*) Время 1862 г., іюль. „Наши домашнія дѣла", стр. 46—47.

газета „Мировой Посредникъ“ замѣчала въ извиненіе крестьянъ: „Развѣ въ самомъ началѣ помѣщичье-крестьянскаго дѣла нельзя было предвидѣть надеждъ и ожиданій со стороны крестьянства, переходящаго въ новое положеніе? Вѣдь дѣло это должно было затронуть такихъ людей, у которыхъ не было отнятно заранѣе право надѣяться и, подобно всѣмъ смертнымъ, не смотря на улучшеніе ихъ доли, ожидать впереди еще чего-то. Все это очень просто и понятно. Развѣ въ нашихъ образованныхъ слояхъ всѣ мы не ожидаемъ въ будущемъ лучшихъ дней, развѣ мы порою не шепчемъ сами про себя о нашихъ завѣтныхъ надеждахъ или не передаемъ ихъ другимъ? То же самое, въ кругу своихъ понятій и своихъ хозяйственныхъ потребностей, дѣлаютъ теперь и крестьяне, но только вслѣдствіе ихъ необразованности, а отчасти и простодушія, выраженіе ими надеждъ и ожиданій принимаетъ бо́льшую рѣзкость“.

Интересуясь ходомъ крестьянскаго вопроса, современная печать говорила и о новыхъ волостныхъ судахъ. Такъ, въ журналѣ „Время“ было приведено содержаніе записки о нихъ, читанной на одномъ изъ мировыхъ съѣздовъ тарусскимъ мировымъ посредникомъ Сабанѣевымъ. Онъ совѣтовалъ „поставить въ обязанность волостнымъ писарямъ записывать всѣ рѣшенія волостныхъ судовъ, какъ бы ни были маловажны эти рѣшенія, прописывая не одни имена тяжущихся, но и степень ихъ родства, если оно существуетъ, доказательства, приводимыя тяжущимися, и соображенія судей или мѣстные обычаи, которыми они руководствовались“. Сабанѣевъ подкрѣплялъ свою мысль тѣмъ, что „въ продолженіе крѣпостного права, для крестьянства, жившаго почти внѣ законовъ, не только не создалось ни положительнаго законодательства, ни обычнаго права, но едва ли не утратилась и память о тѣхъ обычаяхъ, которыми крестьянство когда-то руководствовалось; что теперь, когда крестьянамъ предоставленъ собственный судъ, они стали довѣрчиво обращаться къ этому суду, но судьи не знаютъ, чѣмъ имъ руководствоваться въ сужденіяхъ: законовъ положительныхъ нѣтъ, обычаи забыты; остается руководствоваться совѣстью, но именно совѣстливый судья и боится основаться на одномъ своемъ убѣжденіи. Поэтому-то и надо внимательно прислушиваться

къ рѣшеніямъ судовъ, обобщать случаи и стараться изъ народной жизни почерпнуть основанія къ положительному законодательству. Пусть не обманываются тѣ,—говорилъ въ заключеніе Сабанѣевъ,—которые думаютъ, что съ выраженіемъ: *крѣпостное право отмѣняется* все кончено. Нѣтъ, крѣпостное право еще живетъ; еще живы люди, бывшіе крѣпостными, и живы тѣ, которые ими владѣли. Нравы, обычаи, преданія до мельчайшихъ подробностей жизни—все еще напоминаютъ крѣпостное право, и правосудіе носитъ на себѣ его глубокую печать... Будемъ же съ терпѣніемъ и сдержанностью слѣдить за развитіемъ крестьянскихъ судовъ, устраняя отъ этого учрежденія всякія вредоносныя вліянія и довѣрчиво положимся на смыслъ народный и присущее каждому чувство законности и справедливости". (*)

Въ связи съ вопросомъ о волостныхъ судахъ затрогивался вопросъ и о сѣченьи. Печать, между прочимъ, говоря вообще объ унизительности названнаго наказанія, ратовала за освобожденіе отъ него женщинъ, при чемъ указывала на случаи, когда сами крестьяне высказывались противъ сѣченья, говоря, что *срамно* мужикамъ сѣчь бабъ. Одинъ волостной судья, высказавъ такой свѣтлый взглядъ, къ сожалѣнію, не удержался на его высотѣ и предлагалъ для совершенія названной операціи избрать особую *старостиху*. Нѣкто Ращаковскій писалъ въ „Одесскомъ Вѣстникѣ", что наказывать розгами женщинъ, предавать ихъ въ руки исполнителей мужчинъ—двойная казнь, поруганіе надъ чувствомъ стыдливости, лучшимъ украшеніемъ женщины, пренебреженіе самыхъ дорогихъ для человѣчества законовъ нравственности и приличія, что довольно и такъ уже ослабляется въ мірѣ цѣломудріе и стыдливость и что необходимо поддержать ихъ.

Въ печати названнаго времени шли оживленные толки о народномъ образованіи. Говорили о стремленіи народа къ образованію, о томъ, какъ охотно посѣщались народомъ воскресныя школы, о смягченіи путемъ образованія грубыхъ нравовъ и т. д. Но говоря о народномъ образованіи, естественнымъ образомъ должны были натолкнуться на вопросъ о томъ, откуда взять учителей, такъ какъ въ нихъ чувствовался недостатокъ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ явилось

(*) Время 1862 г., мартъ. „Наши домашнія дѣла", стр. 39—40.

много охотниковъ, желавшихъ послужить дѣлу народнаго образованія, но потомъ педагогическій жаръ охладѣлъ и быстро возникшія воскресныя школы стали закрываться по недостатку учителей. Но если трудно было найти преподавателей для воскресныхъ школъ, то еще труднѣе было достигнуть этого по отношенію къ постояннымъ школамъ. Рѣшая вопросъ, откуда взять учителей, одни предлагали привлечь къ преподавательской дѣятельности сельскихъ священниковъ, другіе—окончившихъ курсъ семинаристовъ. Но то и другое мнѣніе встрѣтило сильныя возраженія. Говорили, что добросовѣстный священникъ, который будетъ радѣть о своихъ обязанностяхъ, никакъ не найдетъ для себя времени совершенно предаться обученію своей школы. „Намъ извѣстно,—говорилъ одинъ изъ сторонниковъ этого мнѣнія,—что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ сдѣлано обязательнымъ для священниковъ учрежденіе сельскихъ школъ. По отчетамъ ихъ числится очень много. Но что собственно хорошаго дѣлается въ этихъ школахъ, неизвѣстно. И едва ли можно полагать, что образованіе идетъ въ нихъ именно такъ, какъ желалось бы. Уже одно то, что сельскихъ школъ должно быть какъ можно болѣе, не въ одномъ только селѣ, а по возможности въ каждой деревнѣ, дворовъ въ 30 или 40, такъ что, собственно говоря, школы должны называться не сельскими, а *деревенскими*,—уже одно это обстоятельство дѣлаетъ для священника невозможнымъ пріятіе на себя единственно званія сельскаго учителя. Какимъ, спрашивается, образомъ онъ станетъ одинъ заниматься обученіемъ своего прихода, когда въ немъ будетъ пятьдесятъ школъ?“ (*)

Мнѣніе, что было бы цѣлесообразно привлекать къ учительской дѣятельности окончившихъ курсъ семинаристовъ, обязавъ ихъ прослужить въ званіи учителя два года до полученія священническаго или дьяконскаго мѣста,—также не нашло общаго сочувствія. Соглашаясь съ тѣмъ, что названный проэктъ давалъ множество развитыхъ, готовыхъ народныхъ учителей, что они могли употребить свѣжія свои силы на дѣло полезное и достойное того званія, къ которому они готовились, говорили, вмѣстѣ съ тѣмъ, что обязательный трудъ обученія обратитъ привлеченныхъ къ нему лицъ въ

(*) Время 1862 г., мартъ. „Откуда взять сельскихъ учителей?“ стр. 203.

праздныхъ, апатичныхъ, не столько полезныхъ, сколько вредныхъ людей. Къ этому присоединяли и то, что семинаристы не знакомы съ педагогикой и что ихъ образованіе носитъ рѣзкій спеціальный оттѣнокъ. Въ заключеніе говорили, что если бы семинаристы и могли быть хорошими народными учителями, то ограничиться ими одними въ дѣлѣ народнаго образованія невозможно, такъ какъ ихъ въ сравненіи съ народной массой очень мало. Вмѣсто названной мѣры, предлагали званіе народнаго учителя предоставить всѣмъ желающимъ, тѣмъ, кто сознаетъ въ себѣ педагогическія способности и чувствуетъ въ себѣ призваніе быть пропагандистомъ народнаго образованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, указывали на необходимость устройства учительскихъ семинарій, куда можно было бы направлять учениковъ, оканчивающихъ ученье въ сельскихъ школахъ удѣльныхъ и государственныхъ крестьянъ. Въ журналѣ „Время“ проводилась мысль, что *главная масса учителей должна быть взята изъ среды самого же народа*, изъ питомцевъ названныхъ школъ удѣльныхъ и государственныхъ крестьянъ, при чемъ при открытіи сельскихъ школъ должна быть предоставлена народу значительная свобода, нестѣсняемая излишними формальностями.

Вообще, въ началѣ 60-хъ годовъ вниманіе общества и литературы сосредоточивалось главнымъ образомъ на народѣ. „Что́ стоитъ теперь на первомъ планѣ у всѣхъ нашихъ дѣятелей мысли и слова?“ спрашивалъ одинъ изъ сотрудниковъ журнала „Время“ и отвѣчалъ: „разумѣется, народъ. Народъ—первенствующій предметъ вниманія нашихъ политиковъ, публицистовъ, экономистовъ и иныхъ. Чего же хотятъ они отъ народа? Они хотятъ, во первыхъ, устроить его хозяйственный бытъ и общественныя отношенія по новому положенію, разрѣшивъ наилучшимъ образомъ всѣ вопросы, возникающіе при введеніи этого положенія; во-вторыхъ—дать народу возможность пользоваться новыми правами сознательно и разумно, къ чему вѣрнѣйшимъ путемъ представляется распространеніе народнаго образованія. Первая задача вотъ уже годъ дѣятельно разработывается на практикѣ, по указанной правительствомъ программѣ, и обществу остается только наблюдать за ходомъ этихъ работъ и, въ предѣлахъ возможности, освѣщать пройденный и предстоящій имъ

путь результатами своихъ наблюденій. По второй задачѣ— люди, смотрящіе на предметъ просто и непосредственно, сводятъ итоги вновь открываемыхъ народныхъ школъ, считаютъ поступающихъ въ нихъ учениковъ, набираютъ для нихъ возможно бо́льшій запасъ учителей,—значитъ, предаются попреимуществу соображеніямъ ариѳметическихъ по предмету заготовленія матерьяловъ для предстоящихъ работъ распространенія образованія. Но есть еще люди съ высшими взглядами, люди-теоретики, которые задались мыслью о воспитаніи народа, о необходимости и непремѣнной обязанности образованнаго общества дѣйствовать на народъ, влiять на развитіе его понятій, на возвышеніе его нравственности. Чтобы дѣйствовать на народъ, нужно подойти къ нему ближе, сблизиться съ нимъ... Но тутъ послѣдовало странное раздѣленіе голосовъ: одни сказали, что сближеніе съ народомъ—пустая, либеральная фраза, стало-быть, не стоитъ о немъ ни говорить, ни думать; другіе сказали, что прежде, нежели сближаться, нужно получить способность къ сближенію, которой мы не имѣемъ, потому что исказили свои понятія наносными, несвойственными нашему народному духу началами, что народъ насъ никогда не пойметъ, отринетъ, не признаетъ своими; стало-быть нечего и пробовать подходить, сближаться. Само собою разумѣется, что эти два крайніе взгляда, не прямо противоположные между собою, но смотрящіе въ разныя стороны подъ какимъ-то неудобоизмѣримымъ угломъ, не исключаютъ существованія другихъ взглядовъ, и потому изъ всѣхъ ихъ оттѣнковъ образовалось множество презанимательныхъ толковъ, которые, можетъ быть, еще не скоро кончатся". (*)

Освобожденіе крестьянъ всему сообщило какой-то особенный колоритъ, всѣмъ придало какую-то особенную энергію, окрылило духъ надеждами. „Общественное возбужденіе было громадно. Происходила всеобщая эмансипація—мужика, дѣтей, гражданина. Всѣ считали себя призванными рѣшать, а если не рѣшать, то по крайней мѣрѣ обсуждать. Обсуждали, дѣйствительно, много, и надо согласиться, что въ темахъ для обсужденія недостатка не чувствовалось: новая жизнь, новые принципы, съ такой геніальной смѣлостью, съ такой

(*) Время 1862 г., мартъ. „Критическое обозрѣніе", стр. 65—66.

глубокой внутренней правдой провозглашенные съ высоты престола, должны были, какъ всѣми это сознавалось, открыть новую эру и новый періодъ русской исторіи... Всѣ были полны вѣры въ будущее и даже въ ближайшій завтрашній день. Обывателю некогда было передохнуть и задуматься, некогда было засѣсть въ свой кабинетъ и сочинять философскія системы, съ тѣмъ чтобы съ точки зрѣнія общихъ принциповъ оправдывать свои поступки. Понукаемый вѣрой въ необходимость все пересоздать и все переустроить, постоянно занятый удовлетвореніемъ все новыхъ и новыхъ потребностей жизни, обыватель любилъ мысли ясныя и общедоступныя, такъ сказать, прямо ведущія къ дѣлу. „Просвѣщеніе полезно"—говорилъ обыватель, и сейчасъ же въ его головѣ возникала картина такого жизнеустройства, когда въ каждой деревушкѣ и притомъ на самомъ видномъ мѣстѣ будетъ стоять школа, а въ ней „любящій и преданный своему дѣлу преподаватель станетъ толковать своимъ ученикамъ, что никакой буки на свѣтѣ нѣтъ, а есть только одно невѣжество и тьма непониманія. „Женщины хотятъ учиться!"—„Ну и пускай ихъ учатся!" восклицалъ обыватель и начиналъ проектъ о пятиэтажномъ зданіи, въ которомъ не только краткія начатки, но и высшая математика будутъ преподаваться интересующимся ими дамамъ и барышнямъ. Обыватель того времени терпѣть не могъ ни эстетики, ни покаянія, ни философіи, предпочитая имъ краткія правила, съ которыми можно сейчасъ-же приступить къ осушенію болотъ и обращенію безплодныхъ степей въ засѣянную ниву. Вѣчно преслѣдуя практическія цѣли, онъ былъ нѣсколько доктринеромъ, нѣсколько нетерпимымъ, немного педантомъ и скучнымъ. Гнался онъ не за оригинальнымъ, а за полезнымъ: безъ всякаго сожалѣнія выбрасывалъ онъ изъ головы тѣ мысли, которыя мѣшали его работѣ и заставляли съ меланхолическимъ видомъ спрашивать о цѣляхъ бытія. „Ну, что же такое, что я эгоистъ?—восклицалъ онъ.—Мнѣ можетъ быть хорошо, когда всѣмъ хорошо, слѣдовательно..." И онъ усаживался за писаніе какого-нибудь трактата о вентиляціи. Онъ, т. е. тогдашній обыватель, былъ рѣзокъ, съ презрѣніемъ отворачивался отъ споровъ на тему о свободѣ воли, началѣ всѣхъ началъ и проч. „Свобода воли!—горячился онъ...

Позвольте... Вѣдь пошехонская губернія голодаетъ... А почему голодаетъ? Потому что кобылка весь хлѣбъ съѣла. А почему кобылка весь хлѣбъ съѣла? Потому что мужикъ не знаетъ, что съ ней дѣлать. А почему онъ не знаетъ, что съ кобылкой дѣлать? Потому что мы, баре интеллигентные, штудируемъ Гегеля и т. д. Работать надо, работать!" и обыватель съ упоеніемъ бросался въ самую свалку жизни"... (*)

По замѣчанію профессора Иванюкова, значеніе крѣпостного права было универсально. „Оно обусловливало всѣ стороны быта, начиная отъ крупныхъ и кончая самыми мелкими. Оно было тормазомъ, рѣшительно препятствовавшимъ развитію Россіи. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права Россія вступила въ новую эпоху развитія". Освобожденіе крестьянъ послужило исходною точкою для цѣлаго ряда послѣдующихъ реформъ, опредѣливъ и ихъ направленіе. „Съ особенною наглядностью,—говоритъ Джаншіевъ,—это вліяніе можно прослѣдить, напримѣръ, на судебной реформѣ. Извѣстно, что начало ея относится къ 1848 г. Но во все время Николаевскаго царствованія законодательныя предположенія не выходили за черту обычныхъ палліативныхъ частичныхъ исправленій. Съ новымъ царствованіемъ повѣяло и въ этой отрасли новымъ духомъ. Предсѣдатель коммиссіи, составлявшей законопроекты, гр. Блудовъ, сдѣлалъ значительную уступку духу времени. Въ проектахъ, составленныхъ имъ въ 1859 и въ 1860 гг., онъ уже допускалъ гласность, состязательность, мировой институтъ, адвокатуру. Но всетаки на проектахъ гр. Блудова видны были слѣды нѣкоторой робости, нерѣшительности, непослѣдовательности. Судъ присяжныхъ, напримѣръ, гр. Блудовъ признавалъ совершенно разумнымъ учрежденіемъ, но въ 1859 г. не рѣшался еще внести въ свой проектъ. Если Судебные Уставы получили тотъ смѣлый, законченный, раціональный, радикальный характеръ, который вызвалъ справедливое удивленіе не только у насъ, но и за границею, то этимъ они обязаны либеральному, бодрому настроенію и гуманному направленію, кои замѣчались въ части нашихъ правящихъ сферъ послѣ освобожденія крестьянъ. Это явствуетъ изъ хронологіи. Судъ присяжныхъ, несмѣняемость судей, независимость адвокатуры и прочія

(*) Ѳ. Достоевскій. Біографическій очеркъ Е. Соловьева, стр. 67—68.

основы нашего новаго судебнаго строя впервые были предложены въ извѣстныхъ „Соображеніяхъ государственной канцеляріи“, составленныхъ въ началѣ 1862 г. и Высочайше утвержденныхъ 29 сентября того же года.“ (*)

Изъ области искусства.

I.

„Пятницы“ художниковъ.

Во второй половинѣ 50-хъ годовъ, въ Петербургѣ, нѣсколько художниковъ устроили очередныя собранія, посвящая ихъ живописи и дружеской бесѣдѣ. Въ составъ этого кружка, между прочимъ, входили: Трутовскій, Зичи, Боголюбовъ, Ив. Ив. Соколовъ, князь Максютовъ, братья Шарлеманъ, Рюль, Ловецари, Премацци, Штромъ, Петцольдъ, Бегровъ. Собранія происходили по вечерамъ, каждую пятницу, и отличались оживленнымъ характеромъ. По ходатайству Комитета Общества поощренія художниковъ, названныя собранія въ скоромъ времени были перенесены изъ частныхъ квартиръ въ одну изъ залъ на Биржѣ. Тогда къ первымъ участникамъ вечеровъ присоединились еще: Сверчковъ, Айвазовскій, Лагоріо, Эрасси, Бейдеманъ, М. П. Клодтъ, Микѣшинъ, Риццони, архитекторы: Гартманъ, Монигетти, Бруни, А. Брюловъ, Н. О. Брюловъ. Въ качествѣ любителей искусствъ, вечера посѣщали: графъ Г. А. Строгановъ, графъ Кушелевъ-Безбородко, Кокоревъ, Бенардаки, Утинъ, актеръ Самойловъ и многія другія лица.

На Биржѣ собранія продолжались не болѣе года. По ходатайству конференцъ-секретаря Академіи художествъ Львова, художникамъ было разрѣшено собираться въ залахъ Академіи. Число посѣтителей вечеровъ постоянно возрастало, и въ скоромъ времени пятницы художниковъ пріобрѣли всеобщую извѣстность. Члены собранія вносили на издержки по 1 рублю. Этою суммою покрывался расходъ на чай, закуску, ужинъ и освѣщеніе. Главною притягательною силою названныхъ вечеровъ было не угощеніе, вообще довольно

(*) Гр. Джанціевъ. Эпоха великихъ реформъ. 7 изд. Москва. 1898 г., стр. 129—130.

Художники, устроители пятницъ, бывали и на другихъ вечерахъ, изъ которыхъ особенно выдавались собранія у графа А. Н. Кушелева-Безбородко, въ его роскошномъ мраморномъ дворцѣ.

Академическіе вечера проходили, вообще, безъ инцидентовъ, но однажды произошелъ непріятный случай, который могъ окончиться крупнымъ скандаломъ. Произошло столкновеніе между посѣщавшими „пятницы“ артистомъ Самойловымъ и архитекторомъ П., нѣмцемъ по происхожденію, относившимся съ большою нетерпимостью ко всему русскому. Онъ безъ стѣсненія бранилъ Россію и русскихъ и разъ, какъ бы желая ихъ наказать, торжественно заявилъ, что онъ не можетъ долѣе оставаться въ дикой странѣ, гдѣ не въ состояніи оцѣнить его таланта, и что онъ будетъ подлецъ, если когда-нибудь вернется въ Россію. Это случилось въ присутствіи Самойлова, который, какъ и другіе, былъ оскорбленъ поношеніемъ русскаго имени. П. въ скоромъ времени покинулъ Россію, промѣнявъ Петербургъ на Берлинъ, но оставался въ послѣднемъ не долго; оказалось, что въ „дикой“ странѣ совсѣмъ не такъ худо жить, какъ онъ утверждалъ, и такимъ образомъ въ Петербургѣ опять появился архитекторъ П. Явившись въ Академію на вечеръ, онъ сталъ здороваться со всѣми, при чемъ подошелъ и къ Самойлову и протянулъ ему руку, но она осталась безъ пожатія. Самойловъ напомнилъ П., что онъ далъ торжественное обѣщаніе не возвращаться въ Россію, и что, нарушивъ его, онъ, по собственному заявленію, былъ бы подлецомъ; обѣщаніе нарушено, слѣдовательно... П. вспылилъ, и столкновеніе могло бы окончиться крупнымъ скандаломъ, если бы присутствующіе не постарались придать словамъ Самойлова характеръ шутки.

„Пятницы“ художниковъ имѣли несомнѣнное значеніе въ дѣлѣ художественнаго развитія. Среди посѣтителей „пятницъ“ было не мало крупныхъ талантовъ, которые играли роль руководителей по отношенію къ болѣе слабымъ силамъ. Поэтому когда въ 1863 или 1864 г. собранія художниковъ прекратились, любители отечественнаго искусства не могли не выразить искренняго сожалѣнія. Прекратились же они вслѣдствіе пререканій, возникшихъ на почвѣ денежныхъ счетовъ и дошедшихъ до очень непріятныхъ инцидентовъ.

II.

Образованіе „Артели свободныхъ художниковъ“.

Въ 1863 г. мирное теченіе занятій въ Академіи Художествъ было нарушено событіемъ, которое имѣло важныя послѣдствія для русской живописи. Въ этомъ году оканчивали курсъ извѣстные впослѣдствіи художники: Крамской, Венигъ, Дмитріевъ-Оренбургскій, Литовченко, Карзухинъ, Шустовъ, Морозовъ, К. Маковскій, Журавлевъ, Лемохъ, Григорьевъ, Песковъ и Петровъ. Въ виду приближенія годичнаго экзамена, совѣтъ Академіи разослалъ оканчивающимъ курсъ художникамъ объявленіе, въ которомъ, между прочимъ, было сказано, что „отнынѣ различіе между родами живописи, жанра и исторической, уничтожается; что на малую золотую медаль будетъ, какъ и прежде, задаваемъ всѣмъ одинъ сюжетъ, а на большую, въ виду имѣющаго наступить столѣтія Академіи и въ видѣ опыта, будутъ даны не сюжеты, какъ прежде, а тема, напримѣръ: гнѣвъ, радость, любовь къ отчизнѣ и т. п. съ тѣмъ, чтобы каждый ученикъ, сообразно своимъ наклонностямъ, реализировалъ тему, какъ онъ хочетъ и откуда хочетъ: изъ жизни ли современной, или давно прошедшей, изъ исторіи ли библейской, или евангельской—все ровно“.

Это постановленіе совѣта Академіи вызвало оживленные толки среди художниковъ. Смыслъ его былъ таковъ, что всѣ ученики должны были писать на одну и ту-же тему, что, по мнѣнію конкуррентовъ, стѣсняло индивидуальность таланта. Результатомъ названныхъ толковъ была подача оканчивающими курсъ художниками прошенія въ совѣтъ Академіи, въ которомъ, между прочимъ, было заявлено: „Люди, одаренные сильною фантазіей, пропадаютъ при темѣ реальной, реалисты—при темѣ фантастической; люди веселые, съ способностями саркастическими и комическими, гибнутъ при темѣ грустной; люди съ меланхолическими способностями оказываются бездарными при темѣ веселой. Поэтому одна, какая бы то ни была тема, заданная всѣмъ, безраздѣльно, выводя людей, способности которыхъ соотвѣтствуютъ этой темѣ, губитъ другихъ, которые могли бы высказаться при

свободномъ выборѣ сюжетовъ". Указывая на это обстоятельство, художники просили дозволить имъ свободный выборъ сюжетовъ, каждому по своимъ наклонностямъ, давъ двухнедѣльный срокъ. На прошеніи были подписи названныхъ выше 14 художниковъ.

Совѣтъ Академіи, разсмотрѣвъ прошеніе, оставилъ его безъ отвѣта. Послѣдній былъ замѣненъ повѣстками съ приказаніемъ явиться подателямъ 9 ноября на конкурсъ въ конференцъ-залу Академіи. Это обстоятельство произвело между протестантами общее уныніе, и они рѣшились подать прошенія объ увольненіи изъ Академіи. Когда настало 9 ноября, они явились въ конференцъ-залу, гдѣ въ присутствіи членовъ совѣта имъ былъ объявленъ сюжетъ для конкурса на большую золотую медаль „Пиръ въ Валгаллѣ". Въ поясненіи было сказано, что слѣдовало изобразить на тронѣ бога Одина, окруженнаго богами и героями; на плечахъ у него два ворона; въ небесахъ, сквозь арки дворца Валгаллы, въ облакахъ, видна луна, за которою гонятся волки и т. д. Но этому сюжету не суждено было воплотиться въ картинахъ, такъ какъ тѣ лица, которымъ онъ былъ предложенъ для конкурса, рѣшились отказаться отъ послѣдняго и довольствоваться полученіемъ дипломовъ на званіе художниковъ. „Одинъ по одному, говоритъ Крамской,—изъ конференцъ-залы выходили ученики и каждый вынималъ изъ бокового кармана своего сюртука вчетверо сложенную просьбу и клалъ передъ дѣлопроизводителемъ, сидѣвшимъ за особымъ столомъ". (*)

Такимъ образомъ возникла „Артель свободныхъ художниковъ", впослѣдствіи уступившая мѣсто „Товариществу передвижныхъ выставокъ". Описанный инцидентъ вызвалъ въ печати оживленную полемику. Главнымъ ратоборцемъ въ защиту художниковъ, образовавшихъ „Артель", явился Стасовъ, которому оппонировалъ ректоръ Бруни, наиболѣе сильный и доказательный изъ защитниковъ Академіи.

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., ноябрь. „Галлерея П. М. Третьякова", Новицкаго, стр. 312.

Женскія гимназіи подъ начальствомъ Н. А. Вышнеградскаго.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, по мысли извѣстнаго педагога Н. А. Вышнеградскаго, были учреждены въ Петербургѣ первыя женскія гимназіи. Основаніе этихъ полезныхъ учебныхъ заведеній, быстро двинувшихъ впередъ женское образованіе, на первыхъ порахъ встрѣтило не мало затрудненій. Въ обществѣ было очень много лицъ, не сочувствовавшихъ открытію всесословныхъ женскихъ училищъ. На это обстоятельство указывалъ и самъ Вышнеградскій въ своемъ первомъ отчетѣ о новыхъ школахъ, поданномъ въ 1859 г. Весьма несочувственно отнеслись къ открытію учебныхъ заведеній новаго типа и содержатели частныхъ пансіоновъ, видѣвшіе въ нихъ учрежденія, крайне вредныя для своихъ матеріальныхъ интересовъ, и потому распространявшіе о нихъ различные невыгодные слухи. Кромѣ того, у Вышнеградскаго были личные враги, которые не останавливались даже предъ клеветой въ своемъ желаніи повредить почтенному педагогу въ общественномъ мнѣніи. Говорили, напримѣръ, будто онъ беретъ взятки за помѣщеніе дѣтей въ училище и раздаетъ мѣста за деньги. Для опроверженія взводимой на него клеветы, Вышнеградскій принужденъ былъ обратиться къ гласному заявленію, въ одной изъ петербургскихъ газетъ, о полной несостоятельности обвиненія. „Начальникъ училищъ для приходящихъ дѣвицъ въ Петербургѣ, писалъ Вышнеградскій,—безуспѣшно испытавъ неоднократныя устныя убѣжденія относительно безполезности и незаконности разнаго рода приношеній, которыя дѣлаются просителями мѣстъ при училищахъ, родителями и попечителями дѣтей, какъ начальнику училищъ, такъ и лицамъ женскаго пола, при нихъ состоящимъ, прибѣгаетъ наконецъ къ печатному заявленію покорнѣйшей своей просьбы, ни при какомъ случаѣ и ни подъ какимъ видомъ не обращаться ни къ начальнику, ни къ надзирательницамъ ни съ какими вещественными знаками такъ называемой благодарности. Всѣ подобные знаки будутъ немедленно возвращаемы тѣмъ, кто ихъ принесъ“. Въ томъ же опроверженіи было упомянуто о двухъ дамахъ,—имена которыхъ на первый разъ были скрыты,—предлагавшихъ Вышнеградскому по 500 рублей, съ

просьбой исходатайствовать имъ мѣста главныхъ надзирательницъ.

Между лицами, старавшимися вредить развитію новой образовательной системы, были и такія, которыя рѣшались прибѣгать къ помощи печатнаго слова. Статьи такого рода были отправляемы цензурнымъ комитетомъ принцу П. Г. Ольденбургскому, который обыкновенно высказывался противъ ихъ печатанія, тогда какъ Вышнеградскій не видѣлъ ничего вреднаго въ оглашеніи большею частью малограмотнаго писанья. Въ нихъ дѣлались нападки какъ на учителей, такъ и воспитанницъ гимназій. Такъ, въ одной статьѣ гимназисткамъ было поставлено въ вину то, что онѣ, по сравненію съ ученицами другихъ заведеній, отличаются бо́льшею живостью, ловкостью, развязностью и смѣлостью въ обращеніи. Между лицами, враждебно относившимися къ гимназіямъ, было не мало и такихъ, которыя прибѣгали къ доносамъ, вслѣдствіе чего случаи о мнимой зловредности гимназическаго воспитанія стали проникать и въ высшія сферы. Въ виду этого, Вышнеградскій рѣшился обратиться къ рѣшительному средству, чтобы положить конецъ проискамъ и клеветамъ, направленнымъ какъ противъ взлелѣянныхъ его трудами учрежденій, такъ и противъ него лично. 10 мая 1866 г. онъ обратился къ принцу Ольденбургскому съ просьбой о назначеніи ревизіонной комиссіи по вопросу о положеніи гимназій, а также и педагогическихъ курсовъ. Послѣдніе находились въ тѣсной связи съ первыми, такъ какъ составляли какъ бы продолженіе гимназическаго образованія, и состояли также въ вѣдѣніи Вышнеградскаго. „Хотя петербургскія женскія гимназіи, писалъ Вышнеградскій,—посѣщаются болѣе, чѣмъ полуторатысячью дѣвицъ, а слѣдовательно, каждый день масса родителей контролируетъ духъ и направленіе гимназическихъ курсовъ, я, въ виду неблагопріятныхъ слуховъ объ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, носящихся въ высшемъ кругу и нерѣдко тревожащихъ Ваше Императорское Высочество, долгомъ совѣсти считаю всепокорнѣйше просить Васъ о назначеніи ревизіонной коммиссіи изъ благонадежныхъ и опытныхъ людей, которые тщательно и точно провѣрили бы характеръ образованія, получаемаго молодыми дѣвушками какъ въ гимназіяхъ, такъ и въ педагогическихъ курсахъ“.

Въ маѣ 1866 года состоялось назначеніе ревизіонной комиссіи, въ составъ которой вошли: экстроординарный профессоръ Петербургской духовной академіи Осининъ, священникъ Симеоновской церкви Барсовъ, директоръ 3-й петербургской гимназіи Лемоніусъ, инспекторъ классовъ Николаевскаго сиротскаго института Чистяковъ, чиновникъ особыхъ порученій при принцѣ Ольденбургскомъ Тибо-де-Бриньоль и инспекторъ классовъ Воспитательнаго общества Тимофеевъ. Засѣданія комиссіи, вслѣдствіе наступленія каникулъ, были перенесены на осень, и 31 октября и 6 ноября были представлены свѣдѣнія, собранныя членами относительно преподаванія въ гимназіяхъ. „Предсѣдатель комиссіи Чистяковъ удостовѣрялъ, что писанные уроки ученицъ, стихотворенія, черновыя замѣтки по русскому языку, французской словесности, географіи, естествовѣдѣнію, математикѣ очевидно представлены въ томъ видѣ, въ какомъ составлялись и въ нихъ нѣтъ ничего, что было бы противно строгимъ требованіямъ нравственнаго воспитанія. Онъ присутствовалъ на экзаменѣ въ Маріинской гимназіи изъ церковнаго и свѣтскаго пѣнія, и вынесъ высокое впечатлѣніе. Церковное исполнялось, по его словамъ, ученицами „съ должнымъ вниманіемъ и сочувствіемъ“, а урокъ Закона Божія въ Вознесенской гимназіи „былъ истинно одушевленной проповѣдью“. На лицахъ ученицъ выражалось полное и живое сочувствіе, онѣ слушали въ глубокомъ молчаніи. Свѣтскія пѣсни были выбраны „съ большимъ тактомъ“. Чистяковъ былъ и на экзаменѣ химіи, на урокахъ физики, русскаго языка, русской словесности, русской исторіи и педагогики. По его словамъ, преподаваніе химіи постоянно примѣнялось къ практической жизни и хозяйству; но „матеріальнаго направленія ни въ чемъ не видно и слѣда“. Изъ уроковъ физики вытекало „убѣжденіе, что все управляется неизмѣнными законами, а это,—прибавляетъ онъ,—весьма важно въ нравственномъ отношеніи“. На урокахъ русскаго языка, словесности русской и французской, всѣ задававшіяся ученицамъ стихотворенія Чистяковъ нашелъ „или, по содержанію, нравственными, или такъ эстетично обработанными, что они могутъ смягчать, согрѣвать душу и сообщать ей нравственное движеніе“. Онъ не могъ бы указать въ отвѣтахъ ученицъ

„ни одного стиха или слова, которое могло бы огрубить дѣвическое чувство, ни одного стиха желчнаго или ипохондрическаго, смущающаго душу одностороннимъ, мрачнымъ воззрѣніемъ на жизнь“. Чистяковъ удостовѣрилъ, что и въ отвѣтахъ ученицъ по педагогикѣ не прольскользнуло ничего, что могло бы бросить тѣнь подозрѣнія къ матеріализмѣ и скептицизмѣ. Уроки естественной исторіи, по его свидѣтельству, преподавались „съ спокойствіемъ, въ предѣлахъ нравственности и приличія“. Общее господствующее направленіе образованія въ женскихъ гимназіяхъ Чистяковъ призналъ вполнѣ нравственнымъ“. (*)

Тибо-де-Бриньоль, посѣщавшій гимназіи въ теченіе нѣсколькихъ недѣль и являвшійся на уроки неожиданно, также сдѣлалъ отзывъ, благопріятный для гимназіи. Лемоніусъ въ похвалахъ былъ осторожнѣе. Онъ заявлялъ, что внѣшняя обстановка произвела на него отрадное впечатлѣніе, свидѣтельствуя объ административномъ талантѣ устроителя гимназій. Осторожность его въ отзывахъ вытекала изъ того основанія, что ревизія началась черезъ 4 мѣсяца послѣ заявленія о ея необходимости. „О духѣ, господствующемъ въ учебномъ заведеніи,—писалъ онъ,—можно судить только по религіозно-нравственнымъ идеямъ, подчиняющимъ себѣ дѣятельность лицъ, которымъ ввѣрено дѣло воспитанія и образованія въ учебномъ заведеніи, но такъ какъ раскрыть эту сторону дѣло весьма трудное, то и нѣтъ возможности сдѣлать опредѣленную, вполнѣ справедливую характеристику гимназій въ нравственномъ отношеніи. По отношенію къ надзору въ гимназіяхъ Лемоніусъ высказывалъ мысль, что инспекторами въ нихъ должны быть семейные люди, которымъ доступнѣе пониманіе „высокаго значенія женщины въ организмѣ человѣчества“. Педагогическіе курсы онъ считалъ излишними. По поводу закрытія на нихъ естественноисторическаго отдѣленія, онъ высказалъ слѣдующее соображеніе: „Этотъ факультетъ своимъ существованіемъ могъ быть обязанъ или желанію угодить болѣзненному настроенію времени, или совершенно превратному понятію о назначеніи и природѣ женщины. Неизвѣстно, какими идеями руководство-

(*) Русская Школа 1898 г., № 2. „Н. А. Вышнеградскій въ женскихъ гимназіяхъ“, Лихачевой, стр. 25—26.

вался факультетъ, но внезапное его закрытіе заставляетъ предполагать, что въ немъ было что-то неладно, и что слухи и толки, направленные противъ него, не были безъ всякаго основанія".

Осининъ указывалъ какъ на положительную, такъ и на отрицательную сторону въ постановкѣ учебно-воспитательной части въ гимназіяхъ. О преподаваніи въ нихъ онъ отзывался вообще съ похвалой, но замѣчалъ, что гимназическое обученіе дѣйствуетъ преимущественно на память и разсудокъ, мало давая пищи нравственно-религіозному чувству. Преподаваніе иностранныхъ языковъ въ гимназіяхъ онъ считалъ излишнимъ, такъ какъ главный контингентъ ученицъ въ нихъ принадлежалъ къ среднему классу, для котораго достаточно знанія отечественнаго языка. Останавливая свое вниманіе на поведеніи ученицъ, онъ указывалъ на низкій уровень дисциплины въ Маріинской гимназіи, именно—на „распущенность въ старшихъ классахъ".

Отзывъ Тимофеева представлялъ много общаго съ отзывами Чистякова и Тибо-де-Бриньоля, но характеристика гимназій, данная священникомъ Барсовымъ представляла нѣчто вполнѣ своеобразное, въ смыслѣ отсутствія всякихъ похвалъ. Какъ на главный недостатокъ въ преподаваніи, онъ указывалъ на отсутствіе въ немъ религіознаго начала. Это обвиненіе касалось уроковъ по словесности, русской и всемірной исторіи, географіи и естествовѣдѣнію. Уроки по первому предмету, по словамъ Барсова, не обнаруживали ни въ учащихъ, ни ученицахъ христіанскихъ воззрѣній, убѣжденій и чувствованій. Онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что преподавателемъ ботаники употреблялись термины: явнобрачныя, тайнобрачныя, двуполыя, однополыя, раздѣльнополыя, пестики, пычинки. Въ своемъ отзывѣ онъ коснулся и рисованія, при чемъ замѣтилъ, что въ рисункахъ ученицъ, за исключеніемъ одного, нѣтъ христіанскаго направленія. Весьма несимпатичнымъ явленіемъ онъ называлъ то, что учителя не подходили къ священнику подъ благословеніе, а жали ему руку. Останавливаясь на чтеніи книгъ, Барсовъ осуждалъ то, что ученицы брали изъ библіотеки сочиненія Пушкина и Тургенева, въ произведеніяхъ которыхъ „не мало эротическихъ картинъ, раздражающихъ инстинктъ чувственности".

Члены комиссіи не ограничились посѣщеніемъ уроковъ и разсмотрѣніемъ сочиненій и записокъ по разнымъ предметамъ. 6 ноября ими были выслушаны показанія главныхъ надзирательницъ гимназій. На вопросъ, не было ли ими замѣчено чего-нибудь вреднаго въ направленіи преподаванія, всѣ надзирательницы отвѣчали отрицательно. Неодобрительный отзывъ дала только главная надзирательница Маріинской гимназіи, заявившая что профессоръ Брандтъ, анатомируя кошку, дѣлалъ физіологическія замѣчанія, „оскорбительныя для дѣвической стыдливости". Когда она заявила объ этомъ Вышнеградскому, то послѣдній, по ея словамъ, отвѣтилъ ей пренебрежительно: „вы женщина стараго вѣка, отсталая, ничего не понимаете въ этомъ дѣлѣ". Она жаловалась на то, что начальникъ заведенія постоянно дискредитируетъ ея власть въ глазахъ ученицъ, особенно же рѣзкія замѣчанія сдѣланы были ею по адресу инспектора гимназіи, который, по ея словамъ, былъ слишкомъ любезенъ съ ученицами выпускного класса, во время перемѣнъ велъ съ ними продолжительные разговоры, провожалъ ихъ домой и даже угощалъ въ классахъ шампанскимъ.

Основываясь на названныхъ показаніяхъ, комиссія пришла къ слѣдующему заключенію: 1) Въ гимназическомъ преподаваніи ничего вреднаго для религіи и нравственности не было. 2) Источникомъ невыгодныхъ для гимназій слуховъ, подавшихъ поводъ къ назначенію ревизіи, послужило отчасти несообразное съ потребностями женскаго воспитанія преподаваніе въ педагогическомъ классѣ нѣкоторыхъ предметовъ, сопровождаемое диссекціею труповъ животныхъ и неприличными при семъ объясненіями, отчасти предосудительный образъ дѣйствій инспектора Маріинской гимназіи въ отношеніяхъ съ воспитанницами. 3) Въ отношеніяхъ начальника къ главнымъ надзирательницамъ нѣтъ той гармоніи, безъ которой невозможенъ правильный строй внутренней жизни заведеній.

На показанія ревизіонной комиссіи Вышнеградскій представилъ свои объясненія. На обвиненіе Барсова, что утренняя молитва въ гимназіяхъ совершается безъ должнаго благоговѣнія, что ученицы мало крестятся, Вышнеградскій замѣчалъ, что все это было въ бытность Барсова законоучи-

телемъ въ гимназіи, въ которой кончала курсъ и его дочь, и, однако, въ то время онъ не заявлялъ о недостаткѣ въ ученицахъ религіознаго чувства. О диссекціи Брандта онъ замѣчалъ, что какъ только онъ узналъ о ней, то немедленно созвалъ конференцію. Онъ просилъ, въ противовѣсъ обвиненіямъ главной надзирательницы Маріинской гимназіи, принять во вниманіе показанія всѣхъ служащихъ во всѣхъ гимназіяхъ. „Я преподавалъ педагогику, словесность и исторію въ Смольномъ монастырѣ десять лѣтъ,—писалъ онъ принцу Ольденбургскому,—читалъ словесность въ Училищѣ правовѣдѣнія также десять лѣтъ, былъ инспекторомъ классовъ Павловскаго института шесть лѣтъ, заслуживалъ милостивое вниманіе и полное одобреніе какъ Ея Императорскаго Величества, такъ и Ваше. Въ мои годы, когда наступаетъ пора сводить окончательный счетъ съ жизнью, поздно мѣнять свои убѣжденія. А мои убѣжденія и правила не могли не выразиться предъ Вами въ теченіе 18-ти лѣтъ“.

Хотя въ дѣятельности Вышнеградскаго не было найдено ничего такого, что требовало бы удаленія его отъ управленія женскими гимназіями, тѣмъ не менѣе весною 1867 года онъ былъ уволенъ, съ причисленіемъ къ IV отдѣленію вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, при чемъ за нимъ была удержана часть содержанія по прежней должности начальника гимназій. Въ качествѣ члена учебнаго комитета, Вышнеградскій и послѣ отставки бывалъ на экзаменахъ въ педагогическихъ классахъ, вызывая чувства горячей симпатіи и глубокаго уваженія со стороны ученицъ. Умеръ Вышнеградскій 19 апрѣля 1872 года, въ 12 часовъ, въ день и часъ основанія Маріинскаго училища.

Яснополянская школа графа Л. Н. Толстого.

Въ высшей степени оригинальнымъ явленіемъ въ области педагогики была народная школа, основанная графомъ Л. Н. Толстымъ въ его имѣніи Ясной Полянѣ. Практика обученія не представляла ничего подобнаго ей ни у насъ, ни за границей. Въ основу преподаванія въ названной школѣ была положена полнѣйшая свобода. Ученики по своему усмо-

трѣнію начинали и оканчивали занятія, выбирали предметы для занятій, безъ всякаго стѣсненія вели разговоры во время урока и вообще каждый изъ учениковъ былъ предоставленъ во всемъ собственной иниціативѣ. Каждый ученикъ занималъ мѣсто по своему выбору. Дозволялось не только сидѣть на креслѣ, предназначенномъ для преподавателя, но и лежать на полу, если у кого-нибудь изъ учениковъ являлось къ тому охота. Метода преподаванія, принятая въ школѣ, не допускала только одного—принужденія и стѣсненія. Учителю вмѣнялось въ обязанность проникнуться слѣдующимъ правиломъ: „Учитель никогда не долженъ позволять себѣ думать, что въ неуспѣхѣ виноваты ученики, а твердо знать, что въ неуспѣхѣ виноватъ только онъ, потому что чѣмъ хуже самъ учитель знаетъ предметъ, которому онъ учитъ, тѣмъ ему нужнѣе строгость и принужденіе; напротивъ, чѣмъ больше учитель знаетъ и любитъ предметъ, тѣмъ естественнѣе и свободнѣе его преподаваніе“.

Яснополянская школа помѣщалась въ отдѣльномъ каменномъ двухъэтажномъ домѣ и вмѣщала отъ 30 до 40 учениковъ. Въ томъ же домѣ жили и учителя, у которыхъ обыкновенно ночевали нѣкоторые изъ учениковъ. Въ 8 часовъ утра одинъ изъ мальчиковъ звонилъ въ подвѣшенный у крыльца колокольчикъ, по зову котораго собирались ученики. У графа Толстого есть превосходная картина, живо изображающая порядки, существованіе въ его школѣ, или, лучше сказать, полнѣйшую свободу, которая была предоставлена школьникамъ. Вотъ эта картина: „Учитель приходитъ въ комнату, а на полу лежатъ и пищатъ ребята, кричащіе: „мала куча!“ или „задавили, ребята!“ или „будетъ! брось виски-то!“ и т. д. „Петръ Михайловичъ!“ кричитъ снизу кучи голосъ входящему учителю:—„вели имъ бросить“. „Здравствуй, Петръ Михайловичъ!“ кричатъ другіе, продолжая возню. Учитель беретъ книжки, раздаетъ тѣмъ, которые съ нимъ пошли къ шкапу; изъ кучи на полу верхніе лежа требуютъ книжку. Куча понемногу уменьшается. Какъ только большинство взяло книжки, всѣ остальные уже бѣгутъ къ шкапу и кричатъ: „и мнѣ, и мнѣ!“ „Дай мнѣ вчерашнюю“, „а мнѣ *кольцовую*“ и т. п. Ежели останутся еще какіе-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающіе валяться на полу, то

сидящіе съ книгами кричатъ на нихъ: „Что вы тутъ замѣшкались? Ничего не слышно. Будетъ!“ Увлеченные покоряются и запыхавшись берутся за книги, и только въ первое время, сидя за книгой, поматываютъ ногой отъ неулегшагося волненія. Духъ войны улетаетъ и духъ чтенія воцаряется въ комнатѣ. Съ тѣмъ же увлеченіемъ, съ какимъ онъ дралъ за виски Митьку, онъ теперь читаетъ *кольцовую* книгу (сочиненія Кольцова), чуть не стиснувъ зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокругъ себя, кромѣ своей книги...“

„По росписанію до обѣда значится четыре урока, а выходитъ иногда три или два, а иногда совсѣмъ другіе предметы. Учитель начнетъ ариѳметику, и перейдетъ къ геометріи; начнетъ священную исторію, а кончитъ грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вмѣсто одного часа классъ продолжается три часа. Бываетъ, что ученики сами кричатъ: „Нѣтъ! еще, еще!“ и кричатъ на тѣхъ, которымъ надоѣло. „Надоѣло, такъ ступай къ маленькимъ!“ говорятъ они презрительно“.

Кромѣ утреннихъ уроковъ, въ Яснополянской школѣ были еще вечерніе, отличавшіеся отъ первыхъ характеромъ спокойствія, мечтательности и поэтичности. „Придите въ школу сумерками, говоритъ графъ Толстой,—огня въ окнахъ не видно, почти тихо, только вновь натасканный снѣгъ на ступени лѣстницы, слабый гулъ и шевеленье за дверью, да какой-нибудь мальчуганъ, ухватившись за перилы, черезъ двѣ ступени шагающій наверхъ по лѣстницѣ, доказываютъ, что ученики въ школѣ. Войдите въ комнату. Ужъ почти темно за замерзшими окнами; старшіе, лучшіе ученики прижаты другими къ самому учителю и задравъ головки, смотрятъ ему прямо въ ротъ... Поплоше, ребята-мелкота, сидятъ подальше: они слушаютъ внимательно, даже сердито, они держатъ себя такъ же, какъ и большіе; но, не смотря на все вниманіе, мы знаемъ, что они ничего не разскажутъ, хотя и многое запомнятъ... Когда идетъ новый разсказъ—всѣ замерли, слушаютъ. Когда повтореніе—тутъ и тамъ раздаются самолюбивые голоса, не могущіе выдержать, чтобъ не подсказать учителю. Впрочемъ, и старую исторію, которую любятъ, они просятъ учителя повторить всю своими словами и не позволяютъ перебивать учителя. „Ну ты, не терпится!

молчи!“ крикнуть на выскочку. Имъ больно, что перебиваютъ характеръ и художественность разсказа учителя. Послѣднее время это была исторія жизни І. Христа. Они всякій разъ требовали разсказать ее всю. Кажется, все мертво, не шелохнется,—не заснули ли? Подойдешь въ полутьмѣ, взглянешь въ лицо какому-нибудь маленькому—онъ сидитъ впившись глазами въ учителя, сморщивши лобъ отъ вниманія, и десятый разъ отталкиваетъ съ плеча навалившуяся на него руку товарища. Вы пощекотите его за шею—онъ даже не улыбнется, согнетъ головку, какъ будто отгоняясь отъ мухи, и опять весь отдастся таинственному и поэтическому разсказу: какъ сама разорвалась церковная завѣса и темно сдѣлалось на землѣ—ему и жутко и хорошо. Но вотъ учитель кончилъ разсказывать, и всѣ поднимаются съ мѣста и толпясь къ учителю, перекрикивая одинъ другого, стараются пересказать все, что удержано ими. Крикъ поднимается страшный, учитель насилу можетъ слѣдить за всѣми. Тѣ, которымъ запретили говорить, въ увѣренности, что они знаютъ, не успокоиваются этимъ: они приступаютъ къ другому учителю, ежели его нѣтъ—къ товарищу, къ постороннему, къ истопнику даже, ходятъ изъ угла въ уголъ, подвое, потрое, прося каждаго ихъ послушать“. (*)

Иногда графъ Толстой совершалъ съ своими учениками прогулки, проявляя и въ этомъ случаѣ полную простоту обращенія и доступность. Такія прогулки доставляли большое удовольствіе не только ученикамъ, но и самому наставнику. Графъ Толстой даетъ превосходное описаніе одной изъ такихъ прогулокъ. „Мы пошли по деревнѣ, пишетъ онъ. Ѳедька все не пускалъ моей руки, теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. „Вишь, огонь еще у Мазановыхъ!“ сказалъ онъ. „Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ пьяный-распьяный; лошадь вся въ мылѣ, онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить.“— „А надысь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ завезла, а онъ спитъ пьяный.“— А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко

(*) Время 1862 г., мартъ. Критическое обозрѣніе, стр. 73—74.

стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣзъ, да и хлещетъ.“ Семка вдругъ остановился. „Наши ужъ спятъ,“ сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. „Не пойдете еще?“—„Нѣтъ.“ „Пра-ащайте, Л. Н.,“ крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. „Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного, а потомъ другого?“ сказалъ Ѳедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь; мы заглянули въ окно: мать высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька; математикъ 2 класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. „Пропасти на тебя нѣтъ!“ закричала мать на Проньку. „Гдѣ былъ?“ Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Ѳедька. „У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ“, сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; „нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.,“ прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. „Отоприте!“ прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги, отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торжествомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Ѳедьки съ разстегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственнаго напряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣшительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукой „Отоприте!“ Баба встала и пошла отпирать. „Прощайте! еще разъ повторилъ Ѳедька:—всегда такъ давайте ходить.“ (*)

Яснополянская школа существовала около трехъ лѣтъ и закрылась только тогда, когда грамотность въ селѣ распространилась между всѣмъ подрастающимъ поколѣніемъ. На

(*) Л. Н. Толстой. Біографическій очеркъ Е. Соловьева, изд. Павленкова, стр. 76—77.

пути своей педагогической дѣятельности Л. Н. встрѣтилъ не мало препятствій. Многія изъ нихъ шли со стороны сосѣдей-помѣщиковъ, весьма несочувственно и подозрительно относившихся къ дѣятельности графа-педагога. Что касается отношенія учительства графа Толстого къ его литературной дѣятельности, то оно оказало сильное вліяніе на послѣднюю. Оно укрѣпило его симпатіи къ народу, ясно выражающіяся во многихъ его произведеніяхъ, и сообщило своеобразный оттѣнокъ его міровоззрѣнію. Подъ вліяніемъ сближенія съ народомъ, графъ Толстой сталъ потомъ отрицать значеніе своихъ художественныхъ произведеній. Онъ пришелъ къ тому заключенію, что названныя произведенія совершенно безполезны для народа, а затѣмъ распространилъ свой взглядъ и на литературную дѣятельность всѣхъ другихъ писателей. „У насъ есть разные журналы,—писалъ онъ въ одной статьѣ, направленной противъ литературы,—есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ для него никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе „Бориса Годунова" Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу; надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усомнятся въ этомъ." Крайности этого отрицательнаго взгляда на литературу, взгляда черезчуръ смѣлаго и оригинальнаго,—были впослѣдствіи смягчены графомъ Толстымъ. Въ своемъ извѣстномъ трактатѣ объ искусствѣ онъ уже не говоритъ о полной безполезности для народа такихъ продуктовъ цивилизаціи, какъ литература, наука и искусство, но только требуетъ ихъ видоизмѣненія. „Искусство есть духовный органъ человѣческой жизни,—говоритъ онъ,—и его нельзя уничтожить, и потому, несмотря на всѣ усилія, дѣлаемыя людьми высшихъ классовъ для того, чтобы скрыть тотъ религіозный идеалъ (?), которымъ живетъ человѣчество, идеалъ этотъ все болѣе и

болѣе сознается людьми и все чаще и чаще среди нашего извращеннаго общества выражается отчасти и въ наукѣ, и въ искусствѣ. Съ начала нынѣшняго столѣтія появляются все чаще и чаще и въ литературѣ, и въ живописи произведенія высшаго религіознаго искусства, проникнутыя истиннымъ христіанскимъ духомъ, также какъ и произведенія всемірнаго, доступнаго всѣмъ житейскаго искусства. Такъ что самое искусство знаетъ истинный идеалъ нашего времени и стремится къ нему. Съ одной стороны, лучшія произведенія искусства нашего времени передаютъ чувства, влекущія къ единенію и братству людей (таковы произведенія Диккенса, Гюго, Достоевскаго, въ живописи—Милле, Бастіенъ-Лепажа, Жуль Бретона, Лермита и другихъ); съ другой стороны, они стремятся къ передачѣ такихъ чувствъ, которыя свойственны не однимъ людямъ высшихъ классовъ, но такихъ, которыя могли бы соединять всѣхъ людей безъ исключенія. Такихъ произведеній еще мало, но потребность въ нихъ уже сознается. Кромѣ того, въ послѣднее время все чаще и чаще встрѣчаются попытки народныхъ изданій книгъ и картинъ, общедоступныхъ концертовъ, театровъ. Все это еще очень далеко отъ того, что должно быть, но уже видно то направленіе, по которому само собой стремится искусство для того, чтобы выйти на свойственный ему путь.“ Далѣе авторъ говоритъ: „Искусствомъ (въ будущемъ) будутъ считаться только тѣ произведенія, которыя будутъ передавать чувства, влекущія людей къ братскому единенію, или такія общечеловѣческія чувства, которыя будутъ способны соединять всѣхъ людей. Только это искусство будетъ выдѣляемо, допускаемо, одобряемо, распространяемо. Все же остальное искусство, передающее чувства, доступныя только нѣкоторымъ людямъ, будетъ считаться неважнымъ и не будетъ ни осуждаться, ни одобряться. И цѣнителемъ искусства, вообще, не будетъ, какъ это происходитъ теперь, отдѣльный классъ богатыхъ людей, а весь народъ.“ (*)

(*) „Что такое искусство?“ Москва, 1898 г., стр. 170 и 173.

Пожаръ Апраксина рынка.

Къ числу самыхъ страшныхъ пожаровъ, какіе только бывали въ Петербургѣ, нужно отнести пожаръ, истребившій въ 1862 году, пользовавшійся большою извѣстностью у петербургскихъ жителей, Апраксинъ рынокъ. Онъ произвелъ болѣе устрашающее дѣйствіе на обывателей и вызвалъ среди нихъ болѣе громкіе толки, чѣмъ грандіозные пожары, бывшіе ранѣе въ Измайловскомъ полку, на Пескахъ и въ Ямской.

Изъ многочисленныхъ описаній названнаго пожара обращаетъ на себя вниманіе находящееся въ „Воспоминаніяхъ" Головачевой-Панаевой. Это описаніе даетъ яркую картину пожара.

„Въ Духовъ день, пишетъ Панаева, не могу въ точности опредѣлить, чрезъ сколько времени послѣ того, какъ по Литейной промчались пожарные, въ дверяхъ комнаты, гдѣ я сидѣла за работой, появился Андрей, мой лакей, и перепуганнымъ голосомъ проговорилъ: „А. Я., Петербургъ со всѣхъ сторонъ подожгли!"

У меня мелькнула мысль, что Андрей вдругъ сошелъ съ ума; я невольно посмотрѣла ему въ глаза, но не нашла въ нихъ ничего дикаго, кромѣ страшнаго испуга, а онъ поспѣшилъ добавить:

— Извольте сами пойти на подъѣздъ и увидите, что дѣлается на улицѣ.

Я вышла на подъѣздъ и, въ самомъ дѣлѣ, поразилась сумятицей, которая происходила на улицѣ. Собственные экипажи мчались по направленію къ Невскому, на извозчикахъ сидѣли и стояли по-нѣскольку сѣдоковъ. Народъ толпами бѣжалъ посреди улицы, а на тратуарѣ у каждаго дома стояли жильцы; у нашего подъѣзда также стояла группа прислуги и жильцовъ. На лицахъ всѣхъ было выраженіе испуга. Да и точно можно было испугаться скачущихъ экипажей, бѣгущей толпы народа и крика кучеровъ. Къ довершенію всего, сильный вѣтеръ рвалъ съ головы шляпы, пыль столбомъ подымались съ мостовой и ослѣпляла глаза. Мимо нашего подъѣзда двѣ женщины вели подъ руки необычайной толщины купчиху; по ея красному, заплывшему жиромъ лицу, текли ручьи пота; она пыхтѣла какъ тендеръ и стонала

туалетъ этого мастодонта былъ въ безпорядкѣ; косынка на головѣ сбилась набокъ, воротъ у горла былъ растегнутъ; сзади ея шли двѣ молоденькія дѣвушки съ измятыми шляпками и заплаканными глазами, а за дѣвушками плелась поджарая купчиха и голосила, словно провожала покойника, причитывая: „Святые угодники, взмилуйтесь надо мной несчастной!“ У нашего подъѣзда кто-то остановилъ голосившую купчиху разспросами. Купчиха какъ бы обрадовалась, что можетъ излить свое горе, и жалобнымъ голосомъ отвѣчала:

— Милые мои благодѣтели, ковровый платокъ стащили съ меня, вѣдь 50 р. стоилъ.

И купчиха начала разсказывать, что творилось въ Лѣтнемъ саду, гдѣ въ этотъ день было гулянье, когда узнали, что горитъ Апраксинъ рынокъ.

— И, матушка, точнехонько свѣту представленіе приключилось, мужской полъ какъ бросился изъ саду, а за нимъ и наша сестра. Съ меня сволокли ковровый платокъ, а съ Марьи Савишны—тысячную шаль съ брошкой сорвали. Кричали мы, кричали, да кому было насъ, слабыхъ женщинъ, защищать! Съ дочерей Марьи Савишны съ шеи сорвали жемчугъ. Вотъ въ какое разореніе все купечество попало, до свадебъ ли теперь, а нашей сестрѣ приходится съ голоду помирать.

Словоохотливая сваха, кажется, готова была болтать безъ конца, но всѣ, слушавшіе ее, обратили вниманіе на бѣжавшаго впопыхахъ приказчика изъ фруктовой лавки нашего дома. Онъ на бѣгу сообщилъ извѣстіе, что подожгли Коломну и Васильевскій островъ и скоро подожгутъ Литейную.

Это извѣстіе произвело сильнѣйшій переполохъ; всѣ въ ужасѣ ахали, а одна женщина вскрикнула:

— Господи, меня господа оставили одну при квартирѣ, уѣхавъ на дачу; что я могу вытащить, когда у меня и теперь ноги и руки дрожатъ.

— У насъ полонъ дворъ уставленъ дровами!—вскрикнулъ Андрей.

— Во! съ нашего дома и подпалятъ. Въ этой сумятицѣ долго ли поджигателямъ забраться во дворъ, да сунуть зажженной пакли въ дрова—и готово!—произнесъ кучеръ, на котораго накинулись всѣ за его пророчество.

— Ворота надо запереть, дворника заставить не пропускать во дворъ чужихъ,—послышались со всѣхъ сторонъ совѣты.

Андрей въ отчаяніи замѣтилъ, что хозяинъ дома на дачѣ, а управляющій тоже съ утра уѣхалъ на свою дачу.

Женская прислуга разомъ заговорила, что жильцы имѣютъ право потребовать отъ дворниковъ, чтобы они заперли ворота, но кучеръ утвердительно замѣтилъ:

— Не поможетъ, у поджигателей, сказываютъ, имѣется такой составъ: мазанутъ имъ стѣну дома, а онъ черезъ часъ пречудесно вспыхнетъ.

— Ахъ! вскрикнула одна женщина,—Литейная загорѣлась, смотрите дымъ какой!

Всѣ стали смотрѣть по направленію къ Невскому, но, кромѣ столбовъ пыли, я ничего не замѣтила. Кому-то почудилось, что уже запахло гарью и всѣ подняли носы къ верху, нюхая воздухъ. Я ушла въ комнаты, но черезъ часъ одѣлась и вышла изъ подъѣзда, чтобы посмотрѣть на пожаръ. Андрей пришелъ въ ужасъ, что я ухожу и некому будетъ распорядиться, когда придется спасать вещи изъ квартиры,—такъ сильно онъ былъ убѣжденъ, что Литейную непремѣнно подожгутъ.

На Невскомъ, дѣйствительно, пахло гарью и облака дыма носились въ воздухѣ. Движеніе экипажей и народа было здѣсь необычайное.

Я остановилась на тротуарѣ противъ Троицкаго переулка, который представлялся какъ бы вымощеннымъ человѣческими головами, такая плотная масса народа стояла въ немъ. Всюду слышались толки о поджигателяхъ.

Я перешла Аничкинъ мостъ и медленно двигалась по набережной Фонтанки къ Чернышеву мосту въ толпѣ публики. Съ площади неслись черныя тучи дыма, заволакивая небо, а позади черныхъ тучъ дыма виднѣлось огненное небо. По временамъ высоко поднимался столбъ пламени, рельефно обрисовываясь на темномъ фонѣ дыма, и изъ столба, словно дождь, сыпались крупныя искры, которыя вѣтеръ кружилъ и разносилъ на далекое пространство. Сила вѣтра была такъ сильна, что съ мѣста пожара взлетали горящія головни и, перелетая черезъ Фонтанку, падали на крыши домовъ, про-

должая горѣть какъ факелы. Народъ бѣгалъ по крышамъ и сбрасывалъ внизъ головни.

Въ Апраксиномъ рынкѣ было столько горючаго матеріала, какъ въ любой пиротехнической лабораторіи, да и въ горѣвшихъ переулкахъ его было не мало, особенно въ Чернышевомъ. Сильный вѣтеръ, разнося крупныя искры, отъ которыхъ то тутъ, то тамъ загорались деревянныя постройки и дровяные склады, дѣлалъ борьбу съ пожаромъ почти безплодной.

Я не рѣшилась приблизиться къ Чернышеву мосту, боясь быть задавленной несмѣтной толпой, постоянно прибывавшей, и вернулась домой, гдѣ нашла прислугу еще наэлектризованною уличными разсказами о поджигателяхъ.

Я сочла излишнимъ разубѣждать прислугу въ нелѣпости этихъ слуховъ, зная впередъ, что моимъ словамъ не придадутъ вѣры.

На другой день, утромъ, я пошла посмотрѣть на сгорѣвшій Апраксинъ рынокъ; не смотря на раннее утро, на площади у Чернышева моста толпилось множество народу. Площадь представляла совершенный хаосъ: она была покрыта сажей и угольями и загромождена сломанной мебелью, сундуками и узлами, на которыхъ сидѣли ихъ обладатели, оберегая ихъ; всюду валялись полуобгорѣлыя дѣла и бумаги изъ дома министерства внутреннихъ дѣлъ, и вѣтеръ шелестилъ листьями, точно любопытствуя прочесть, что въ нихъ написано. Въ выгорѣвшій рынокъ мнѣ не удалось попасть, потому что входы его оберегались солдатами, равно какъ и входы съ Фонтанки въ горѣвшіе наканунѣ переулки. Но я всетаки попала въ Троицкій переулокъ черезъ Владимірскую улицу. Печальное зрѣлище увидѣла я: по обѣимъ сторонамъ торчали закопченные остовы домовъ съ выбитыми рамами, безъ крышъ, и свѣтъ проникалъ въ разрушенные дома сверху до подвальныхъ этажей и ярко освѣщалъ внутреннее разрушеніе. Обгорѣлыя балки торчали въ разныхъ видахъ: однѣ, до половины сгорѣвшія, держались прямо и на нихъ были перекинуты другія балки; иныя висѣли внизъ, точно на воздухѣ. Въ одномъ домѣ на полуразрушенной стѣнѣ комнаты какимъ-то чудомъ уцѣлѣлъ большой поясной портретъ въ золоченой рамѣ.

Вся мостовая была завалена выбитыми изъ домовъ рамами, искалѣченною мебелью и домашнею утварью. Дровяной дворъ представлялъ складъ углей, въ которомъ копошились черные силуэты пожарныхъ, заливавшихъ тлѣющіе остатки, и струи дыма съ огонькомъ мѣстами виднѣлись на черномъ фонѣ.

Въ одномъ каменномъ разрушенномъ домѣ еще дымился подвальный этажъ и около него стояла машина, на которой усердно качали воду два молодыхъ человѣка съ длинными волосами и въ шляпахъ съ широкими полями, какія тогда преимущественно носила учащаяся молодежъ. На сломанномъ шелковомъ диванѣ, возлѣ машины, сидѣли въ изнеможеніи двое пожарныхъ; вѣроятно, молодые люди, сжалясь надъ ними, смѣнили ихъ на время, чтобы качать воду. Такъ какъ было очень рано, то собравшаяся публика состояла преимущественно изъ простонародія. Я не рѣшилась протиснуться дальше и стояла за толпой зрителей. Впереди меня какой-то мастеровой сказалъ:

— Молодцы, господа, ишь какъ лихо работаютъ!

Какой-то жирный лавочникъ, стоявшій около него, отвѣтилъ на это:

— Хороши эти молодцы—вечёръ подожгли, а теперь для отводу глазъ качаютъ воду, да еще посмѣшиваются.“ (*)

Во время пожара въ Апраксиномъ рынкѣ, вмѣстѣ съ другими торговцами пострадало множество букинистовъ. Одинъ библіофилъ, посѣтившій пепелище толкучаго рынка на другой день послѣ пожара, встрѣтилъ тамъ толпу погорѣвшихъ букинистовъ. Онъ попросилъ ихъ указать мѣсто лавки Матюшина, торговавшаго старыми книгами.—„Вотъ гдѣ была она, лавка Матюшина!“ отвѣтилъ одинъ и швырнулъ камушекъ въ груду пепла и тлѣющихъ угольевъ... „А вѣдь въ лавкѣ Матюшина были вещи, которыхъ и не найти нигдѣ; у Матюшина въ лавкѣ—не въ этой, что сгорѣла, а въ прежней, въ линіи по Садовой—Карамзинъ занимался, Пушкинъ приходилъ къ нему за справками; московскіе знакомые и искатели древностей нарочно пріѣзжали порыться на чердачкѣ Матюшина; къ нему обращались иногда за отдѣльными томами къ рѣдчайшимъ разрозненнымъ изданіямъ, даже за нѣсколь-

(*) Воспоминанія А. Я. Головачевой-Панаевой. С.-П.-Б. 1890 г., стр. 373—378.

кими недостающими страницами, и онъ подбиралъ эти томы и страницы.“ (*)

Толки о пожарѣ Апраксина рынка навели страхъ на петербургскихъ жителей на долгое время. Особенно въ первые дни послѣ пожара было жутко, а еще больше страха было, конечно, въ первую ночь. Хроникеръ журнала „Время“ писалъ объ этомъ слѣдующее: „Всю ночь слышался тревожный говоръ; каждый шумъ проѣхавшаго экипажа, каждый свистокъ хожалаго заставлялъ мирнаго обывателя вскакивать съ постели и торопливо подбѣгать къ окну; тѣмъ, изъ чьихъ оконъ видна каланча ближайшей части, она не давала ничѣмъ спокойно заняться: они глаза проглядѣли на нее и совсѣмъ утомили зрѣніе; тѣмъ, которыхъ природа надѣлила болѣе твердымъ духомъ и невозмутимою покорностью судьбѣ, если и удавалось засыпать, то во снѣ видѣлись огненныя рѣки и озера, совершенно на подобіе лѣсныхъ дворовъ и сплошныхъ клѣтушекъ Апраксина двора; а инымъ, болѣе экзальтированнымъ, и наяву мерещились огоньки: было ли то отраженіе заходящаго солнца въ оконныхъ стеклахъ, или внезапно повалившій черный дымъ изъ фабричной трубы или изъ затопленныхъ съ вечера общественныхъ бань,—все это бросало тревогу въ сердце и заставляло обращаться къ той же полицейской каланчѣ, какъ къ спасительному маяку, и долго всматриваться, не поднимаютъ-ли шары.“ (**)

Реформа въ области орѳографіи.

О чемъ шумите вы, друзья, въ Большой Мѣщанской?
Зачѣмъ анаѳемѣ хотите вы предать
Ѳиту, и ерѣ и ерь, и ижицу и ять?

Н. И. Гречъ.

Въ 1862 году въ Петербургѣ учителями гимназій былъ поднятъ вопросъ объ упрощеніи русской орѳографіи. Съ этою цѣлью въ Педагогическомъ собраніи Стоюнинъ предложилъ „пригласить всѣхъ учителей русскаго языка, занимающихся въ Петербургѣ, съ тѣмъ, чтобы они согласились въ общихъ орѳографическихъ основаніяхъ и, разъяснивъ нѣкоторые спор-

(*) Время 1862 г., іюнь. „Наши домашнія дѣла“, стр. 44.
(**) Тамъ-же, стр. 43—44.

ные пункты, упростили бы самую орѳографію.“ Кромѣ учителей, въ рѣшеніи названнаго вопроса выразили желаніе участвовать и редакторы нѣкоторыхъ періодическихъ изданій.

Въ назначенный день, 10 Марта, въ 8 часовъ вечера, въ зданіи 2-й Петербургской гимназіи, собралось до ста человѣкъ педагоговъ и другихъ лицъ, живо заинтересованныхъ въ дѣлѣ упрощенія русской орѳографіи. Въ числѣ присутствовавшихъ было нѣсколько дамъ. Сохранилось современное описаніе названнаго достопамятнаго событія. Авторъ этого описанія, между прочимъ, повѣствуетъ слѣдующее, живо изображая картину, которой ему пришлось быть очевидцемъ.

„Было безъ четверти восемь, когда мы отправились во вторую гимназію. Солнце уже закатилось. Весенній вѣтерокъ дышалъ прохладою. Мы пришли наверхъ, въ залу. По срединѣ залы стоялъ столъ въ формѣ *покоя*, покрытый зеленымъ сукномъ; вокругъ него стулья. Вдоль стѣны два-три шкапа, играющіе роль минералогическаго кабинета.

„Посѣтители большею частью имѣли какой-то пасмурный, озабоченный видъ... Нѣкоторые ходили по залѣ съ папиросой во рту, другіе таинственно шептались, вѣроятно, о какой-нибудь новой продѣлкѣ преступницы (орѳографіи), третьи чинно сидѣли за столомъ.

„До восьми часовъ остается какихъ нибудь двѣ минуты. Являются сторожа со свѣчами и ставятъ симметрично шесть свѣчъ на столъ. Тотчасъ же послѣ этого передъ всякимъ сидѣвшимъ за столомъ кладется поллиста бумаги, сложенный пополамъ, и карандашъ.

„Наконецъ вожделѣнный часъ наступилъ. Одинъ изъ сидѣвшихъ за столомъ на самой серединѣ встаетъ. Это былъ г. Стоюнинъ. Водворяется тишина.

„—Прежде чѣмъ мы приступимъ къ обсужденію спорныхъ вопросовъ по части нашего правописанія, началъ онъ,— я имѣю честь предложить вамъ, мм. гг., выбрать президента. Такъ не угодно ли вамъ будетъ написать каждому на бумагѣ фамилію того, кого онъ желаетъ выбрать въ президенты.

„Человѣкъ пять шесть взялись за карандаши.

„—Извините, осмѣлились мы замѣтить:—для насъ, по крайней мѣрѣ, это совершенно невозможно—мы здѣсь не видимъ никого изъ знакомыхъ, мы никого здѣсь не знаемъ...

„Послышались разные голоса: „да все ровно, хоть кого-нибудь...“ „да пишите хоть Стоюнина“ и т. д.“ (*)

Президентомъ былъ избранъ Перевлѣсскій. Затѣмъ начались пренія. Не установивъ общихъ основаній для рѣшенія вопроса, занялись обсужденіемъ правилъ употребленія отдѣльныхъ буквъ. Начали съ звука *ё*. Спрашивали, слѣдуетъ ли ввести *ё* въ алфавитъ какъ отдѣльную букву. Мнѣнія раздѣлились, авторъ же упомянутаго нами описанія достопамятнаго событія думалъ про себя: „Мы и съ *ятемъ* не знаемъ, какъ управится, а тутъ приходится еще сочинять правила объ употребленіи *ё*. Пощадите!... Къ тому же теперь вообще хлопочутъ о сокращеніи штатовъ... Нѣтъ, ужъ пускай *ё* остается сверхштатною, какъ до сихъ поръ была.“ Затѣмъ перешли къ буквамъ *и* и *і* и порѣшили, что можно было бы довольствоваться буквой *и*, но, тѣмъ не менѣе, оставили право на существованіе и буквѣ *і* которой грозило изгнаніе изъ русскаго алфавита. Третьей буквой была *э*, которую рѣшили замѣнить буквою *е*. При этомъ кто-то назвалъ звукъ *э* отвѣснымъ. Это навело названнаго нами автора на размышленіе, и онъ подумалъ: „Отвѣсный звукъ! Это и ново, и мило. Эпитетъ мѣткій. Значитъ *ѣ*—звукъ горизонтальный?“

24 марта происходило второе совѣщаніе педагоговъ, подъ предсѣдательствомъ Паульсона. На немъ рѣшали вопросъ объ общихъ основаніяхъ правописанія, который былъ затронутъ въ предшествовавшемъ засѣданіи. Разсуждали о томъ, слѣдуетъ ли произвести коренное преобразованіе въ орѳографіи, или ограничиться второстепенными вопросами? Мнѣнія раздѣлились. Г. Кодинскій сказалъ: „Мы живемъ въ эпоху коренныхъ преобразованій; крестьянскій вопросъ, напримѣръ, совершенно долженъ преобразовать наше общество. Поэтому, мнѣ кажется, и реформа въ правописаніи должна быть коренная“. Г. Киневичъ также требовалъ кореннаго преобразованія. Г. Сидонскій доказывалъ, что надо начать съ мелочей. Г. Кодинскій настаивалъ на коренномъ преобразованіи. Онъ говорилъ: „Лѣтъ двадцать тому назадъ я издалъ „Упрощеніе русской грамматики“. Въ этомъ сочиненіи... вѣроятно, кто-нибудь изъ общества читалъ его? (слышатся смѣшанные голоса: „какъ же, читали, читали!.. Что

(*) Время 1862 г., мартъ. „Орѳографическая распря“, К. Су-ва, стр. 59—60.

это, Кодинскаго? еще бы!.. всѣ читали!"). Въ этомъ сочиненіи я предлагалъ сдѣлать коренное преобразованіе въ нашей грамматикѣ, и, принявъ предложенную мной реформу, всѣ бы легко и скоро научились писать по-русски безъ ошибки; средство самое простое: принять вмѣсто нынѣшняго русскаго шрифта латинскій". Едва Кодинскій это произнесъ, какъ со всѣхъ сторонъ раздались громкіе голоса:

— Въ такомъ случаѣ надо завести школы для всѣхъ насъ! Мы должны будемъ учиться грамотѣ снова!

— Русскій шрифтъ не умретъ! Онъ будетъ жить, пока Россія не умретъ!

— Вы обрекаете всю нашу литературу на сожженіе!

Классовскій возражаетъ Кодинскому, что всѣ славянскіе народы, принявшіе латинскій шрифтъ, должны были придумать множество новыхъ знаковъ для передачи тѣхъ звуковъ, которыхъ латинскій алфавитъ не выражаетъ. (Слышится голосъ Кодинскаго: „Да они писать не умѣютъ!"). „Это крайнее неудобство. А между тѣмъ Кириллъ придумалъ начертанія, именно вызванныя нашими звуками. Для выраженія, напримѣръ, звуковъ *щ*, *ѣ* и другихъ, вамъ придется употреблять или какіе-нибудь надстрочные знаки, или хвостикъ внизу, какъ напримѣръ, въ польскомъ носовые звуки ą и ę".

Слышится громкій голосъ Кодинскаго: „я буду безъ хвостиковъ писать!" Раздается страшный хохотъ, усмиряемый колокольчикомъ.

Кто-то спрашиваетъ Кодинскаго, какъ выразить латинскимъ алфавитомъ звукъ *ѣ*, не прибѣгая къ комбинаціи буквъ?

Кодинскій. Да я совсѣмъ не о томъ говорю. Я говорю, что если мы перемѣнимъ нашъ шрифтъ на латинскій, то хоть намъ и не легче будетъ послѣ этого учиться грамматикѣ, зато иностранцамъ будетъ легче. Вотъ я объ чемъ говорю. Къ тому же наборщикамъ при вставкѣ иностранныхъ фразъ въ русскій текстъ не придется лазить изъ одной кассы въ другую...

Присутствующіе отвѣчаютъ на эти слова смѣхомъ. Слышится голосъ: „Да мы о себѣ хлопочемъ, а не объ иностранцахъ! Что намъ до нихъ за дѣло!"

Продолжительные дебаты о преобразованіи правописанія заканчиваются перевѣсомъ мнѣнія о необходимости радикальной реформы. Киневичъ предлагаетъ выкинуть нѣсколько буквъ изъ алфавита и прежде всего букву *ѣ*. Мнѣнія его относительно послѣдней буквы принимается всѣми. Затѣмъ Киневичъ говоритъ о необходимости поступить такимъ же образомъ и съ буквою *ъ*, которая на страницѣ составляетъ двадцатую часть всѣхъ буквъ, такъ что изъ 40 печатныхъ листовъ 2 уходятъ на *ъ*. Свою аргументацію онъ заканчиваетъ слѣдующимъ соображеніемъ: „Энциклопедическій лексиконъ предполагается издать въ сорока томахъ; стало-быть, два тома будутъ посвящены одному еру. Каждый томъ обходится издателямъ въ 15,000 рублей; слѣдовательно, 30,000 рублей имъ придется заплатить за еръ!“ Это замѣчаніе вызвало дружный смѣхъ и аплодисменты.

Результатъ второго засѣданія выразился въ словахъ: *„Принять ту или другую предлагаемую реформу можно, но въ практику вводить нельзя.“*

Сообщая о названныхъ засѣданіяхъ, авторъ замѣтки „Орѳографическая распря“ съ ироніей замѣчалъ: „Не обратиться ли намъ къ нѣмцамъ? Народъ хитрый, обезьяну выдумалъ, а привести въ порядокъ русскую орѳографію сумѣетъ и подавно. Нѣтъ, не шутя. Дѣло къ тому же бывалое. Кого всѣхъ больше поражало безобразіе нашей грамматики? Нѣмцевъ. Первой русской грамматикой у насъ обыкновенно считается грамматика Ломоносова; во второй половинѣ прошлаго столѣтія она считалась авторитетомъ; а кто заподозрѣлъ этотъ авторитетъ въ разныхъ недостаткахъ? Нѣмецъ Шлёцеръ, тотъ самый Августъ Людвигъ Щлёцеръ, который считается первымъ русскимъ историческимъ критикомъ. Въ Россію пріѣхалъ онъ не зная ни слова по-русски, но это нисколько не помѣшало ему меньше чѣмъ черезъ два года приняться за передѣлку нашей грамматики, которая съ толку его сбивала своей безалаберностью. Дѣло было вотъ какъ. Занятія русскимъ языкамъ Шлёцеръ началъ, разумѣется, съ перевода; переводилъ указы и разныя статейки, которыя сообщалъ ему его начальникъ Таубертъ, членъ канцеляріи академіи наукъ. Вотъ какъ разсказываетъ про свои грамматическія занятія самъ Шлёцеръ:

„Безчисленное множество разъ, говоритъ онъ, мнѣ приходилось толковать съ моимъ Начальникомъ Таубертомъ на счетъ русскаго языка, потому что не только при переводѣ указовъ, но и при чтеніи разнаго рода рукописныхъ статей, что онъ давалъ мнѣ, мнѣ все еще попадались мѣста, которыхъ объяснить не могли мнѣ ни грамматика, ни словарь. Таубертъ хоть и хорошо зналъ по-русски, однакожъ общихъ философскихъ свѣдѣній о грамматикѣ не имѣлъ; оттого ему нерѣдко доводилось слышать отъ меня такіе вопросы и возраженія, которые рѣшительно ставили его втупикъ. Разумѣется, при этихъ случаяхъ дѣло не могло обойтись безъ того, чтобы не поговорить о тогдашнихъ русскихъ грамматикахъ, въ особенности о грамматикѣ Ломоносова, считавшейся въ то время образцовою. При помощи всеобщей грамматики я указалъ ему въ ломоносовской грамматикѣ множество неестественныхъ правилъ и безполезныхъ подробностей, и мои указанія до того были ясны, что ему стало даже досадно—какъ это онъ самъ раньше не замѣтилъ такихъ промаховъ? Конецъ былъ тотъ, что въ началѣ 1763 года Таубертъ сказалъ мнѣ: „Послушайте, напишите-ка русскую грамматику вы сами, а ужъ академія ее напечатаетъ.“

„Вотъ я и взялся за это порученіе; кажется, оно было мнѣ по силамъ. Кромѣ того, что я зналъ кое-что изъ всеобщей грамматики, у меня еще достаточно было свободнаго времени на то, чтобы сравнить русскій языкъ, какъ по отношенію къ отдѣльнымъ словамъ, такъ и по отношенію къ грамматикѣ, со многими сродными ему нарѣчіями: ни о томъ, ни о другомъ Ломоносовъ и не подумалъ, стало-быть, и въ томъ и въ другомъ случаѣ я имѣлъ надъ нимъ значительный перевѣсъ. Примѣры я нарочно выбиралъ изъ него, а правила были мои собственныя. Въ сомнительныхъ случаяхъ я обращался къ сослуживцу моему Румовскому, который старался опредѣлить русскія грамматическія правила съ математическою точностью.“

„Шлёцеръ, однакожъ, такъ и не кончилъ своего труда: дошелъ до склоненій именъ прилагательныхъ, въ академической типографіи ему отпечатали одиннадцать листовъ—и только. Теперь ихъ и не найдешь нигдѣ. Говорятъ, будто всего сохранилось три экземпляра гдѣ-то, да четвертый ле-

житъ въ гёттингенской библіотекѣ. Но для насъ это неважно; для насъ важно то, что коренная реформа нашей грамматики задумана была нѣмцемъ. Достанетъ ли у насъ силъ совершить реформу въ правописаніи самимъ? Не лучше ли будетъ обратиться къ нѣмцамъ? Право! Почемъ знать, окончи только Шлёцеръ начатый трудъ—можетъ мы бы совсѣмъ не такъ безграмотны были, какъ теперь."

„Попытки же русскихъ реформаторовъ правописанія почему-то никогда не удавались. Укажемъ пока на два примѣра: на Тредьяковскаго и на Хабарова."

Затѣмъ авторъ названной замѣтки излагаетъ теорію Тредьяковскаго и „отставного корректора "Хабарова, который 22 года провелъ въ типографіяхъ. Не останавливаясь на первомъ, скажемъ нѣсколько словъ о второмъ. Въ своей автобіографіи Хабаровъ, между прочимъ, говоритъ: „Всякій разъ, набирая какую-нибудь книгу, я думалъ объ улучшеніи литеръ азбуки; вмѣсто отдыха, послѣ работы, чертилъ формы буквъ или задумывался надъ безтолковой азбукой нашей." Далѣе, въ предисловіи къ своей азбукѣ, онъ замѣчаетъ: „Машинальная работа типографская совсѣмъ придавила мой разсудокъ. Правда, сначала я набиралъ литеры какъ и всѣ прочіе наборщики—работалъ одними глазами и ручною памятью, безъ малѣйшаго вниманія къ тому, что набираю, не думая о возможности сдѣлать эту работу простѣе. Мысль о возможности улучшенія русской азбуки представилась мнѣ, когда я сталъ набирать съ одной рукописи, въ которой авторъ исключилъ *ѣ* и *и*. То была рукопись профессора Барсова (см. Московскій журналъ 1792 г.). Я сталъ изыскивать средства усовершенствовать нашу азбуку". Задумавъ реформу правописанія, отставной корректоръ предлагалъ выбросить изъ алфавита восемь буквъ: *і*, *щ*, *ъ*, *ь*, *ѣ*, *э*, *ѳ*, и *ѵ*. Говоря о безполезности буквы *ъ*, онъ замѣчалъ: „Сочтите на досугѣ, сколько сбережется времени, бумаги, свинцу, чернилъ безъ этого безполезнаго *ъ*!.. А что онъ въ окончаніи словъ совершенно безполезенъ, о томъ никто не споритъ. Зачѣмъ же держать тунеяда?"

Отнесшись ко многому иронически, авторъ замѣтки нашелъ весьма серьезнымъ слѣдующее замѣчаніе, сдѣланное въ собраніи педагоговъ, задумавшихъ произвести реформу

въ правописаніи: „Положимъ, что правила правописанія, одобренныя настоящимъ собраніемъ, будутъ приняты и установятся въ свѣтской литературѣ; но духовная-то литература что скажетъ? Будетъ ли она согласна принять ихъ? А ея согласіе очень важно: мы теперь хлопочемъ о распространеніи грамотности въ народѣ, а народъ, какъ всякому изъ присутствующихъ извѣстно, всего охотнѣе берется за книги духовнаго содержанія". По поводу этой мысли, авторъ замѣтки отъ себя замѣтилъ: „Слова господина, выразившаго эту мысль, слова самой истины. Къ сожалѣнію, въ засѣданіе не явилось ни одного духовнаго лица. Очень, очень жаль. Не можетъ быть, чтобъ наше духовенство нисколько не интересовалось вопросомъ о нашемъ правописаніи. Или, можетъ быть, время для совѣщаній назначено не совсѣмъ удобное—суббота, вечеръ?"

Въ „Памятной книжкѣ С.-Петербургской губерніи" за 1863 годъ было напечатано слѣдующее заявленіе:

„По предложенію учителя третьей гимназіи В. Я. Стоюнина, въ продолженіе 1862 года, руководствуясь требованіями науки о языкѣ и историческимъ ходомъ нашего правописанія, выкинуты буквы: *ъ*, *ь*, *и*, *ѣ*, *ѳ*, а также предположены и другія перемѣны въ грамматическихъ измѣненіяхъ словъ".

„Въ настоящее время учители русскаго языка и словесности, собираясь во вторую и четвертую субботы каждаго мѣсяца, занимаются упрощеніемъ грамматики отечественнаго языка какъ науки и какъ учебнаго предмета". Замѣтка эта была напечатана въ подлинникѣ по новой орѳографіи.

Въ то время, когда происходила названная ломка русской грамматики и трещали традиціонныя основы русской орѳографіи, былъ еще живъ старѣйшій изъ русскихъ грамматиковъ Н. И. Гречъ. Видя, что дерзкіе новаторы стараются поколебать устои того зданія, надъ которымъ онъ самъ долгое время трудился, огорченный насадитель русской грамотности излилъ свою желчь въ слѣдующихъ стихахъ, пародируя стихотвореніе Пушкина „Клеветникамъ Россіи":

О чемъ шумите вы, друзья, въ Большой Мѣщанской?
Зачѣмъ анаѳемѣ хотите вы предать
ѳиту, и ***еръ*** и ***ерь***, и ***ижицу*** и ***ять***?

Иль подвигъ совершить мечтаете гигантскій,
Когда бы удалось вамъ дерзкою рукой
Изъ русской азбуки ихъ вытолкать въ три-шей?
Оставьте этотъ споръ старинный и пустой!
Почище васъ брались за это грамотеи,
Да не могли рѣшить давнишній тотъ вопросъ.
И противъ этихъ буквъ, какъ противъ супостатовъ,
Школярство поднялось!
За что, про что на нихъ гоненье началось?
Для экономіи, для сокращенья штатовъ?
Для красоты письма? иль просто, можетъ быть,
Чтобы безграмотнымъ невѣждамъ угодить!
Но чтобы порѣшить вопросъ такого сорту,
Такъ и грамматику послать бы лучше къ чорту.
Пиши, какъ говоришь, пиши: „*маво*, *тваво*“.
Хоть выйдетъ ерунда, да это ничего.
Зато родной языкъ для мужиковъ упрочимъ.
Мы о натурѣ всѣ ужъ такъ давно хлопочемъ!
Но кто жъ вамъ право далъ, составивъ комитетъ,
Коверкать грамоту, непризванные судьи?
Откуда вы взялись? гдѣ вашъ авторитетъ?
Или васъ уважать должны мы на безлюдьи?
Вамъ дѣлать нечего; васъ тѣшитъ этотъ споръ,
А на порядочныхъ людей тоску наводитъ:
Толчете воду вы—и безтолочь выходитъ!
Но чѣмъ же кончится вашъ судъ и приговоръ?
Намъ споры дѣльные всѣ какъ-то не даются,
И эти сходбища конецъ извѣстный ждетъ:
„Поспорятъ, пошумятъ и разойдутся“,
И дѣло далѣе Мѣщанской не пойдетъ! (*)

Покорители Ташкента.

Въ числѣ героевъ, прославившихъ своими подвигами русское оружіе, видное мѣсто принадлежитъ генералу Черняеву, покорителю Ташкента. Въ 1865 году, имѣя подъ своимъ начальствомъ ничтожный отрядъ въ 2,000 человѣкъ, онъ взялъ сильно укрѣпленный городъ, въ которомъ было

(*) Русская Старина 1898 г., апрѣль. „Записная книжка“, стр. 47—48.

до 100,000 жителей и до 30,000 гарнизона. Городъ былъ обнесенъ высокими стѣнами и защищался 63 пушками. Кромѣ того, на помощь къ осажденному городу шелъ Бухарскій эмиръ съ арміей въ 60,000 человѣкъ. И не смотря на это, Ташкентъ палъ подъ натискомъ небольшого, но храбраго отряда, руководимаго не менѣе храбрымъ и искуснымъ вождемъ.

Защита Ташкента была поручена храброму муллѣ Алимкулу. Съ отрядомъ въ 6,000 отборнаго войска и 40 пушками онъ встрѣтилъ Черняева въ 7 верстахъ отъ города. Онъ хотѣлъ обойти русскій отрядъ съ тыла, но планъ его былъ разрушенъ, и сраженіе окончилось полной побѣдой русскихъ. Въ числѣ павшихъ коканцевъ былъ и храбрый Алимкулъ. Участь Ташкента была рѣшена.

„Глубокою ночью, подъ 15 іюня, повелъ Черняевъ свой отрядикъ черезъ окрестные сады къ Камеланскимъ воротамъ. Колеса пушекъ были обвязаны войлокомъ, люди говорили шепотомъ, никто не курилъ, никакой шумъ не выдавалъ приближенія войска. Его было теперь всего 1,300 человѣкъ. Коканцы отрѣзали имъ тылъ, бухарцы надвигались спереди. Но русскіе храбрецы рѣшились твердо или взять Ташкентъ, или пасть подъ его стѣнами. Да и выбора другаго имъ небыло.

„У сартовъ была Ураза, и они, пропраздновавъ долго ночью, стали крѣпкимъ сномъ. Русскіе удальцы очутились на стѣнахъ и за воротами раньше, чѣмъ раздался первый выстрѣлъ. Это было въ $2^1/_2$ часа утра. Священникъ Маловъ однимъ изъ первыхъ полѣзъ на стѣну, съ крестомъ въ рукахъ. Тутъ закипѣлъ страшный бой. Самъ Черняевъ остался защищать ворота, ставшія теперь опорнымъ пунктомъ всего отряда, мужественно отбиваясь съ горстью храбрецовъ отъ отчаянно насѣдавшихъ на него безчисленныхъ скопищъ. Абрамовъ съ своей колонной двинулся вдоль стѣнъ къ Кашгарскимъ воротамъ, гдѣ его дожидалась другая маленькая колонна Краевскаго; въ то же время колонна Жемчужникова пошла прямо на цитадель, въ середину города. Каждый шагъ приходилось покупать кровью. Коканцы рѣзались въ переулкахъ, въ садахъ, на завалахъ, по вершкамъ уступали стѣну, перерѣзанную глиняными траверсами, обращали въ

бойницу каждую саклю, стрѣляя безъ перерыва изъ оконъ, изъ подваловъ, изъ-за глиняныхъ заборовъ, окружавшихъ улицы. Всякій домъ нужно было брать приступомъ. Священникъ Маловъ ѣхалъ все время впереди солдатъ, высоко поднявъ въ рукѣ крестъ, ободряя робѣвшихъ и утомленныхъ, мужественно напутствуя умирающихъ.

„—Батюшка! отпусти душеньку. Прими послѣдній вздохъ! то и дѣло взывали къ нему умирающіе на лицахъ солдатики.

„Отецъ Маловъ останавливался, спрыгивалъ съ коня, выслушивалъ среди свиста пуль и стука оружія предсмертную исповѣдь, читалъ отпускную и смѣло ѣхалъ опять дальше впередъ, въ развалъ кипѣвшей всюду сѣчи. На груди у него висѣла дароносица на золотой цѣпи, въ рукѣ сверкалъ крестъ, свѣтлая священническая одежда обращала на него всеобщее вниманіе. Ташкентцы считали его главнымъ предводителемъ русскихъ, и пули сыпались въ него изъ-за каждаго дувала, изъ каждаго окна, мимо котораго онъ проѣзжалъ. Но Богъ сохранилъ его невредимо; одинъ Сарбазъ выстрѣлилъ въ него почти въ упоръ, всего въ двухъ саженяхъ, и осѣкся; тогда онъ со всей силы ударилъ отца Малова прикладомъ ружья и разбилъ ему плечо. Солдатики однако не дали въ обиду своего любимца-батюшку и живо подхватили на штыки разъяреннаго азіата.

„Въ восьмомъ часу утра цитадель была занята, и разсѣянныя колонны соединились наконецъ вмѣстѣ. Среди стотысячнаго города, съ обхватомъ въ 25 верстъ, собралось всего 900 человѣкъ героевъ побѣдителей. Но городъ еще не думалъ сдаваться. Цѣлый день до глубокой ночи продолжалось кровая рѣзня; даже ночью азіаты не давали покоя нашимъ утомленнымъ войскамъ, то и дѣло налетая на наши караулы и осыпая ихъ выстрѣлами.

„Ночевали наши войска у Камеланскихъ воротъ, куда ихъ потребовалъ Черняевъ, совсѣмъ задавленный массами Сартовъ. Съ ранняго утра 16 іюня возобновилась рѣзня и стрѣльба и шла опять до глубокой ночи. Городъ пылалъ въ разныхъ концахъ, зажженный нашими. Только на третій день, 17 іюня, когда всѣ надежды отбить у насъ городъ были потеряны, миролюбивая партія горожанъ, состоявшая главнымъ образомъ изъ торговцевъ и промышленниковъ, одер-

жала наконецъ верхъ надъ фанатиками-муллами и вліятельными аксакалами, хотѣвшими биться до послѣдней капли крови. Ташкентъ сдался на волю побѣдителя. Коканское войско ушло, но 63 пушки, 16 знаменъ, огромные военные и съѣстные запасы достались намъ въ добычу.

„Бухарскій эмиръ былъ глубоко потрясенъ вѣстью о паденіи величайшаго и богатѣйшаго изъ туркестанскихъ городовъ. Имя Черняева стало славно въ самыхъ далекихъ углахъ Азіи, и ужасъ передъ непобѣдимымъ русскимъ оружіемъ овладѣлъ всѣми враждебными намъ ханствами.

„Но даже этотъ сказочно-геройскій разгромъ Ташкента не такъ поразилъ воображеніе азіатовъ, какъ поразило ихъ спокойное мужество Черняева, который на другой же день послѣ кровопролитнаго боя, отправился будто ни въ чемъ не бывало, въ сопровожденіи только двухъ казаковъ, въ самый очагъ многолюдныхъ сартскихъ базаровъ вымыться, по русскому обычаю, въ банѣ послѣ понесенныхъ имъ боевыхъ трудовъ...

—„Это не человѣкъ, а чародѣй! говорили про него озадаченные Сарты.—Его не беретъ ни пуля, ни желѣзо... И онъ не боится ничего!...“ (*)

Паденіе Ташкента было тяжкимъ ударомъ для всего стараго среднеазіатскаго режима. Трепетъ прошелъ по всему Туркестану, съ вѣстью о русскомъ полководцѣ, который съ горстью „бѣлыхъ рубахъ“ овладѣваетъ сильными крѣпостями. Только Бухарскій эмиръ, не теряя своей надменности, требовалъ отъ Черняева очищенья Ташкента, при чемъ указывалъ на свое происхожденіе отъ Тамерлана и на владычество своихъ предковъ въ Россіи.

Близъ Камеланскихъ воротъ, гдѣ происходилъ самый жаркій бой между русскими и коканцами, находится кладбище, на которомъ похоронены тѣла павшихъ покорителей Ташкента. Кладбище представляется тѣнистымъ садомъ, среди котораго находится мраморная часовня, построенная въ русскомъ стилѣ. На одной сторонѣ часовни находится надпись золотыми буквами: „Нѣтъ больше любви, какъ положить душу свою за други свои;“ на противоположной сторонѣ дру-

(*) Русское Обозрѣніе 1893 г., декабрь, „На Оксусѣ и Яксартѣ“, Е. Л. Маркова, стр. 657—659.

гая: „Господи! упокой души рабовъ твоихъ и сотвори имъ вѣчную память!“ На мраморной доскѣ, находящейся внутри часовни, перечислены имена офицеровъ и солдатъ, подъ ней похороненныхъ. За часовнею находится мраморная гробница, по четыремъ угламъ которой лежатъ пирамидальныя кучки ядеръ. Эта гробница также обозначаетъ мѣсто вѣчнаго упокоенія многихъ изъ покорителей Ташкента. „Тѣнистый садъ, говоритъ Е. Марковъ,—осѣнилъ теперь своими безмолвными зелеными шатрами и душистыми букетами своихъ цвѣтовъ это мѣсто недавней борьбы и крови. Лиловые ирисы на высокихъ стебляхъ мирно качаются среди бархатистыхъ газоновъ, устилающихъ этотъ бранный прахъ, будто толпы невинныхъ дѣтей, беззаботно играющія на могилахъ своихъ отцовъ... Каждый годъ 15 іюня въ день славнаго приступа сюда направляется крестный ходъ изъ Ташкентскаго военнаго собора и служится торжественная панихида на могилахъ павшихъ героевъ. Но и въ другіе дни нѣкоторые русскіе жители Ташкента любятъ пріѣзжать на Камеланское кладбище—посидѣть и помечтать въ тѣни его тихаго сада и напиться чайку въ совершенно деревенской обстановкѣ. Столики и скамеечки устроены для этого въ уютныхъ уголкахъ сада, а у сторожа достаютъ самовары и все нужное для чая.

„Мы тоже посидѣли на родныхъ могилкахъ, подъ тѣнью цвѣтующихъ деревьевъ, вспоминая былое. Русскій человѣкъ—скромный человѣкъ. Поэтъ съ особенно чуткою русскою душой сказалъ о немъ удивительно хорошо:

Не пойметъ и не замѣтитъ
Гордый взоръ иноплеменный,
Что́ сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ красотѣ твоей смиренной...

„Русскій герой менѣе всего считаетъ себя героемъ, не хвастаетъ и не позируетъ. Графъ Л. Толстой чутьемъ своего художественнаго генія постигъ эту глубокую черту роднаго народа и нарисовалъ намъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ безсмертные типы смиренныхъ русскихъ героевъ въ лицѣ прапорщика Тушина и солдата Каратаева. Герои Франціи или Германіи, герои римскіе и греческіе были совсѣмъ другіе. Герои есть у всѣхъ народовъ, но смиренный герой—это наше собственное русское дѣтище.“

Вблизи русскаго кладбища находится мусульманское. „Есть своего рода глубокій трагизмъ, замѣчаетъ названный писатель,—въ этомъ братскомъ сосѣдствѣ вражескихъ могилъ. Былые соперники словно остались на своихъ мѣстахъ, гдѣ они упорно бились другъ противъ друга, если не на землѣ, то хотя въ нѣдрахъ ея, не уступивъ ни вершка ни тѣ, ни другіе. Но мать-природа, всеблагая какъ Создатель ея, покрыла однимъ и тѣмъ же своимъ покровомъ любви прахъ всѣхъ своихъ мятежныхъ сыновъ, не различая ихъ одеждъ и языка, и на своемъ миротворномъ лонѣ опять содѣлала ихъ братьями, созданными изъ одного праха и возвращенными въ тотъ же прахъ...

„И надъ убитыми мусульманами, какъ и надъ нашими православными солдатиками, также волнуется молодая зеленая трава, и глядятъ изъ нея своими веселыми разноцвѣтными глазками весенніе цвѣты, и сіяетъ въ царственномъ величіи, заливая своими огненными потоками синія бездны неба, плодотворящее солнце...“ (*)

Смерть, сразившая многихъ во время осады Ташкента, пощадила доблестнаго отца Малова. Е. Маркову удалось увидѣть этого героя въ Ташкентѣ, въ соборѣ, во время пасхальнаго богослуженія. Это былъ почтенный, уже глубокій старецъ. „Бѣлая, длинная борода, говоритъ г. Марковъ,—и такіе же, какъ серебро, бѣлые волосы, обрамляли сухощовое, суровое лицо, среди старческихъ морщинъ котораго горѣли смѣлымъ, вовсе нестарческимъ огнемъ энергическіе черные глаза. На старцѣ была митра, хотя остальныя одежды его были не архіерейскія, а священническія. Твердымъ и мужественнымъ голосомъ проговорилъ онъ во время обѣдни эктенію, хотя держалъ чашу съ Святыми Дарами порядочно дрожавшими руками; ему нужно было употребить нѣсколько минутъ, чтобы съ замѣтнымъ усиліемъ повернуться къ алтарю.

„— Кто это такой? спросилъ я, пораженный своеобразною фигурой старца, внушавшей невольное благоговѣніе.

„— А это самая большая знаменитость Ташкента, священникъ Маловъ, отвѣчали мнѣ.—Онъ у насъ называется покорителемъ Туркестана.

(*) „На Оксусѣ и Яксартѣ“, стр. 659.

„— Какъ это покорителемъ Туркестана?

„— Да это просто: онъ, дѣйствительно, былъ однимъ изъ главныхъ героевъ, завоевавшихъ намъ этотъ край. Онъ лично бралъ приступомъ и Ташкентъ, и Ходжентъ, и Хиву, и Коканъ, словомъ, почти всѣ здѣшнія крѣпости.

„— Онъ былъ прежде военный?

„— Нисколько; онъ всегда былъ священникомъ. Въ 1889 году мы праздновали пятидесятилѣтіе его священничества. Онъ въ сущности не такъ старъ, какъ кажется, ему всего 76 лѣтъ, а это его походы да битвы уходили; отъ ревматизма ноги почти отнялись. А то бы онъ, пожалуй, и теперь на приступъ полѣзъ! улыбнулся мой собесѣдникъ.

„— Чего жъ его архіереемъ не сдѣлаютъ? Вѣдь онъ вѣрно вдовецъ?

„— Синодъ ему еще въ 1871 году предлагалъ сдѣлаться первымъ Туркестанскимъ архіереемъ, когда епархія учреждалась, но отецъ Андрей не захотѣлъ; почести его не особенно соблазняютъ, а съ семьей разстаться не хочетъ; у него тутъ дочь замужняя, внуки, правнуки... Онъ ихъ ужасно всѣхъ любитъ и живетъ всегда съ ними. Къ тому же, чѣмъ онъ здѣсь меньше архіерея? Почетъ и уваженіе къ нему во всемъ Туркестанѣ, что никакому архіерею не оказываютъ: и генералъ-губернаторы и начальники всѣ—все это его почитатели самые искренніе, бо́льшею частью даже соратники его по походамъ, офицерами молодыми при немъ были; звѣзды и кресты у него всякіе есть, народъ чуть не молится на него. Ни одинъ солдатъ не уйдетъ отсюда на родину, не купивъ портретика „дѣдушки Малова,“ какъ величаютъ здѣсь его. Это, знаете, въ родѣ какой-то мѣстной святыни у насъ... Общій любимецъ и общая слава наша.“

Въ бою отецъ Маловъ всегда былъ впереди всѣхъ. Его можно было отличить по бѣлой лошади и свѣтлому подряснику. Когда онъ устремлялся въ бой, поднявъ высоко крестъ въ рукѣ, азіаты принимали его за главнокомандующаго. Подъ Ходжентомъ онъ распоряжался артиллеріей. При Иръ-Джарѣ, когда уже нашимъ войскамъ ударили отбой, въ виду критическаго положенія,—Маловъ остановилъ солдатъ и съ крикомъ „ура!“ вновь двинулъ ихъ въ дѣло. Храбрые офицеры Абрамовъ и Пистолькорсъ поддержали его, и битва кончи-

лась полнымъ пораженіемъ коканцевъ. Кауфманъ говаривалъ, что если бы отецъ Андрей былъ военнымъ, то онъ счелъ бы за величайшую честь служить подъ его начальствомъ. Когда Черняеву въ одномъ торжественномъ собраніи провозгласили тостъ, какъ покорителю Ташкента, онъ отвѣтилъ присутствующимъ: „Не могу принять тоста за покорителя Ташкента. Безъ такихъ сподвижниковъ, какъ отецъ Маловъ ничего бы я одинъ не сдѣлалъ. Выпьемте жъ прежде за его здоровье!“ Маловъ собралъ средства для постройки военнаго собора въ Ташкентѣ, для чего ѣздилъ въ Петербургъ и Москву. При его содѣйствіи сооруженъ и памятникъ надъ павшими при осадѣ Ташкента. „Теперь отецъ Маловъ, говоритъ Е. Марковъ, мирно и тихо, какъ догорающій свѣтильникъ, доканчиваетъ свои почтенные дни, окруженный благоговѣйнымъ уваженіемъ всего населенія и заботами своей многочисленной семьи. Разсказываютъ, что воинственный духъ его до сихъ поръ еще витаетъ по старой привычкѣ на поляхъ битвъ, среди грома выстрѣловъ. Домашніе его нерѣдко слышатъ, какъ сѣдовласый дѣдушка вскакиваетъ во снѣ съ постели, размахиваетъ руками и громко командуетъ воображаемой дружинѣ своей: „ура, впередъ братцы!“ Оказывается потомъ, что ему пригрезилась какая-нибудь ночная атака непріятеля, и онъ звалъ на бой противъ него оробѣвшихъ солдатиковъ.“

Лавры, добытые нашими храбрыми войсками въ средней Азіи, были, конечно, не безъ терній. Нѣтъ побѣдъ безъ неудачъ. Были дни ликованья, но были и дни тяжелаго настроенія. Славный подвигъ взятія Ташкента вызываетъ, напримѣръ, по закону контраста, представленіе о потеряхъ, понесенныхъ нашими войсками во время похода генерала Перовскаго въ хиву въ 1839 г. Походъ былъ предпринятъ зимою. Долго готовились къ нему, заготовляя теплую одежду. Шили теплыя шапки съ назатыльниками и огромными козырьками, полушубки изъ бараньей шерсти, шаровары изъ толстаго сукна, на столько широкія, что въ нихъ могли войти полушубокъ и шинель, сапоги, надѣвавшіеся сверхъ валенокъ. Для шинелей заготовлялись накладные воротники изъ заячьяго мѣха, для защиты лица отъ холода шились изъ чернаго сукна маски, съ отверстіями для рта и глазъ и суконными носами. Хлѣбопеки и кашевары сушили сухари, свеклу,

картофель, морковь, лукъ. Въ мастерскихъ заготовлялись понтонныя сани, лодки, бочки, множество ящиковъ. Отрядъ, выступившій изъ Оренбурга въ походъ, состоялъ изъ 5,217 человѣкъ при 22 орудіяхъ.

Зима въ 1839 году была особенно холодная и снѣжная. Глубокій снѣгъ въ степяхъ затруднялъ движеніе отряда. „На первыхъ же порахъ, пишетъ одинъ участникъ похода,— оказалось много отмороженныхъ рукъ и ногъ, появились заболѣвшіе, и много солдатъ успокоились навсегда подъ холодною пеленою снѣга въ необозримыхъ азіатскихъ степяхъ. Отрядъ, кромѣ припасовъ для согрѣванія сбитня, не захватилъ для нижнихъ чиновъ ни водки, ни спирту, которые въ тяжелые походные дни сильно поднимаютъ бодрость духа утомленнаго и полупростуженнаго солдата. Между тѣмъ снѣгъ становился все глубже и глубже. Морозы усиливались. Вѣтеръ пронизывалъ каждаго насквозь. Джибага нисколько не грѣла, и было бы удобнѣе, если бы вмѣсто нея одѣли солдата въ овчинные тулупы. Тяжелые сапоги при глубокомъ снѣгѣ сильно утомляли пѣхоту. Въ отрядѣ скоро наступило полное уныніе. „Хоть бы водочки выдали“, стонали иззябшіе, полубольные люди. Но водки не было, а вмѣстѣ съ тѣмъ не доставало и топлива для согрѣванія сбитня. Положеніе отряда становилось критическимъ. Люди стали болѣть, верблюды дохнуть, такъ что грузъ, который не на чемъ было перевозить дальше, былъ употребленъ или на топливо, или затопленъ въ рѣкѣ Эмбѣ. Кое-какъ, съ большими лишеніями, дотащился отрядъ до Чушкакуля (Свиное озеро) и остановился бивуакомъ. Между людьми появились различныя болѣзни, и почти всѣ заболѣли цынгою. Верблюды за малымъ исключеніемъ почти всѣ передохли, а тѣ, которые и остались, еле-еле волочили ноги и были совершенно негодны для перевозки не только груза, но даже и одного больного.“ (*)

Движеніе впередъ стало невозможнымъ. Простоявъ у Чушкакуля до весны, отрядъ съ наступленіемъ теплаго времени двинулся въ обратный путь. Въ іюлѣ 1840 г. онъ возвратился въ Оренбургъ, потерявъ въ степи болѣе 1,000 человѣкъ. Въ оренбургскій госпиталь было помѣщено болѣе

(*) Историческій Вѣстникъ 1898 г., августъ. „Походъ въ Хиву въ 1839 году,“ Е. Н. Косырева, стр. 541.

600 человѣкъ, больныхъ цынгою, изъ которыхъ выздоровѣли весьма не многіе. Жены, дѣти и родственники больныхъ собирались въ госпитали и со слезами на глазахъ слушали надрывавшіе душу разсказы о страшныхъ мученіяхъ, которые испытали солдаты во время несчастнаго похода.

Въ октябрѣ 1840 года возвратились въ Оренбургъ плѣнные, захваченные хивинцами во время обратнаго движенія отряда. Это были отсталые, которымъ изнуреніе не позволило слѣдовать за товарищами. Ихъ насчитывалось до 600 человѣкъ. „Жалкій видъ имѣли плѣнные. Въ оборванныхъ хивинскихъ халатахъ, съ выбритыми головами или же уже съ отросшими лохматыми волосами, они, положительно, едва сохраняли образъ человѣческій. На лицахъ ихъ можно было прочесть тѣ страданія, какія пришлось перенести имъ въ плѣну у дикихъ хивинскихъ племенъ. Эти несчастные мученики разсказывали ужасныя подробности о вынесенныхъ ими страданіяхъ... Глубокіе шрамы на плечахъ и спинѣ свидѣтельствовали объ истязаніяхъ, которымъ подвергались эти несчастные люди. Нѣсколько человѣкъ были съ выколотыми глазами и, возвратясь на родину, уже не видали ея, а рыдали, обнимая своихъ земляковъ. Что было на душѣ у этихъ несчастныхъ,—одному Богу извѣстно... Душа кипѣла мщеніемъ за эту горсть собратій, для которыхъ жизнь уже поблекла, для которыхъ не открывалось уже розоваго будущаго, такъ какъ лучшіе годы ихъ и лучшія силы ушли въ рабствѣ, насиліи и поруганіи. Многіе не выдержали все угнетающаго рабства, сложили въ Хивѣ свои кости, многіе были казнены за попытку къ бѣгству. Нѣкоторымъ удавалось и бѣжать, но ихъ участь была не лучше: они погибли отъ голода и жажды въ безпредѣльныхъ степяхъ, занесенные пескомъ или снѣгомъ. Были и такіе, которые перемѣнили Христову вѣру и стали жить въ почетѣ среди мусульманъ, но такихъ насчитывалось очень немного—большинство рвалось на родину, сохранивъ вѣру Христову и любовь къ Россіи.“ (*)

(*) „Походъ въ Хиву въ 1839 году“, стр. 544—545.

Открытіе новаго суда въ Петербургѣ и Москвѣ.

Онъ боли русскія постигъ
И порѣшилъ въ умѣ державномъ,
Возсѣвъ на прадѣдовскій тронъ,
Поставить въ царствѣ православномъ
Свободу, правду и законъ.

О. Кени.

Великій актъ освобожденія крестьянъ заключалъ въ себѣ, какъ въ зернѣ, зачатки всѣхъ другихъ великихъ реформъ, совершившихся въ царствованіе Императора Александра II. Въ немъ было сокрыто и начало новаго, гласнаго суда. Взамѣнъ уничтоженнаго помѣщичьяго суда, явился государственный судъ, въ которомъ дано было активное участіе и тѣмъ лицамъ, надъ которыми недавно тяготѣло крѣпостное право. Обстоятельства требовали введенія суда скораго и справедливаго—и онъ явился какъ лучезарный геній, къ которому съ упованіемъ обратились взоры всего многомилліоннаго русскаго народа, ввѣрявшаго ему свою личную и имущественную охрану. Восторженный откликъ встрѣтилъ въ русскихъ сердцахъ царскій указъ, повелѣвавшій возвѣстить народу о введеніи суда *скораго*, *праваго*, *милостиваго* и *равнаго* для всѣхъ.

17 Апрѣля 1866 г. совершилось великое торжество открытія новаго суда въ Петербургѣ. Когда министръ юстиціи Д. Н. Замятнинъ представилъ Государю судебный персоналъ, Царь-Освободитель обратился къ послѣднему съ слѣдующими словами: „Я надѣюсь, господа, что вы оправдаете оказанное вамъ довѣріе, и будете исполнять ваши обязанности добросовѣстно, по долгу чести и вѣрноподданической присяги, что, впрочемъ, одно и то же. Итакъ, въ добрый часъ, начинайте благое дѣло.“ Слова эти были сказаны 14 апрѣля, когда Государь посѣтилъ зданіе новаго суда на Литейномъ проспектѣ, и должны были вызвать въ присутствующихъ рѣшимость свято послужить великому дѣлу. 17 апрѣля въ зданіи новаго суда собрались послы, члены государственнаго совѣта, сенаторы и новый судебный персоналъ. По прочтеніи Высочайшихъ повелѣній 19 марта и 13 апрѣля 1866 г. объ открытіи судебныхъ установленій и списка лицъ, вошедшихъ

новаго завѣта для новой жизни. Катковъ, впослѣдствіи проникшійся сильной антипатіей къ новымъ судамъ, въ названное время принадлежалъ къ числу горячихъ сторонниковъ судебной реформы. „Только съ точки зрѣнія новаго судебнаго преобразованія,—сказано было въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ,"—раскрывается широкая перспектива нашей политической будущности. Съ этимъ преобразованіемъ входитъ въ нашу жизнь совершенно новое начало, которое положитъ явственную грань между прошедшимъ и грядущимъ, которое не замедлить отозваться во всемъ. Дѣйствіе его не ограничится только сферой собственно судебныхъ установленій. какъ тонкая стихія, она разольется повсюду и всему дастъ новое значеніе, новую силу. Судъ, отправляемый публично и при участіи присяжныхъ, будетъ живою общественною силою".

Вмѣстѣ съ печатью, радостно и горячо привѣтствовало открытіе новыхъ судовъ и общество, а также и весь народъ, когда позналъ его отличіе отъ судовъ стараго типа. Особенное вниманіе привлекалъ судъ присяжныхъ, явленіе, не имѣвшее ничего подобнаго при прежнемъ судопроизводствѣ. Народъ видѣлъ, что правительство облекало довѣріемъ и простыхъ людей и призвало ихъ, наровнѣ съ „господами", рѣшать дѣла, касавшіяся первостепенныхъ интересовъ жизни. Правда, утративъ исключительно формальный характеръ, стала живымъ началомъ, голосомъ совѣсти народной, отзвукомъ самыхъ благородныхъ стремленій человѣческаго сердца. „Народъ не вѣрилъ своимъ глазамъ,—говоритъ Джаншіевъ,—не вѣрилъ своимъ ушамъ, слыша въ приговорѣ присяжныхъ отголосокъ той сущей правды, которую смутно ощущалъ онъ въ себѣ самомъ, но осуществленіе которой еще такъ недавно, при крѣпостномъ правѣ, казалось такою же химерою, какъ мечта о молочныхъ рѣкахъ, текущихъ среди кисельныхъ береговъ". Но сочувствіе къ судамъ новаго типа не исключало существованія и такихъ лицъ въ обществѣ, которыя относились къ нимъ такъ же враждебно, какъ люди подобнаго же направленія отнеслись къ крестьянской реформѣ. Многіе говорили, что русскій народъ еще не созрѣлъ, не развился на столько, чтобы пользоваться такою роскошью западноевропейской культуры. Доводы такихъ лицъ опровер-

гались словами Унковскаго, извѣстнаго дѣятеля крестьянской реформы, который по названному поводу писалъ слѣдующее: „Что значитъ народъ недостаточно развитъ и какая нужна степень развитія для нагляднаго сужденія по совѣсти и здравому смыслу? Присяжнымъ именно только это и нужно, а русскій народъ, конечно, не имѣетъ недостатка ни въ здравомъ смыслѣ, ни въ добросовѣстности. Неужели нашъ народъ менѣе развитъ, нежели англійскій въ XIII столѣтіи? Англичане ввели судъ присяжныхъ и въ Новой Зеландіи. Неужели нашъ народъ ниже ново-зеландскихъ дикарей? Судъ присяжныхъ, судъ гласный и по совѣсти, требуетъ въ судахъ гораздо менѣе умственнаго развитія и образованія, нежели всякій другой судъ, а тѣмъ болѣе наше сложное судопроизводство; поэтому можно скорѣе сказать, что у насъ возможенъ *только* судъ присяжныхъ и менѣе возможно настоящее сложное судопроизводство“. Въ томъ же духѣ было заявленіе, сдѣланное московскимъ губернскимъ прокуроромъ Ровинскимъ, когда составлялись проекты судебной реформы. Опровергая опасенія, которыя вызывались проектомъ введенія суда присяжныхъ, Ровинскій, между прочимъ, писалъ слѣдующее: „Предположеніе, что народъ нашъ смотритъ на преступленіе снисходительно и признаетъ преступника „только несчастнымъ“, противорѣчитъ всѣмъ извѣстному факту, что преступники, пойманные народомъ на самомъ мѣстѣ преступленія, поступаютъ въ руки полиціи не иначе, какъ избитые и изувѣченные. На этомъ основаніи можно бы обвинить народъ скорѣе въ противоположномъ, но и это будетъ несправедливо,—народъ бьетъ пойманнаго преступника просто въ видѣ наказанія и потому единственно, что не имѣетъ никакого довѣрія ни къ добросовѣстности полиціи, которая можетъ замять дѣло, ни къ правосудію судей, которые на точномъ основаніи уликъ и совершенныхъ доказательствъ, могутъ освободить гласнаго преступника отъ всякаго взысканія“. (*)

Арена гласнаго суда постепенно расширялась. Къ концу 1866 г. онъ уже распространилъ свое дѣйствіе на десять губерній, внося новую жизнь и новые интересы въ однообразную, скучную жизнь провинціальныхъ городовъ. Обще-

(*) Джаншіевъ, стр. 508—509.

ство съ жадностью слѣдило за разборомъ судебныхъ дѣлъ, и залы судебныхъ засѣданій не вмѣщали въ себѣ желавшихъ ознакомиться съ процедурою новаго судопроизводства, увидѣть торжественную обстановку суда, услышать рѣчи обвинителя и защитниковъ и, подъ дѣйствіемъ вердикта присяжныхъ, или осудить виновнаго, или отпустить съ миромъ оправданнаго судомъ общественной совѣсти. Стало вырабатываться и у насъ, давно уже существовавшее на западѣ, судебное краснорѣчіе. Печатаніе судебныхъ отчетовъ въ газетахъ внесло оживленіе въ періодическую прессу. Рѣчи талантливыхъ адвокатовъ и прокуроровъ читались съ живѣйшимъ интересомъ. Начало гласнаго суда торжествовало, и тѣ лица, которыя, не устрашившись борьбы съ враждебными силами, побѣдоносно проложили ему путь къ жизни,—не могли не ликовать въ душѣ при видѣ того, какъ новое начало, подобно лучезарному солнцу, всходило надъ русской землей и посылало свои животворные лучи въ ея отдаленные предѣлы. Въ эти-то славные дни торжества новаго суда Катковъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ увѣнчалъ его поборниковъ слѣдующими прекрасными словами: „Исторія не забудетъ ни одного имени, связаннаго съ этимъ великимъ дѣломъ гражданскаго обновленія Россіи“. Да, несомнѣнно, исторія сохранитъ о нихъ благодарную память, какъ она не забудетъ вѣчно чтить и тѣхъ славныхъ общественныхъ дѣятелей, которые, по иниціативѣ Великаго Царя, совершили одно изъ самыхъ доблестныхъ дѣлъ русскаго народа—освобожденіе многихъ милліоновъ крѣпостныхъ людей отъ узъ тяготѣвшаго надъ ними рабства.

Въ скоромъ времени за открытіемъ окружныхъ судовъ въ Петербургѣ и Москвѣ послѣдовало открытіе въ нихъ и мировыхъ судебныхъ учрежденій. Знаменательнымъ днемъ ихъ вступленія въ жизнь было 17 мая 1866 г. Уже на другой день мировые судьи въ Москвѣ стали принимать просителей. Засѣданія происходили два раза въ день, утромъ и вечеромъ. Мировые судьи взялись за дѣло горячо. Объ этомъ, между прочимъ, свидѣтельствуетъ слѣдующій случай, приводимый Джаншіевымъ: „Одинъ мировой судья, получивъ жалобу отъ какой-то дамы на дерзость со стороны кухарки, немедленно отправился въ тотъ домъ, гдѣ жила послѣдняя,

и лично убѣдился въ справедливости жалобы дамы". Многіе мировые судьи сами привлекали провинившихся къ судебной отвѣтственности. „Всѣми судьями рѣшено,—писали въ Судебномъ Вѣстникѣ,—употребить всевозможныя усилія, чтобы искоренить уличное сквернословіе, эту язву нашего народа. Сквернословіе, рядомъ съ нимъ непомѣрная нечистота нашихъ троттуаровъ, вслѣдствіе слишкомъ откровенныхъ привычекъ нашего народа, дѣлаютъ въ Москвѣ для дамъ и дѣтей почти совершенно невозможнымъ ходить по улицамъ. Наши мировые рѣшили не пропускать ни одного такого случая сквернословія или иной неблагопристойности, дѣйствуя сначала внушеніемъ, а потомъ другими взысканіями". Не смотря на эту легкую возможность попасть многимъ въ качествѣ обвиняемыхъ въ камеру мирового, новый судъ въ формѣ мирового учрежденія въ скоромъ времени пріобрѣлъ большую популярность въ народѣ. Причиной этого явленія была его доступность, быстрота рѣшенія дѣлъ и отсутствіе сложныхъ формальностей. Наплывъ просителей былъ громаденъ. Для публики, жаждавшей познакомиться съ гласнымъ разбирательствомъ дѣлъ, не хватало мѣстъ въ камерахъ, вслѣдствіе чего нѣкоторые судьи воскрешали древній обычай суда подъ открытымъ небомъ, разбирая дѣла на дворѣ при камерѣ. Къ рѣшенію мировыхъ обращались не разбирая того, подсудно имъ или нѣтъ данное дѣло. Подавались жалобы, касавшіяся какъ самыхъ легкихъ проступковъ, такъ и вопіющихъ уголовныхъ преступленій. Съ другой стороны, люди, не привыкшіе къ тому, чтобы „препятствовали ихъ нраву", были крайне изумлены ограниченіями, которыя налагали на нихъ новые суды. Одинъ изъ публицистовъ названнаго времени по этому поводу писалъ слѣдующее: „Надо видѣть изумленіе людей, которые въ своемъ самоуправствѣ должны подчиняться приговорамъ мировыхъ судей; надо видѣть то изумленіе—изумленіе подавляющее своею силою, даже раздраженіе, съ которымъ выслушиваютъ эти приговоры *господа*, прогнавшіе отъ себя служителей, не выдавъ имъ жалованья за полгода службы только потому, что служители имъ не понравились; *рабочіе*, самовольно ушедшіе съ работъ до срока найма, вопреки письменному контракту, только потому, что цѣна на работы поднялась; *пьяницы*, никогда не слыхавшіе,

что нельзя было валяться и ругаться на улицахъ; *мужья*, не имѣвшіе никакого понятія, что нельзя до полусмерти избивать своихъ женъ; *баринъ*, ускакавшій на тройкѣ, даже не оглянувшись на ребенка, раздавленнаго имъ на дорогѣ, и т. д. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ необходимы были прежде всего неимовѣрныя усилія, чтобы люди всѣхъ званій и состояній поняли, что они вызваны къ мировому суду не для шутки и что приговоръ его можетъ быть приведенъ въ исполненіе".

Введеніе мировыхъ судовъ имѣло громадное воспитательное значеніе, такъ какъ они развивали въ обществѣ уваженіе къ закону и личности. Лица, занимавшія высокое общественное положеніе, подавали примѣръ такого уваженія. Лицамъ первыхъ трехъ классовъ предоставлено было право не являться въ судъ лично въ качествѣ свидѣтелей, тѣмъ не менѣе оно въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ было примѣнено только одинъ разъ. „Само то лицо, къ которому впервые пришлось примѣнить это облегченіе, отказалось впослѣдствіи имъ пользоваться. Затѣмъ было нѣсколько примѣровъ вызова къ свидѣтельству въ судъ лицъ, имѣвшихъ право воспользоваться такою льготою, и они не воспользовались ею." (*)

Популярность мироваго суда засвидѣтельствована не только печатью, но и оффиціальными отчетами и статистическими цифрами. „Съ перваго же приступа мировыхъ судей къ новому дѣлу,—писалъ въ своемъ Всеподданнѣйшемъ годовомъ отчетѣ министръ юстиціи Д. Н. Замятнинъ,—простота мироваго разбирательства, полная гласность и отсутствіе обременительныхъ формальностей вызвали всеобщее къ мировому институту довѣріе. Въ особенности простой народъ, найдя въ мировомъ судѣ судъ скорый и справедливый для мелкихъ своихъ обыденныхъ интересовъ, не перестаетъ благословлять Верховнаго Законодателя за дарованіе Россіи суда, столь близкаго народу и вполнѣ соотвѣтствующаго его потребностямъ." (**) Нѣтъ сомнѣнія, что сочувствіе общества къ мировому суду возрасло бы еще болѣе, если бы легко было найти контингентъ лицъ, вполнѣ подготовленныхъ къ отправленію обязанностей судьи. Къ сожалѣнію, среди лицъ, взяв-

(*) Вѣстникъ Европы 1870 г., январь. Внутреннее обозрѣніе, стр. 411.
(**) Джанціевъ, стр. 492.

шихъ на себя отправленіе правосудія и отличавшихся знаніемъ дѣла и громадною энергіею, были и такія, которыя заняли свои мѣста по какому-то недоразумѣнію. Сформировать первый составъ мировыхъ судей было не легко, между прочимъ, и потому, что дворянство въ то время еще крѣпко держалось своихъ традицій, стремясь неудержимо къ военной службѣ. Между судьями встрѣчались иногда оригиналы, напоминавшіе гоголевскія времена. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ провинціальныхъ городовъ судья являлся въ присутствіе въ халатѣ, въ туфляхъ на босую ногу, съ папиросою во рту и съ судейскою цѣпью на шеѣ. (*)

Проникшись полнымъ довѣріемъ къ мировымъ судамъ, народъ, тѣмъ не менѣе, въ теченіе долгаго времени побаивался мировыхъ съѣздовъ, какъ видно изъ современныхъ свидѣтельствъ. Крестьяне не безъ опасенія обращались съ жалобами на приговоры мировыхъ въ съѣзды, хотя этотъ страхъ былъ неоснователенъ. Они боялись жаловаться на начальство. „За первые три мѣсяца дѣятельности мирового суда въ Екатеринославской губерніи, говоритъ баронъ Карфъ,— намъ уже не разъ приходилось слышать отъ тяжущихся, сѣтовавшихъ на рѣшеніе судьи, въ отвѣтъ на вопросъ нашъ, подадутъ ли они жалобу въ съѣздъ: „Боже сохрани! Это я такъ только говорю, стану ли я жаловаться на судью!“ Наша публика часто опасается оскорбить судью подачею жалобы, задѣть его самолюбіе, совершенно не понимая того, что добросовѣстный судья заинтересованъ въ томъ, чтобы жалоба на него состоялась и чтобы коллегія судей, т. е. съѣздъ провѣрилъ дѣйствія единоличнаго суда, т. е. судьи. При такихъ условіяхъ право апелляціи и кассаціи, въ особенности если принять во вниманіе неграмотность народа и совершенное отсутствіе адвокатовъ, является такимъ правомъ, которое въ настоящую минуту еще не имѣетъ существеннаго практическаго значенія и пользованіе которымъ должно быть воспитано въ публикѣ самимъ судомъ.“ (**)

(*) Русская Старина 1898 г., октябрь. „Во время реформъ Императора Александра II“, В А. Шемпулевъ, стр. 88.

(**) Вѣстникъ Европы 1869 г., октябрь. „Мировой судъ въ провинціи“, барона Н. Корфа, стр. 915.

Шедевры русской беллетристики 60-хъ годовъ.

Не подражай: своеобразенъ геній
И собственнымъ величіемъ великъ.
Баратынскій.

Въ исторіи русской литературы, какъ и въ исторіи русской общественной жизни вообще, 60 годы имѣютъ выдающееся, исключительное значеніе. Общее вниманіе въ это время, съ одной стороны, привлекали къ себѣ великія реформы, сообщившія новый характеръ общественной жизни, съ другой—небывалое оживленіе въ литературѣ, вызванное появленіемъ произведеній, отмѣченныхъ печатью необыкновенной силы и высокаго художественнаго достоинства, произведеній, которыя навсегда останутся лучшимъ украшеніемъ русской литературы и которыя дали ихъ авторамъ одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ во всемірной литературѣ. Навсегда должны остаться памятными тѣ годы, когда явились романы: „Отцы и дѣти“ Тургенева, „Преступленіе и наказаніе“ Достоевскаго, „Обрывъ“ Гончарова и „Война и миръ“ графа Л. Толстого. Въ теченіе короткаго времени, на пространствѣ всего 10 лѣтъ, проявленіе такой литературной мощи, такихъ подавляющихъ своими достоинствами созданій литературнаго таланта! Каждое изъ названныхъ произведеній могло бы, безъ поддержки другихъ, дать автору безсмертіе въ потомствѣ. Явленій такого счастливаго совпаденія въ исторіи русскаго романа не замѣчалось ни ранѣе, ни послѣ названнаго времени. Появленіе названныхъ романовъ вызвало цѣлую литературу, и они до сихъ поръ читаются съ большимъ интересомъ. Доставляя наслажденіе своей художественной красотой, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, заключаютъ въ себѣ много глубоко поучительнаго, много такого, что наводитъ мысль на обсужденіе разныхъ серьезныхъ вопросовъ психологическаго или же общественнаго характера.

Во всѣхъ названныхъ произведеніяхъ можно найти одно основное теченіе мысли: они—правдивая, живая исторія разнообразныхъ человѣческихъ коллизій, страданій, заблужденій и вызваннаго послѣдними жестокаго возмездія. Въ романѣ „Отцы и дѣти“ мы видимъ борьбу двухъ поколѣній, отцовъ и дѣтей, разошедшихся въ своихъ воззрѣніяхъ на явленія

окружающей жизни и имѣющихъ совершенно противоположный взглядъ на требованія нравственнаго начала. Что для однихъ является добромъ, то другіе клеймятъ названіемъ зла, чему одни поклоняются какъ божеству, то другіе готовы разбить и повергнуть въ прахъ кахъ поруганный кумиръ. Отцы крѣпко сжились съ тѣми понятіями, которыя сложились въ дореформенную эпоху, дѣти ищутъ новыхъ началъ и думаютъ найти панацею отъ всѣхъ золъ и болѣзней въ отрицаніи всего, что признавали и чему поклонялись первые. Въ романѣ „Преступленіе и Наказаніе“ главное лицо, не признающее нравственнаго закона, вступаетъ въ борьбу съ собственною совѣстью и требованіями нравственнаго кодекса, обязательнаго для всѣхъ и несущаго страшную кару для попирающихъ его требованія. Нарушеніе требованій нравственнаго долга, принесеннаго въ жертву минутному увлеченію, вызываетъ въ душѣ героини романа „Обрывъ“ борьбу удовлетвореннаго физическаго чувства съ идеаломъ духовной чистоты, лелѣяннымъ въ теченіе долгаго времени и потомъ быстро утраченнымъ. Романъ „Война и миръ“ есть цѣлый рядъ коллизій, вызванныхъ основнымъ событіемъ, изображеннымъ въ этомъ произведеніи. Политическая борьба двухъ народовъ, рѣшающихъ свой споръ на поляхъ Бородина, вовлекаетъ въ свой круговоротъ лицъ разныхъ общественныхъ положеній и профессій, и они, принося свои личные интересы и симпатіи въ жертву общему благу, долгу и любви къ родинѣ, не безъ сердечнаго сокрушенія смотрятъ на обломки своего разбитаго семейнаго счастья. И сколько страданій претерпѣваютъ дѣйствующія лица названныхъ произведеній! Много трагизма въ положеніи Базарова, ни въ комъ невидящаго сочувствія его взглядамъ. Среди окружающихъ лицъ онъ совершенно одинокъ и это причиняетъ ему глубокое страданіе. Несокрушимая преграда стала даже между нимъ и людьми самыми близкими къ нему, отцомъ и матерью. Раскольниковъ начинаетъ нести нравственную кару уже въ то время, когда готовится къ совершенію преступленія. То, что онъ ищетъ оправданія для своего поступка, уже подтверждаетъ справедливость этого утвержденія. Совершивши же преступленіе, онъ попадаетъ въ положеніе преслѣдуемаго охотникомъ звѣря. Онъ чувствуетъ, что кара

поджидаетъ его за каждымъ угломъ, ходитъ за нимъ по пятамъ и держитъ надъ нимъ свой Дамокловъ мечъ, готовый каждую минуту опуститься на его голову. А героинѣ романа „Обрывъ“ развѣ не пришлось искупать своего увлеченія цѣнною слезъ, безсонныхъ ночей, утраты душевнаго спокойствія и возможности смотрѣть людямъ въ глаза смѣло и гордо? Она должна была смиренно поникнуть головой и искать утѣшенія въ признаніяхъ своей бабушки. Романъ „Война и миръ“—страшная картина потоковъ крови, слезъ, обильно льющихся какъ въ барскихъ хоромахъ, такъ и въ деревенскихъ лачугахъ, потерь, разлукъ, разбитыхъ надеждъ и навсегда утраченнаго счастья. Это—сплошная картина человѣческихъ страданій, изрѣдка прерываемая картинами семейнаго счастья, которыя авторъ какъ будто вводитъ для того, чтобы потомъ изображеніемъ новыхъ страданій подѣйствовать еще сильнѣе. Страшныя событія 1812 года особенно тяжко отразились на несчастной семьѣ Болконскихъ. Не мало душевныхъ мукъ вынесъ и Безухій въ своихъ поискахъ душевнаго спокойствія и семейнаго счастья. Но въ то время какъ страданія этихъ лицъ мотивируются не преступленіями, отъ которыхъ они совершенно свободны, а окружающими обстоятельствами, главныя лица романовъ „Преступленіе и наказаніе“ и „Обрывъ“ испытываютъ ихъ по своей винѣ, какъ возмездіе за уклоненіе отъ требованій нравственнаго закона. Въ романѣ „Война и миръ“ возмездіе по своей винѣ несетъ Наполеонъ, въ угоду своему властолюбію поправшій чувство справедливости и человѣколюбія и вступившій въ борьбу съ европейскими народами и въ томъ числѣ съ русскимъ, явившимся въ исполинской борьбѣ орудіемъ исторической Немезиды.

Появившійся въ 1862 г. романъ Тургенева „Отцы и дѣти“ вызвалъ оживленные толки въ литературѣ. Мнѣнія раздѣлились: одни говорили, что романъ есть сатира на молодое поколѣніе, другіе, что въ немъ осмѣяны отцы, дѣти же выставлены въ самомъ привлекательномъ видѣ, что авторъ имъ вполнѣ симпатизируетъ и крайне сочувственно относится къ отцамъ. Первые обвиняли Тургенева въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, мракобѣсіи, вторые—въ преклоненіи передъ нимъ, въ заискиваніи, въ угодничествѣ.

Въ обществѣ было такое же разногласіе. Авторъ получалъ письма, изъ которыхъ въ однихъ его извѣщали о сожженіи съ хохотомъ его фотографическихъ карточекъ за измѣну либерализму, а въ другихъ писали, что онъ „ползаетъ у ногъ Базарова.“ Учившаяся въ Гейдельбергѣ русская молодежь звала Тургенева на судъ. Словомъ, возбужденіе было чрезвычайное. Все это указывало на то, что романъ отличался самыми крупными, совершенно выходившими изъ ряда достоинствами.

Въ романѣ „Отцы и Дѣти“ Тургеневъ обнаружилъ глубокую наблюдательность, неподражаемое умѣнье уловлять сокровенный смыслъ окружающихъ явленій и давать смѣлыя и вѣрныя обобщенія. Въ своемъ романѣ онъ изобразилъ борьбу двухъ поколѣній, стараго, дореформеннаго, и новаго, пореформеннаго, въ тѣхъ, именно, типахъ, въ которыхъ замѣчались рѣзкія черты нетерпимости и крайности извѣстнаго направленія. Въ этомъ смыслѣ названный романъ можно назвать явленіемъ историческимъ. „Этотъ романъ, говоритъ Буренинъ,—и черезъ двадцать лѣтъ представляется все тѣмъ же глубокимъ, яркимъ и правдивымъ отраженіемъ жизни, какимъ онъ былъ въ моментъ его появленія. Теперь его глубина и правдивость кажутся даже еще болѣе ясными и возбуждаютъ еще большее удивленіе и уваженіе къ творческой мысли художника, его создавшаго. Въ наши дни, когда періодъ развитія, уловленный Тургеневымъ въ его знаменитомъ романѣ, является уже изжитымъ почти вполнѣ, мы можемъ только удивляться той проницательности, съ которою художникъ отгадалъ основной характеръ жизненнаго явленія, ознаменовавшаго этотъ періодъ.“ Далѣе критикъ говоритъ, что романъ „Отцы и Дѣти“—одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы и что его законное мѣсто въ ряду съ такими созданіями, какъ „Евгеній Онѣгинъ“ Пушкина, „Мертвыя души“ Гоголя, „Герой нашего времени“ Лермонтова и „Война и миръ“ гр. Толстого.

Критики 60-хъ годовъ, опредѣляя общее значеніе романа „Отцы и дѣти,“ какъ сказано было выше, сильно расходились въ своихъ отзывахъ о немъ. Писаревъ хвалилъ Тургенева за безпристрастное и вѣрное изображеніе явленій окружающей жизни. По его мнѣнію, смыслъ романа былъ

такой: „Теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности, но въ самыхъ увлеченіяхъ оказываются свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ посторонних пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни.“ Съ большою похвалою отнеслись къ роману также критики журналовъ „Время“ и „Русскій Вѣстникъ.“ Въ первомъ изъ нихъ было сказано, что Тургеневъ превосходно изобразилъ въ своемъ романѣ отношеніе между двумя поколѣніями, отцами и дѣтьми, во второмъ романъ былъ названъ произведеніемъ, въ которомъ обнаружилась сила первостепеннаго таланта, о чемъ свидѣтельствовали ясность идей, мастерство въ обрисовкѣ типовъ, простота въ замыслѣ и ходѣ дѣйствія, драматизмъ, возникающій естественно изъ самыхъ обыкновенныхъ положеній, и отсутствіе всего лишняго, посторонняго. „Сверхъ этихъ общихъ достоинствъ, говорилъ критикъ,—романъ Тургенева имѣетъ еще тотъ интересъ, что въ немъ уловленъ текущій моментъ, схвачено убѣгающее явленіе, типически изображена и запечатлѣна навѣки мимолетная фаза нашей жизни.“ Совершенно иначе отнесся къ роману критикъ „Современника“ Антоновичъ, назвавшій его произведеніемъ дидактическимъ, ученымъ трактатомъ, написаннымъ въ разговорной формѣ. Это составляетъ важный недостатокъ романа въ художественномъ отношеніи. Кромѣ того, въ немъ встрѣчаются лица, появленіе которыхъ ничѣмъ не объясняется. „Въ романѣ, писалъ критикъ,—за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченныя идеи и разныя направленія, олицетворенныя и названныя собственными именами.“ Далѣе критикъ упрекалъ автора въ несправедливомъ, враждебномъ отношеніи къ дѣтямъ. Онъ утверждалъ, что во всѣхъ современныхъ вопросахъ, умственныхъ движеніяхъ, толкахъ и идеалахъ, занимающихъ молодое поколѣніе, Тургеневъ не находитъ никакого смысла, и даетъ понять, что они ведутъ только къ разврату, пустотѣ, прозаической пошлости и цинизму; что всѣ его симпатіи на сторонѣ отцовъ, проникнутыхъ любовью и поэзіей, людей нравственныхъ и вообще совершенно противоположныхъ дѣтямъ. Въ концѣ 60-хъ годовъ подобный же

взглядъ на романъ Тургенева былъ высказанъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Скабичевскимъ. По мнѣнію критика, главною цѣлью автора было сопоставить рядомъ философію дѣтей съ философіею отцовъ и показать, что философія первыхъ противна человѣческой природѣ и потому не можетъ быть примѣнима въ жизни. Но, взявшись за рѣшеніе такой серьезной задачи, авторъ приступилъ къ нему безъ достаточной подготовки, безъ добросовѣстнаго предварительнаго изученія обѣихъ системъ. Представитель молодого поколѣнія въ романѣ, Базаровъ, явился насквозь проникнутымъ отрицаніемъ и даже враждующимъ съ честностью. „Если бы г. Тургеневъ, писалъ Скабичевскій,—снизошелъ съ своего Парнаса и взглянулъ поближе на молодое поколѣніе, то въ жизни, въ дѣйствительности, онъ увидѣлъ бы, что молодежь не только не отрицаетъ честности, а, напротивъ того, шагу не можетъ ступить безъ того, чтобы разъ двадцать не повторить этого слова, при всякомъ удобномъ случаѣ.“

Романъ Тургенева, осужденный критикою передовыхъ журналовъ 60-хъ годовъ, нашелъ болѣе благосклонное отношеніе и даже заслужилъ большую похвалу у критиковъ болѣе поздняго времени. Такъ, Буренинъ, по поводу рѣзкихъ отзывовъ Антоновича о романѣ Тургенева, писалъ, что статья Антоновича служитъ характернымъ документомъ, свидѣтельствующимъ о томъ, на сколько критика стояла ниже художника въ пониманіи жизненнаго развитія. Въ этой критикѣ проявилось отсутствіе эстетическаго вкуса и разумѣнія жизни, обнаружилось узкое, партійное ненавистничество и грубая брань по отношенію къ одному изъ геніальнѣйшихъ представителей русской литературы. Буренинъ коснулся и тѣхъ похвалъ, которыя шли со стороны критиковъ, видѣвшихъ въ Базаровѣ олицетвореніе недосягаемыхъ совершенствъ, предъ которыми всѣ должны преклоняться. „Не болѣе основательно и не менѣе курьезно,—говоритъ названный критикъ,—уразумѣла „Отцовъ и дѣтей“ и та часть тогдашней прогрессивной критики, которая отнеслась очень сочувственно къ этому роману. Эта критика приняла базаровскій типъ за какое-то олицетвореніе божества прогресса, приняла всѣ базаровскіе взгляды и мнѣнія за экстрактъ тогдашней современности, всѣ его фразы и слова, даже ироническія и шуточныя, за

кодексъ „самой послѣдней“ и самой мудрой морали. Базаровъ, положимъ, говоря о красотѣ Одинцовой, выражается въ романѣ такъ: „этакое богатое тѣло“. Сочувственная базаровскому типу прогрессивная критика пускалась въ серьезныя и пространныя объясненія, что такъ именно и слѣдуетъ цѣнить женскую красоту съ настоящей реалистическо-современной, молодой, прогрессивной точки зрѣнія, что „богатство“ тѣла и есть единственный признакъ красоты, что другихъ никакихъ признаковъ и искать не подобаетъ, ибо такое исканіе есть гнилой идеализмъ, противорѣчіе естественно-научному знанію и т. д.“ (*) Такая же горячая защита романа Тургенева слышалась и въ разборѣ этого произведенія Незеленова. Онъ указывалъ на то, что высокія достоинства названнаго произведенія, его художественность и объективность, не были въ свое время оцѣнены по достоинству русскимъ обществомъ, что Тургеневъ отнесся къ своему герою совершенно объективно, и что этого нельзя автору ставить въ вину. Герой былъ развѣнчанъ, но осталась жизнь, осталась вѣра автора въ жизнь, его сочувствіе міру молодости, счастья, религіозныхъ вѣрованій, которыхъ не могъ заслонить собою Базаровъ. Когда мечты послѣдняго о своемъ могуществѣ, великомъ назначеніи рушились, названный міръ остался неприкосновеннымъ. „Кромѣ молодой жизни, говоритъ Незеленовъ,— осталось послѣ смерти Базарова еще великое начало, съ которымъ онъ стоялъ передъ смертью лицомъ къ лицу и которое, быть можетъ, смутило его,—религіозное міросозерцаніе вѣра въ жизнь безконечную, обѣщающая человѣку свободу, ту свободу, которой такъ тщетно искалъ Базаровъ на иныхъ путяхъ. Тургеневъ оканчиваетъ романъ выраженіемъ величайшаго сочувствія своего этому религіозному міросозерцанію, которымъ живетъ уже цѣлые вѣка русскій народъ“.

Ни объ одномъ изъ тургеневскихъ типовъ не было столько толковъ и споровъ, какъ о Базаровѣ. Одни называли его человѣкомъ способнымъ, даровитымъ, любознательнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высказывающимъ нелѣпыя сужденія, непростительныя самому ограниченному уму; называли существомъ, въ которомъ нѣтъ ничего человѣческаго, которое

(*) В. Зелинскій. „Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“, вып. II, стр. 246—247.

все ненавидитъ, презираетъ и не способно ни къ какому доброму чувству и влеченію. Всѣхъ, кто къ нему приближается, онъ старается развратить, всюду вноситъ отраву отрицанія и скептицизма. Въ разрѣзъ съ этимъ шелъ другой взглядъ, по которому Базаровъ являлся лицомъ, чрезвычайно симпатичнымъ, проповѣдникомъ великой идеи, долженствовавшей обновить жизнь и указать новый путь къ разумному и полезному существованію. По этому взгляду, смѣшно было бы стараться найти въ Базаровѣ что-нибудь достойное осужденія: въ Базаровѣ—все хорошо, все достойно поклоненія. Наряду съ двумя названными крайними взглядами высказывались мнѣнія, представлявшія нѣчто среднее между ними. Такой середины держался, между прочимъ, Страховъ, называвшій Базарова человѣкомъ страннымъ, односторонне рѣзкимъ, высказывающимъ необыкновенныя вещи, эксцентрикомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, утверждавшій, что тургеневскій герой—человѣкъ крѣпкій, съ могучей душой, самый русскій изъ всѣхъ лицъ романа, лицо, въ которомъ Тургеневу первый разъ удалось изобразить цѣльную натуру. Такой же середины держался О. Миллеръ, который говорилъ, что Базаровъ работалъ для науки, носилъ камни для новаго зданія, былъ одушевленъ сознательной вѣрой въ положительный, точный выводъ науки, былъ врагъ фразы и всего напускного,—и вмѣстѣ съ тѣмъ указывалъ, какъ на главнѣйшій недостатокъ въ характерѣ Базарова, на отсутствіе въ немъ любви къ ближнему, къ народу. Базаровъ получилъ заразу отъ больного крестьянина не потому, чтобы самоотверженно ходилъ за нимъ во время болѣзни, а потому, что вскрылъ его трупъ, конечно, не ради его, а единственно ради науки. (*)

Расходясь въ нравственной характеристикѣ Базарова, критики обнаруживали такое же разногласіе и по отношенію къ его характеристикѣ въ художественномъ отношеніи. Въ то время какъ одни говорили, что Базаровъ—съ ногъ до головы живая фигура, что это не фантомъ, не выдумка, а настоящая плоть и кровь, что производимое имъ впечатлѣніе совершенно индивидуальнаго свойства,—другіе утверждали, что это „типъ совершенно головной, построенный чисто тео-

(*) О. Миллеръ. „Русскіе писатели послѣ Гоголя". С.-П.-Б. 1887 г., стр. 73.

ретически, изъ нѣсколькихъ философскихъ посылокъ и философской критики, съ примѣсью поверхностныхъ наблюденій, исключительно внѣшнихъ, надъ людьми новаго типа въ Россіи,“ что это не живое лицо, взятое изъ дѣйствительности, а „выраженіе философской задачи, въ родѣ діалоговъ Платона, съ тою только разницей, что тамъ доводились до абсурда мысли противниковъ путемъ логическаго спора, а здѣсь авторъ заставляетъ противника матеріалиста не только говорить нелѣпости, но и дѣйствовать на основаніи теоріи, которую авторъ желаетъ опровергнуть, т. е. желаетъ этими словами и дѣйствіями героя доказать нелѣпость его теоріи.“ Если бы между этими противоположными взглядами былъ предложенъ выборъ, нельзя было бы не склониться въ пользу перваго. Пришлось бы сказать, что Базаровъ, дѣйствительно живое лицо, что онъ вполнѣ реальный представитель молодого поколѣнія или, лучше сказать, извѣстной его части, такъ какъ среди названнаго поколѣнія въ 60-хъ годахъ были и другіе типы, стоявшіе выше и ниже Базарова. Базаровы, дѣйствительно, существовали въ названное время и въ лицѣ Тургенева нашли повѣствователя, который передалъ ихъ черты потомству на страницахъ своей правдивой художественной лѣтописи. Что касается оцѣнки противоположныхъ взглядовъ въ нравственномъ отношеніи, то слѣдуетъ признать болѣе справедливымъ взглядъ, по которому Базаровъ является лицомъ, не имѣющимъ никакихъ правъ на то, чтобы ставить его на пьедесталъ и съ колѣнопреклоненіемъ выражать ему свое почтеніе. „Если вглядѣться внимательнѣе въ этого „сильнаго“ человѣка, говоритъ одинъ современный критикъ,— могутъ, пожалуй, возникнуть кое-какія сомнѣнія насчетъ его пресловутой силы. Въ мысляхъ и на словахъ Базаровъ неустрашимъ. Никакіе выводы его не пугаютъ. Онъ коситъ немилосердно и обаяніе искусства, и уваженіе къ женщинѣ, и чувства сыновней любви. Онъ не останавливается даже передъ такимъ элементарнымъ ощущеніемъ, какъ неприкосновенность дома, гдѣ пользуется гостепріимствомъ. Въ его глумленіи надъ отцомъ Аркадія и особенно въ его ухаживаніи за Ѳеничкой есть что-то глубоко недостойное и возмутительное. Еще возмутительнѣе онъ, когда съ холодною сухостью отвѣчаетъ на трогательную любовь своихъ стариковъ.

Не существуетъ для него и чувства дружбы: во время спора съ Аркадіемъ о Пушкинѣ, онъ смотритъ на него такимъ хищнымъ взглядомъ, что товарищъ перепугался не на шутку. Но таковъ Базаровъ только по отношенію къ слабымъ. И на самомъ дѣлѣ, его суровость, хотя напускною ее называть нельзя, не мѣшаетъ ему быть довольно-таки непослѣдовательнымъ. Пусть читатель посудитъ самъ. Базаровъ презираетъ помѣщичью среду и цѣлыя недѣли проводитъ въ усадьбѣ Кирсановыхъ, даже въ отсутствіи своего друга Аркадія. Онъ не признаетъ дуэли—и дерется съ Павломъ Петровичемъ. Онъ смѣется надъ романтическою любовью и требуетъ, чтобъ изъ отношеній къ женщинѣ выходилъ „толкъ"—и, тѣмъ не менѣе, не только пасуетъ передъ Одинцовой, но выноситъ изъ ея дома что-то очень похожее на разбитое сердце. О мужикѣ онъ выражается съ полнымъ пренебреженіемъ—и всетаки изъ-за этого мужика умираетъ. Позволительно усомниться, не осталось ли у Базарова подъ черствою корою его натуры кое-что изъ прежней дряблости Рудиныхъ и Лаврецкихъ."

Подобно роману Тургенева „Отцы и дѣти," много толковъ въ литературѣ возбудилъ и другой знаменитый романъ „Преступленіе и наказаніе" Достоевскаго. Многіе увидѣли въ романѣ желаніе со стороны автора унизить молодое поколѣніе въ лицѣ героя романа, взятаго изъ названной среды и совершающаго страшное преступленіе. Это было обвиненіе еще болѣе тяжелое, чѣмъ то, которому подвергся Тургеневъ за Базарова. Но, какъ и Тургеневъ, Достоевскій не былъ повиненъ въ взводимомъ на него преступленіи. Можетъ быть, онъ хотѣлъ показать вредныя послѣдствія нигилизма въ его высшемъ развитіи, но это не могло относиться ко всему современному молодому поколѣнію, такъ его нельзя было обвинить поголовно въ нигилизмѣ. Можетъ быть, справедливо и другое объясненіе, по которому авторъ хотѣлъ освѣтить извѣстное психологическое явленіе, показать, что̀ можетъ испытывать преступникъ, совершающій преступленіе не въ силу обыкновенныхъ мотивовъ, а въ силу какой-нибудь теоріи, желая ею оправдать свое преступленіе. Теорія же Раскольникова,

(*) К. Голованъ. Русскій романъ и русское общество. С.-П.-Б. 1897 г., стр. 293.

теорія дикая и ужасающая, состояла въ томъ убѣжденіи, что талантливый человѣкъ, чтобы доставить себѣ матеріальныя средства для совершенія какого-нибудь полезнаго дѣла, можетъ совершить преступленіе. Но онъ обманулся въ расчетѣ: совершивъ преступленіе, онъ уже пересталъ чувствовать влеченіе къ совершенію такого дѣла, такъ какъ имъ всецѣло овладѣло чувство ужаса, вызванное совершеннымъ преступленіемъ. Главный интересъ романа состоитъ, именно, въ тѣхъ душевныхъ мукахъ, которыя испытываетъ Раскольниковъ съ наступленія названнаго момента, и которыя изображены авторомъ съ неподражаемою силою и правдою.

Изъ критиковъ, подвергавшихъ разбору романъ „Преступленіе и наказаніе“ вѣрный взглядъ на его идею высказали, между прочимъ, Страховъ и Влад. Соловьевъ. „Весь романъ, говоритъ первый изъ нихъ,—сосредоточился около одного поступка, около того, какъ совершилось нѣкоторое дѣйствіе, и какія повлекло за собою послѣдствія въ душѣ совершившаго. Такъ романъ и называется; на немъ надписано не имя человѣка, а названіе событія, съ нимъ случившагося. Предметъ обозначенъ вполнѣ ясно: дѣло идетъ о преступленіи и наказаніи. И въ этомъ отношеніи всякій согласится, что романъ Достоевскаго очень типиченъ. Удивительно типично изображены всѣ процессы, которые совершаются въ душѣ преступника; вотъ что составляетъ главную тему романа и что поражаетъ въ немъ читателей. Живо и глубоко схвачено въ немъ то, какъ идея преступленія зарождается и укрѣпляется въ человѣкѣ, какъ борется съ нею душа, инстинктивно чувствуя ужасъ этой идеи; какъ человѣкъ, вскормившій въ себѣ злую мысль, почти лишается наконецъ воли и разума и слѣпо повинуется ей; какъ онъ механически совершаетъ преступленіе, долго созрѣвавшее въ немъ органически; какъ пробуждается въ немъ потомъ боязнь, подозрительность, злоба къ людямъ, отъ которыхъ ему грозитъ кара; какъ начинаетъ онъ чувствовать омерзеніе къ себѣ и своему дѣлу; какъ прикосновеніе живой и теплой жизни пробуждаетъ въ немъ муки безсознательнаго раскаянія; какъ наконецъ ожесточенная душа не выдерживаетъ и размягчается до чувства умиленія“. (*) По мнѣнію Влад.

(*) В. Зелинскій. Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго. М. 1894 г., стр. 130.

Соловьева, Раскольниковъ является представителемъ того воззрѣнія, по которому сильный человѣкъ считаетъ себя въ правѣ все дѣлать. Но, совершивъ преступленіе, которое ранѣе казалось ему дѣломъ совершенно ничтожнымъ и естественнымъ, Раскольниковъ вдругъ сознаетъ, въ какую нравственную бездну онъ свалился, въ какое сталъ исключительное положеніе среди другихъ людей.

Съ названной точки зрѣнія, романъ „Преступленіе и наказаніе“ получаетъ необыкновенно широкое значеніе. То, что̀ совершалось въ душѣ Раскольникова до и послѣ совершенія преступленія, испытали многіе люди, уклонившіеся съ истиннаго пути, которымъ, въ силу разныхъ софизмовъ и сдѣлокъ съ своей совѣстью, преступленіе первоначально, до его совершенія, также казалось дѣяніемъ, не имѣющимъ особеннаго значенія, но для которыхъ потомъ оно получало полное свое ужасающее значеніе. Многимъ изъ нихъ было знакомо и истинное раскаяніе, и нравственное возрожденіе. Такое нравственное просвѣтленіе возможно и для людей, совершившихъ самое тяжкое изъ всѣхъ преступленій. Доказывается это примѣромъ разбойника, покаявшагося на крестѣ и явившагося прототипомъ всѣхъ великихъ грѣшниковъ, проявившихъ искреннее раскаяніе въ своихъ грѣхахъ.

Въ романѣ можно указать много мѣстъ, производящихъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе на читателя и доказывающихъ необыкновенное умѣнье автора уловлять самые сокровенные психическія движенія. Къ такимъ мѣстамъ, напримѣръ, относится допросъ, которому судебный слѣдователь подвергаетъ Раскольникова. Опытный, неумолимый взглядъ перваго изъ нихъ читаетъ въ душѣ второго какъ въ книгѣ, видитъ все, что̀ преступникъ старается спрятать въ глубинѣ самыхъ сокровенныхъ душевныхъ движеній, безпощадно ловитъ на словахъ, ставитъ ловушки, разстилаетъ сѣти и отнимаетъ у жертвы послѣднюю надежду на спасеніе. Раскольниковъ призываетъ на помощь все свое самообладаніе, измышляетъ оправданія, старается скрыть свое волненіе—и запутывается въ сѣти искусно предлагаемыхъ ему вопросовъ. Доказывая, что въ извѣстныхъ случаяхъ преступникъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ убѣжать, даже оставленный на

полной свободѣ, и давая тѣмъ косвенный намекъ Раскольникову, судебный слѣдователь говоритъ: „Онъ по закону природы у меня не убѣжитъ, хотя бы даже и было куда убѣжать. Видали бабочку передъ свѣчкой? Ну, такъ вотъ онъ все будетъ, все будетъ около меня, какъ около свѣчки, кружиться; свобода не мила станетъ, станетъ задумываться, запутываться, самъ себя кругомъ запутаетъ, какъ въ сѣтяхъ, затревожитъ себя на смерть!... Мало того: самъ мнѣ какую-нибудь математическую штуку, въ родѣ дважды-двухъ приготовитъ, лишь дай я ему антрактъ подлиннѣе... И все будетъ, все будетъ около меня же круги давать, все суживая, да суживая радіусъ и—хлопъ! Прямо мнѣ въ ротъ и влетитъ, а я его и проглочу-съ, а это ужъ очень пріятно, хе-хе-хе! Вы не вѣрите?“ Такія рѣчи бросали Раскольникова въ холодный потъ. Долго онъ крѣпился, пріискивая лазейку, пору, въ которую можно было бы скрыться, но ничего изъ этого не выходило. Роковой моментъ, о которомъ предсказывалъ Порфирій Петровичъ, наступилъ—и Раскольниковъ предалъ себя въ руки правосудія, сознавшись въ своемъ преступленіи.

Третьимъ чрезвычайно крупнымъ литературнымъ явленіемъ въ 60-хъ годахъ былъ романъ Гончарова „Обрывъ.“ Онъ былъ встрѣченъ современною критикою менѣе сочувственно, чѣмъ „Обломовъ“, но самъ авторъ считалъ его лучшимъ своимъ произведеніемъ. Въ немъ Гончаровъ хотѣлъ сконцентрировать все, что далъ ему жизненный опытъ, выразить свои завѣтныя чувства, свое міросозерцаніе. И это ему удалось. Въ своемъ романѣ Гончаровъ вполнѣ опредѣленно выразилъ свой взглядъ на явленія современной жизни, при чемъ вполнѣ ясно высказалъ и свое отношеніе къ прежнему, дореформенному быту. Авторъ безъ всякаго стѣсненія, совершенно открыто, ничѣмъ не прикрываясь, выражалъ свое сочувствіе прежнему укладу жизни, патріархальной старинѣ, олицетвореніемъ которой является въ романѣ бабушка его героини Вѣры. Всѣ симпатіи автора находятся на сторонѣ бабушки и взросшей подъ ея надзоромъ Марѳиньки, а эти лица являются продуктами прежняго, дореформернаго строя жизни. Въ „Обрывѣ,“ говоритъ Головинъ,—идеалъ Гончарова отодвинулся назадъ и въ то же время приблизился къ идеалу славянофиловъ. Если приняться искать въ нашей белле-

тристикѣ фигуру, наиболѣе сродную Татьянѣ Марковнѣ, мы найдемъ ее въ лицѣ дѣдушки изъ „Семейной хроники" Аксакова. Какъ истинный художникъ, Гончаровъ сумѣлъ надѣлить самыми богатыми и, въ то же время, самыми правдивыми красками тотъ складъ крѣпостного помѣщичьяго быта, симпатичною представительницей котораго является бабушка, такъ полновластно и такъ мягко правящая своимъ маленькимъ царствомъ. И всѣ окружающія ее фигуры—и кроткая, послушная Марѳинька, точно вышедшая изъ-подъ кисти фламандскаго живописца, и женихъ ея, милый и аккуратный Викентьевъ, и посѣдѣлый любезникъ чуть не екатерининской эпохи Титъ Никонычъ, этотъ русскій маркизъ, какъ называетъ его Гончаровъ, и вся дворня Татьяны Марковны—все это рядъ улыбающихся фигуръ изъ безобидной, хотъ и правдивой эклоги. Ни одной черты, указывающей на гнетъ, на нужду или на горе".

Изображая старую, дореформенную помѣщичью жизнь, Гончаровъ сопоставляетъ съ нею и нѣкоторыя явленія новаго времени. Носителями новыхъ вѣяній являются у него Райскій, Вѣра и Маркъ Волоховъ. Въ первомъ изъ этихъ лицъ Гончаровъ хотѣлъ изобразить новаго русскаго человѣка, противоположнаго Обломову, стряхнувшаго съ себя апатію и ищущаго живой дѣятельности. Но въ новомъ человѣкѣ онъ увидѣлъ одни только благородные порывы и отсутствіе способности дать имъ осуществленіе. Райскій является олицетвореніемъ какой-то непослѣдовательности, какихъ-то колебаній. Онъ воюетъ противъ сибаритства стараго быта и въ то же время даетъ лакею снимать съ себя сапоги, совѣтуетъ бабушкѣ отпустить мужиковъ, предоставивъ имъ полную свободу дѣйствій, но самъ устраняется отъ управленія своимъ имѣніемъ. Въ комментаріи къ своему роману Гончаровъ даетъ объясненіе этой непослѣдовательности, указывая его въ общихъ свойствахъ переходныхъ эпохъ. „Это колебаніе и нерѣшительность, говоритъ онъ,—весьма естественны: колебалось все общество русское, всякій уголокъ его. Крупные и крутые перевороты не могутъ совершаться какъ перемѣна платья; они совершаются постепенно, пока всѣ атомы броженія не осилятъ—сильные слабыхъ и не сольются въ одно. Таковы всѣ переходныя эпохи".

Къ продуктамъ новаго времени, по замыслу Гончарова, относится и Маркъ Волоховъ, отличающійся грубостью, крайнею рѣзкостью сужденій и бьющимъ въ глаза цинизмомъ. Грязная фигура этого циника привела въ недоумѣніе и раздраженіе современную критику. Въ ней увидѣли пасквиль на молодое поколѣніе, желаніе со стороны автора преподнести ему очень непріятную пилюлю. Но обвиненіе это было совершенно несправедливо и вызвало со стороны автора опроверженіе. „Волоховъ будто бы новое поколѣніе! съ удивленіемъ замѣчалъ авторъ. То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы?!“ Волохова Гончаровъ называлъ олицетвореніемъ „новой лжи“, кандидатомъ въ демагоги, худшимъ продуктомъ новаго времени. Не было ничего общаго между Волоховымъ и большинствомъ молодого поколѣнія 60-хъ годовъ, но это не исключало возможности существованія лицъ, родственныхъ по характеру Волохову. Названное время было временемъ броженія общественныхъ силъ, когда вмѣстѣ съ стремленіемъ къ возвышенному и идеальному, вмѣстѣ съ благородными порывами, явились и отрицатели самыхъ разнообразныхъ типовъ, изъ которыхъ самые крайніе далеко оставляли за собою Волохова. Молодое поколѣніе никогда не было и не можетъ быть въ полномъ своемъ составѣ собраніемъ совершенствъ, воплощеніемъ идеала, олицетвореніемъ однихъ только возвышенныхъ стремленій. Всегда въ немъ существовали лица, которыя по своему понимали цѣль жизни и служили не къ подъему нравственнаго идеала и общественнаго блага, а къ ихъ пониженію. Только въ своей совокупности, и особенно при посредствѣ своихъ лучшихъ представителей, оно служитъ дѣлу прогресса, воспринимая лучшіе завѣты прошлаго и по мѣрѣ вступленія въ пору мужества и полной умственной зрѣлости, на различныхъ поприщахъ гражданской, ученой и литературной дѣятельности содѣйствуя выработкѣ началъ, рѣшенію вопросовъ, направленныхъ къ развитію образованія, нравственности и другихъ культурныхъ началъ, необходимыхъ для общественнаго благосостоянія. Реформы Петра Великаго, породившія такихъ

дѣятелей, какъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, Татищевъ, Кантемиръ, Ломоносовъ, породили и Медоровъ, предпочитавшихъ Сенекѣ фунтъ доброй пудры и тужившихъ, что на книги черезчуръ много бумаги выходитъ,—и дали существованіе лицамъ, о которыхъ Сумароковъ сказалъ, что они, „долго странствуя по свѣту, чужестраннымъ воздухомъ не кстати головы пустыя набивая, пузыри надутые вывозятъ и изъ ненапудренныхъ человѣковъ превращаются въ напудренную скотину“. Талантъ Фонвизина образовался подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній, но новая же эпоха породила Иванушку, который, обратившись къ отцу, спрашивалъ его: „когда щенокъ не обязанъ респектовать того пса, кто былъ его отецъ, то долженъ ли я вамъ хотя малѣйшимъ респектомъ?“

Любовь Вѣры къ Волохову многимъ казалась непонятною, хотя факты показываютъ, что женщины въ своихъ привязанностяхъ не всегда справляются съ логикой. По поводу названнаго упрека Гончаровъ писалъ, что женщины въ изображенную имъ пору не пренебрегали сближеніемъ съ лицами, оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, что многія изящныя красавицы пошли за ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ однѣ родителей, другія мужей, дѣтей, что такая перекочевка шла изъ почтенныхъ семействъ, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, съ забвеніемъ требованій долга и семейныхъ обязанностей.

Въ романѣ выдающуюся роль играетъ женская любовь, въ изображеніи которой авторъ проявилъ большое мастерство. Свободными отъ ея власти остаются Бѣловодова и Марфинька, но зато вполнѣ подчиняются ей бабушка, Вѣра, жена Козлова и Марина, эта крѣпостная Мессалина, по выраженію автора. Выводя такія лица, Гончаровъ имѣлъ въ виду высокую цѣль, преслѣдовалъ нравственную задачу. Если бы литература изображала только чистыхъ, безупречныхъ героевъ и героинь, говоритъ онъ,—тогда искусство стало бы, какъ въ прежнее время, только забавой, развлеченіемъ досуга. „Между тѣмъ въ наше время, когда человѣческое общество выходитъ изъ дѣтства и замѣтно зрѣетъ, когда наука, ремесла, промышленность дѣлаютъ серьезные шаги, искусство отставать отъ нихъ не можетъ. Оно имѣетъ тоже серьезную задачу—

это довершать воспитаніе и совершенствовать человѣка. Оно такъ же, какъ наука, учитъ чему-нибудь, остерегаетъ, убѣждаетъ, изображаетъ истину, но только у него другіе пути и пріемы: эти пути—чувства и фантазія. Художникъ—тотъ же мыслитель, но онъ мыслитъ не посредственно, а образами. Вѣрная сцена или удачный портретъ дѣйствуетъ сильнѣе всякой морали, изложенной въ сентенціи.“

Навсегда останется памятнымъ въ лѣтописяхъ русской литературы конецъ 60-хъ годовъ, какъ время появленія одного изъ самыхъ замѣчательныхъ художественныхъ произведеній не только въ русской, но и во всей западно-европейской литературѣ XIX ст., романа графа Толстого „Война и миръ.“ Достоинства этого геніальнаго произведенія такъ велики и разнообразны, что можно потеряться въ ихъ перечисленіи. Въ немъ главнымъ лицомъ является не отдѣльная какая-нибудь личность, а весь русскій народъ, изображается не мелкая какая-нибудь интрига ничтожнныхъ личностей, какъ это часто бываетъ въ романахъ, а событіе, имѣвшее рѣшающее значеніе въ судьбѣ всѣхъ европейскихъ народовъ, событіе изъ конца въ конецъ потрясшее европейскую почву и давшее начало новымъ великимъ историческимъ событіямъ. Отъ романа вѣетъ духомъ чего-то колоссальнаго, напоминающимъ борьбу древнихъ титановъ, исполиновъ. Поразительно живая картина напряженія народныхъ силъ въ борьбѣ за существованіе, полныя драматизма сцены, выхваченныя изъ домашней жизни, глубина психологическаго анализа, мастерское изображеніе характеровъ, возвышенныя мысли, чарующая поэзія—вотъ въ краткихъ словахъ характеристика неподражаемаго произведенія, возвеличившаго русскую литературу и прославившаго имя автора среди націй всего образованнаго міра. „Романъ „Война и миръ,“ говоритъ одинъ изъ современныхъ критиковъ,—не имѣетъ себѣ соперника въ литературахъ всего міра. Прочимъ изъ образцовыхъ произведеній русской литературы можно такъ или иначе подыскать прототипы или однородные типы романовъ и въ кругу европейской словесности. По части занимательныхъ вымысловъ съ приключеніями можно ссылаться на авторитетъ Фоэ и Диккенса въ Англіи, Александра Дюма—отца во Франціи. Въ живописи нравовъ можно считать неподражаемыми Бальзака и

Теккерея, въ краснорѣчивомъ истолкованіи людскихъ страстей объявлять образцами Руссо и Жоржъ Зандъ... Но въ ряду всѣхъ этихъ типовъ романа нѣтъ ни единаго, который выдержалъ бы сравненіе съ твореніемъ Л. Н. Толстого. „Война и миръ“ стоитъ совсѣмъ особнякомъ.“ (*) По словамъ другого критика, едва ли въ цѣлой всемірной литературѣ найдется крупное созданіе человѣческаго генія, въ которомъ объемъ и содержаніе соотвѣтствовали бы другъ другу въ такой степени, какъ въ романѣ „Война и миръ.“ „Вездѣ, говоритъ Скабичевскій,—гдѣ графъ Толстой въ своемъ безсмертномъ произведеніи только живописуетъ, не проводя никакихъ философскихъ или моральныхъ идей, онъ доходитъ мѣстами до геніальнаго величія. Такія страницы романа, какъ пожаръ Москвы, Бородино, смерть Андрея Болконскаго, катанье на тройкахъ зимою въ деревнѣ,—производятъ потрясающее впечатлѣніе; точно какъ будто передъ вами разстилаются безсмертныя полотна великихъ живописцевъ эпохи возрожденія и глядятъ на васъ съ этихъ полотенъ изображенныя на нихъ вѣковѣчныя фигуры, блестя божественною красотою. Не менѣе поражаетъ васъ рядъ типовъ, исчерпывающихъ все содержаніе великосвѣтской среды изображаемой эпохи. Поистинѣ, такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр., нисколько не менѣе существенны, чѣмъ типы „Мертвыхъ душъ“ и могутъ служить такими же кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ и пр. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ.“ (**)

При своемъ появленіи романъ „Война и миръ“ не вызвалъ среди критиковъ единодушныхъ похвалъ, хотя сразу овладѣлъ симпатіями читателей. Странно, что даже Тургеневъ, при всемъ своемъ художественномъ чутьѣ, не отдалъ должной похвалы великому произведенію. Нѣкоторые критики усмотрѣли въ романѣ массу разнообразныхъ недостатковъ. Такъ, критикъ журнала „Дѣло“ отнесся къ роману съ большимъ высокомѣріемъ и сдѣлалъ о немъ отзывъ какъ о самомъ заурядномъ произведеніи. Онъ увѣрялъ читателей, что кар-

(*) Ѳ. И. Булгаковъ. „Графъ Л. Н. Толстой“. С.-П.-Б. 1899 г., стр. 68.
(**) Исторія новѣйшей русской литературы, 2-е изд., стр. 148—149.

тины и дѣйствующія лица романа не связаны между собой никакой руководящей мыслью, что это—монументальныя бездушности, что въ романѣ все смѣшивается въ общей массѣ, гдѣ не видишь ни причинъ, ни послѣдствій появленія и исчезновенія героевъ и фактовъ. Отзывъ этотъ относился къ первымъ четыремъ томамъ романа. Критикъ говорилъ, что послѣдній томъ находится въ интересномъ положеніи, что онъ готовъ что-то родить, но ничего не рождаетъ и не родилъ. „Съ появленіемъ четвертаго тома,—увѣрялъ критикъ,—смѣло можно сказать, что и далѣе будетъ то же самое, т. е. та же безсодержательность и тѣ же достоинства одной только батальной живописи. Явившійся четвертый томъ съ описаніями Бородинскаго сраженія, перехода черезъ Нѣманъ, взятіе Смоленска не добавилъ къ первымъ тремъ томамъ ровно ничего, исключая этихъ новыхъ описаній и исключая еще очень не новой и куріозной философіи самого автора“. Умозаключенія автора критикъ называетъ достойными самаго наидостойнѣйшаго изъ учениковъ Кайданова. Въ настоящее время страннымъ кажется такое третированіе геніальнаго произведенія, представляется даже маловѣроятнымъ, но фактъ остается фактомъ. Въ другой статьѣ того же журнала было сказано, что князь Андрей Болконскій былъ тупъ и ограниченъ, что онъ жилъ только для того, чтобы убивать другихъ, что „изящный романистъ даже не предчувствуетъ истиннаго характера человѣка, способнаго дѣлать дѣйствительное добро людямъ“ (какой курьезный смыслъ получаетъ эта иронія, если припомнить о филантропической дѣятельности графа Толстого во время голода въ 1891 и 1892 г.). „Для нихъ (автора романа и его критика Шебальскаго) все то изящно и гуманно,—писалъ г. Навалихинъ, критикъ „Дѣла“,—что знатно и богато, и эту внѣшнюю вылощенность они принимаютъ за настоящее человѣческое достоинство (по этому взгляду выходитъ, что Платонъ Каратаевъ и Акимъ также отличались аристократическою вылощенностью)“. Дѣйствующихъ лицъ романа названный критикъ называлъ дикими бушменами. „Въ томъ видѣ, какъ романъ написанъ, замѣчалъ онъ,—онъ представляетъ рядъ возмутительно грязныхъ сценъ, которыхъ смыслъ и значеніе явно не понимаются авторомъ, и которыя поэтому равносильны ряду фальшивыхъ нотъ. Онъ въ такомъ

умиленіи отъ своихъ героевъ, что ему кажется каждый ихъ поступокъ, каждое ихъ слово интереснымъ; на этихъ страницахъ видишь уже не героевъ, а умиленіе самого автора, восхищающагося людьми, которыхъ видъ заставляетъ содрогаться отъ ужаса и негодованія... Поощренный своими изящными, но слабоумными критиками, авторъ явно воображаетъ, что все, что́ выйдетъ изъ-подъ его пера, должно возбуждать восторги и безконечное удовольствіе; поэтому онъ и не заботится ни о чемъ, кромѣ изящной отдѣлки избранныхъ имъ уродовъ. Весь романъ составляетъ безпорядочную груду наваленнаго матеріала.“ Далѣе критикъ сравниваетъ романъ съ сказкой о Бовѣ и „Битвой русскихъ съ кабардинцами“ и говоритъ, что въ немъ съ начала до конца восхваляются буйство, грубость и глупость. Неудержимо идущій впередъ въ своихъ порицаніяхъ, онъ развязно сравниваетъ автора съ ограниченнымъ, но рѣчистымъ унтеръ-офицеромъ, разсказывающимъ о своихъ впечатлѣніяхъ въ глухой и наивной деревнѣ. Онъ говоритъ, что романъ смотритъ на военное дѣло такъ, какъ смотрятъ на него пьяные мародеры. (*) Неблагосклонный отзывъ о романѣ сдѣлалъ и болѣе извѣстный критикъ Пятковскій, остановившійся преимущественно на исторической сторонѣ романа. Не смотря на знакомство съ эпохой, характеризуемой въ романѣ, критикъ не удержался на высотѣ полнаго безпристрастія и впалъ въ очень рѣзкій тонъ. Онъ утверждалъ, что графъ Толстой не можетъ понимать никакихъ историческихъ эпохъ и отдѣльныхъ явленій въ народной жизни, и говорилъ, что въ романѣ „Юрій Милославскій“ рамки исторической картины гораздо обширнѣе, чѣмъ у Толстого. Характеристику современнаго общества въ романѣ послѣдняго онъ называетъ слабою. „Герои гр. Толстого, говоритъ онъ, большею частью упражняются въ стрѣльбѣ, т. е. находятся на войнѣ; въ мирное время они съѣзжаются то у фрейлины Шереръ, то у гостепріимныхъ графовъ Ростовыхъ (семейство очень любезное автору), пьютъ, ѣдятъ, часто танцуютъ и болтаютъ на ужасномъ французско-нижегородскомъ нарѣчіи самыя незначительныя и пустыя вещи. Герои эти—люди съ хорошими манерами, принадлежатъ къ

(*) В. Зелинскій. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого, ч. 3. Москва. 1888 г., стр. 182—184.

сливкамъ высшаго общества, и, можетъ быть, по сходству съ извѣстными покойниками интересны для двухъ-трехъ читателей. Вообще, романъ гр. Толстого представляетъ, съ этой стороны, какую-то семейную хронику великосвѣтскихъ фамилій. Между всѣми этими личностями, прилично говорящими пустяки или неприлично болтающими свысока о „важныхъ матеріяхъ", мы не нашли ни одного человѣка, который могъ бы назваться представителемъ тогдашней русской интеллигенціи".

Совсѣмъ инымъ представлялся романъ въ отзывахъ критиковъ, отнесшихся къ роману болѣе объективно. Они замѣтили необыкновенную силу и красоту въ изображеніи какъ историческихъ, такъ и бытовыхъ явленій даннаго времени. Они не сравнивали автора съ рѣчистымъ унтеръ-офицеромъ, не относили его романа къ разряду произведеній, напоминающихъ собою сказку о Бовѣ и „Битву русскихъ съ кабардинцами". Эти критики, напротивъ, утверждали, что романъ „Война и миръ" принадлежитъ, по своимъ достоинствамъ, къ числу самыхъ рѣдкихъ явленій въ нашей литературѣ, явленіямъ, освѣжающимъ какъ дождь послѣ засухи. Къ такимъ критикамъ принадлежалъ, напримѣръ, Ахшарумовъ. „Картина *Войны* въ романѣ, писалъ онъ, такъ хороша, что мы не находимъ словъ, способныхъ выразить хоть отчасти ея ни съ чѣмъ несравненную красоту. Это множество лицъ, мѣтко очерченныхъ и озаренныхъ такимъ горячимъ солнечнымъ освѣщеніемъ; эта простая, ясная, стройная группировка событій; это неисчерпаемое богатство красокъ въ подробностяхъ и эта правда, эта могучая поэзія общаго колорита, все заставляетъ насъ съ полной увѣренностью поставить *Войну* графа Толстого выше всего, что когда-нибудь въ этомъ родѣ производило искусство. Картина *Мира* не такъ легко поддается общей оцѣнкѣ и на первыхъ порахъ приводитъ насъ въ сильное недоумѣніе. Вниманіе наше поражено красотою отдѣльныхъ частей, но мы не въ состояніи уловить цѣлаго. Мы не знаемъ, за что ухватиться, на что опереться и не находимъ руководящей нити, чтобы пройти извилины этого лабиринта, не потерявшись въ немъ. Мы точно попали на какую-то пеструю ярмарку или рынокъ, раскинутый на пространствѣ необозримомъ. Народъ толпится мѣстами какъ

стадо, мѣстами снуетъ по всѣмъ направленіямъ, и гулъ нестройнаго множества голосовъ стоитъ надъ всѣмъ этимъ сборищемъ... Въ чемъ дѣло?... Что тутъ происходитъ? задаемъ мы себѣ вопросъ и, прислушиваясь, оглядываясь, мы начинаемъ смутно догадываться, что тутъ происходитъ дѣло гораздо болѣе важное, чѣмъ война: дѣло общественнаго развитія, зарожденіе новой жизни въ высшихъ слояхъ народнаго быта. И мы понимаемъ, что дѣло такого рода на первыхъ порахъ не можетъ итти красиво и стройно. Это омутъ, надъ которымъ стоитъ туманъ, еще не розогнанный лучами едва восходящато солнца, внутри котораго все еще спутано, перемѣшано, бродитъ, кипитъ и волнуется. Нѣсколько разныхъ теченій сталкиваюття и перекрещиваются, но ни одно не успѣло еще одержать перевѣса, множество элементовъ, чуждыхъ другъ другу, борются между собою и никакого исхода этой борьбы еще невозможно предвидѣть. Русскіе, нѣмцы, французы, разный языкъ, разный характеръ и степень развитія, разные обычаи и разныя убѣжденія, реформа, политика, служба, интриги, проекты, война позади, война впереди, масонство, вѣра и суевѣріе, слухи, толки, сплетни и вихорь шумныхъ забавъ въ жизни столичной, а въ деревенской глуши мечты и надежды молодости и остатки дѣдовскихъ нравовъ, еще уцѣлѣвшіе въ сердцѣ людей, по наружности имъ давно измѣнившихъ... И это одинъ только верхній слой, но за этимъ слоемъ, изъ-подъ него и сзади его чернѣетъ глубь, еще неизвѣданная, бьютъ родники народной жизни, струи которыхъ еще не видали свѣта, скрывается цѣлое море силъ, выжидающихъ своей очереди въ непроглядномъ, далекомъ будущемъ. Окинувъ взоромъ всю эту неизмѣримую массу жизни, мы убѣждаемся, что художественное единство и группировка были для автора невозможны. Онъ не могъ выдумать органической связи тамъ, гдѣ жизнь еще не развила ее въ себѣ; онъ вынужденъ былъ схватить на лету и урывками кое-что, выдающееся впередъ и сквозящее, такъ сказать, сквозь мутныя волны потока. И это онъ выполнилъ съ рѣдкою скромностью, съ рѣдкимъ умѣньемъ и тактомъ". (*)

(*) Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого, стр 156—158.

Съ не меньшей похвалой отозвался о романѣ Щебальскій, въ разборѣ, помѣщенномъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1868 г. По его словамъ, авторъ ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не обнаружилъ столько силы, такого широкаго замысла, такого богатства красокъ и разнообразія въ рисункѣ, какъ въ романѣ „Война и миръ“. Онъ указывалъ на художественное изображеніе дѣйствующихъ лицъ, на то, что каждая фигура въ романѣ есть живая, осязаемая личность, каждая имѣетъ свою особую физіономію, которую каждый когда-то видѣлъ, на вѣрность взгляда автора, благодаря которой онъ улавливаетъ какъ въ нравственномъ образѣ человѣка, такъ и въ его внѣшности именно тѣ черты, которыя его характеризуютъ. Высокія достоинства романа были замѣчены и Анненковымъ, въ статьѣ „Историческіе и эстетическіе вопросы въ романѣ гр. Л. Н. Толстого „Война и миръ“, помѣщенной въ „Вѣстникѣ Европы“ 1868 г.“ Названный критикъ говорилъ, что духъ времени воплощается въ романѣ легко и свободно. По его выраженію, въ романѣ также громко раздаются замирающіе призывы къ жизни, справедливости и состраданію несчастныхъ личностей, гибнущихъ въ водоворотѣ событій, какъ и гулъ разрушающихся при этомъ плановъ государственной политики; въ немъ судьба частныхъ лицъ, ихъ ошибки и заблужденія пріобрѣтаютъ такое же важное значеніе, какъ явленія того же порядка въ руководителяхъ эпохи. Касаясь изображенія военныхъ сценъ, критикъ замѣчалъ, что планы сраженій и картины мѣстностей, гдѣ они происходятъ, бросаются отчетливо въ глаза, какъ гравюры англійскихъ кипсековъ. Впрочемъ, какъ представитель эстетическаго направленія въ критикѣ, Анненковъ съ сожалѣніемъ указывалъ на недостатокъ романическаго развитія въ произведеніи, на слабое развитіе въ немъ дѣйствія, фабулы. Онъ выражалъ сожалѣніе и по поводу того, что графъ Толстой „освободилъ себя отъ необходимости показать рядомъ съ своимъ обществомъ присутствіе элемента *разночинцевъ*, получавшаго все большее и большее значеніе въ жизни“. „Невозможно, представить себѣ, говоритъ Анненковъ,—чтобъ высшіе круги, изображаемые авторомъ, ничего не знали объ этомъ элементѣ, не чувствовали его вліянія и не обращали на него ни малѣйшаго вниманія“. Присутствіе

новой силы, по его словамъ, дало бы возможность читателю отдохнуть нѣсколько отъ постоянно условнаго, иногда манернаго изящества великосвѣтской картины, которую авторъ держитъ передъ его глазами. Въ этомъ воззрѣніи Анненковъ сходился съ Пятковскимъ, и въ ихъ взглядѣ, можетъ быть, была значительная доля правды. Въ заключеніе критикъ выражалъ глубокое уваженіе къ необычайно талантливому автору и къ его произведенію, составившему эпоху въ исторіи русской беллетристики.

Философскіе взгляды графа Толстого, выраженные въ романѣ „Война и миръ, его идея историческаго фатализма— были осуждены всѣми критиками, основанія для чего было найти не трудно. Но, разсужденія автора можно откинуть, безъ всякаго вреда для романа. „Если, говоритъ Головинъ, изъ „Войны и мира", гдѣ субъективному философствованію отведено особенно широкое мѣсто, выкинуть всѣ постороннія разсужденія, всю теорію историческаго фатализма, романъ останется цѣлъ и невредимъ, и ни одна изъ его фигуръ не утратитъ своей яркой рельефности. Сами по себѣ эти разсужденія очень важны и интересны, какъ пособіе для характеристики міросозерцанія Толстого. Для оцѣнки его художественнаго творчества они безразличны". (*)

Въ настоящее время никто уже не сомнѣвается въ высокихъ достоинствахъ романа „Война и миръ". Они признаны критикою всѣхъ европейскихъ литературъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь можно поставить отзывы французскихъ писателей, какъ, напримѣръ, де-Вогюэ, болѣе другихъ содѣйствовавшаго прославленію нашего писателя въ Западной Европѣ. Де-Вогюэ называетъ „Войну и миръ" энциклопедіей русскаго міра. По его словамъ, тотъ, кто пожелалъ бы написать исторію Россіи, тщетно сталъ бы рыться во всякихъ архивахъ, если онъ пренебрегалъ этимъ неисчерпаемымъ репертуаромъ національной жизни. Еще бо́льшее значеніе имѣетъ названный романъ для знакомства съ современною Россіей. Де-Вогюэ называетъ Толстого Шекспиромъ въ области романа, такъ какъ въ „Войнѣ и мирѣ" жизнь выражается такъ же величественно и полно, какъ и въ произведеніяхъ Шекспира. Другой французскій критикъ, Адольфъ Бадэнъ, говоритъ, что

(*) Русскій романъ, стр. 349.

не найдется болѣе полнаго и болѣе сжатаго описанія битвъ, чѣмъ какое сдѣлано въ романѣ относительно Аустерлица и Бородина. „Неподражаемыя страницы, замѣчаетъ Бадэнъ,— посвящены московскому пожару; наконецъ, отступленіе французской арміи изображено въ видѣ грандіозной драмы, прототипъ которой подыскать было бы трудно. И однако же, что до насъ, мы склонны отдать предпочтеніе той части романа, которая посвящена „Миру", до такой степени поразительна изысканная тонкость этихъ эскизовъ интимной жизни, отдѣланныхъ авторомъ съ столь необыкновенной силой, что мы воочію видимъ изображенныхъ имъ лицъ, они намъ близки, точно мы живемъ съ ними, дѣлимъ вмѣстѣ ихъ радости и печали". (*) Бадэнъ называетъ графа Толстого страшнымъ, неумолимымъ психологомъ, для котораго измѣнчивая человѣческая природа не представляетъ тайнъ. Русскій характеръ отражается въ романѣ всецѣло, какъ онъ не отразился бы въ сотнѣ историческихъ и этнографическихъ сочиненій. Въ картинахъ жизни русской аристократіи, въ кутежѣ свѣтской молодежи, въ изображеніи старинныхъ нравовъ первопрестольной столицы, въ обрисовкѣ помѣщичьяго быта, въ картинахъ рисующихъ народную жизнь—вездѣ мы видимъ необыкновенную силу и правду въ изображеніи. По отзыву нѣмецкаго критика Цабеля, въ романѣ Толстого читателя плѣняетъ не судьба отдѣльныхъ лицъ, но совмѣстное дѣйствіе всѣхъ силъ, гдѣ бы онѣ ни проявлялись: „въ дворцѣ и въ хижинѣ, на улицахъ и внутри домовъ, въ гостиной и на полѣ брани, силъ, направленныхъ къ тому, чтобъ постепенно, но удержимо привести къ гибели императора французовъ съ его арміей". Особенно живы, по мнѣнію Цабеля, описанія сраженій, отличающіяся богатствомъ фантазіи и поразительнымъ знаніемъ дѣла. Въ руссофобскомъ органѣ нѣмецкой печати, вѣнской „Neue Freie Presse", по поводу послѣдняго юбилея графа Толстого было сказано, что „въ смыслѣ обилія идей великій русскій писатель равенъ Шекспиру, а въ смыслѣ искренности и глубины изображенія никто не можетъ сравниться въ европейской литературѣ съ мощнымъ русскимъ писателемъ". Соперниками Толстого могутъ быть Бальзакъ, Зола и Достоевскій по грандіозности концепціи, но прево-

(*) Ѳ. И. Булгаковъ. „Графъ Л. Н. Толстой", 3 изданіе, стр. 3.

сходство Толстого заключается въ томъ, что у него нѣтъ излишествъ фантазіи перваго, искусственнаго жара второго и угнетающей безразсвѣтности третьяго. „Если бы наше время, замѣчено было далѣе,—было проникнуто художествомъ въ такой же степени, въ какой оно проникнуто политикой, то въ эти одни цѣлые караваны благодарныхъ почитателей тянулись бы въ Ясную Поляну, чтобы принести сѣдовласому писателю дань своего уваженія“. (*)

(*) Вѣстникъ Иностранной Литературы 1898 г., Октябрь. „Иностранцы о графѣ Львѣ Толстомъ“, стр. 168.

DK 210 .V5
Byloe iz russkoi zhizni i lite
Stanford University Libraries
3 6105 041 533 865

DK
210
V5

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

JUL 2 7 2002
JUL 0 1 2002